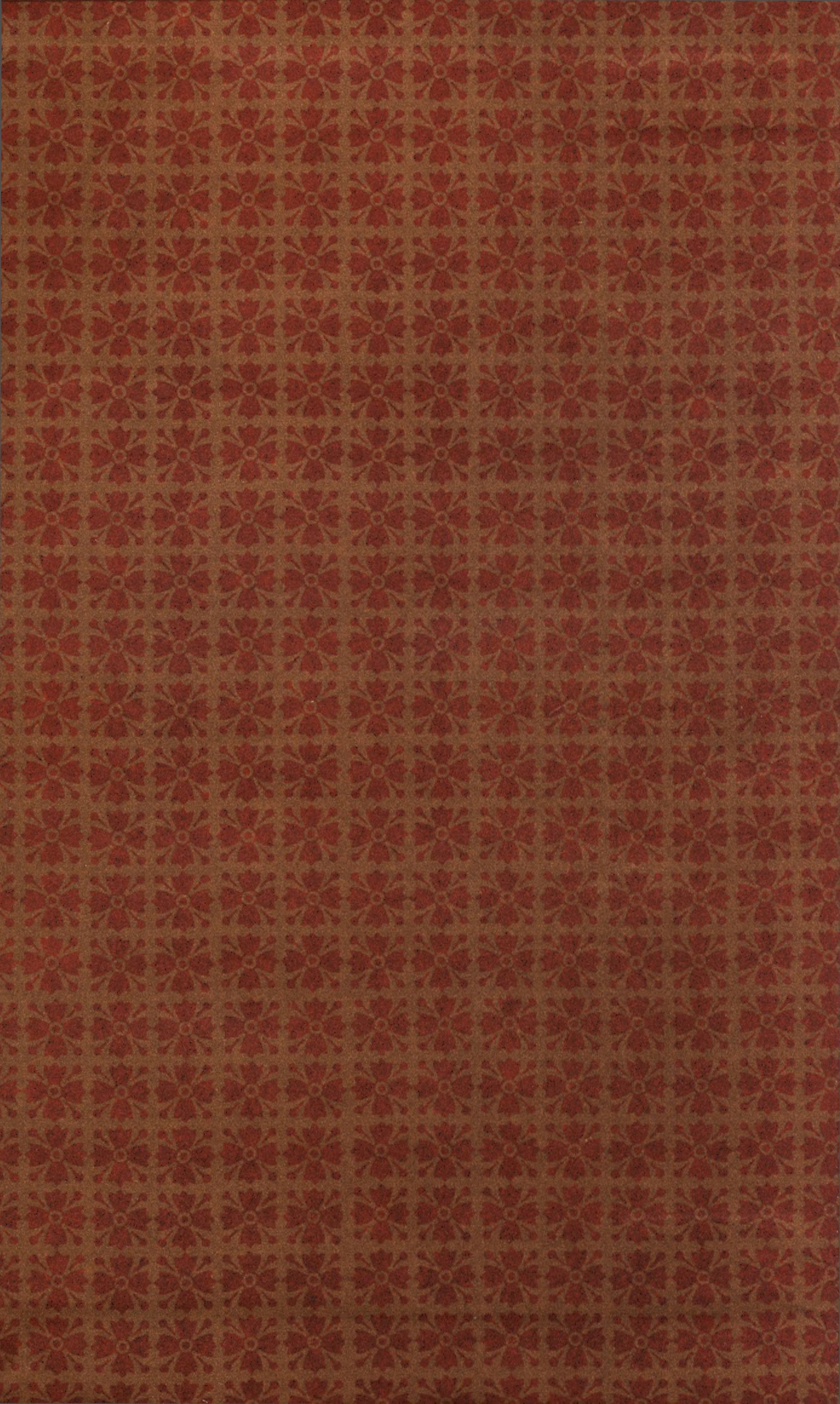
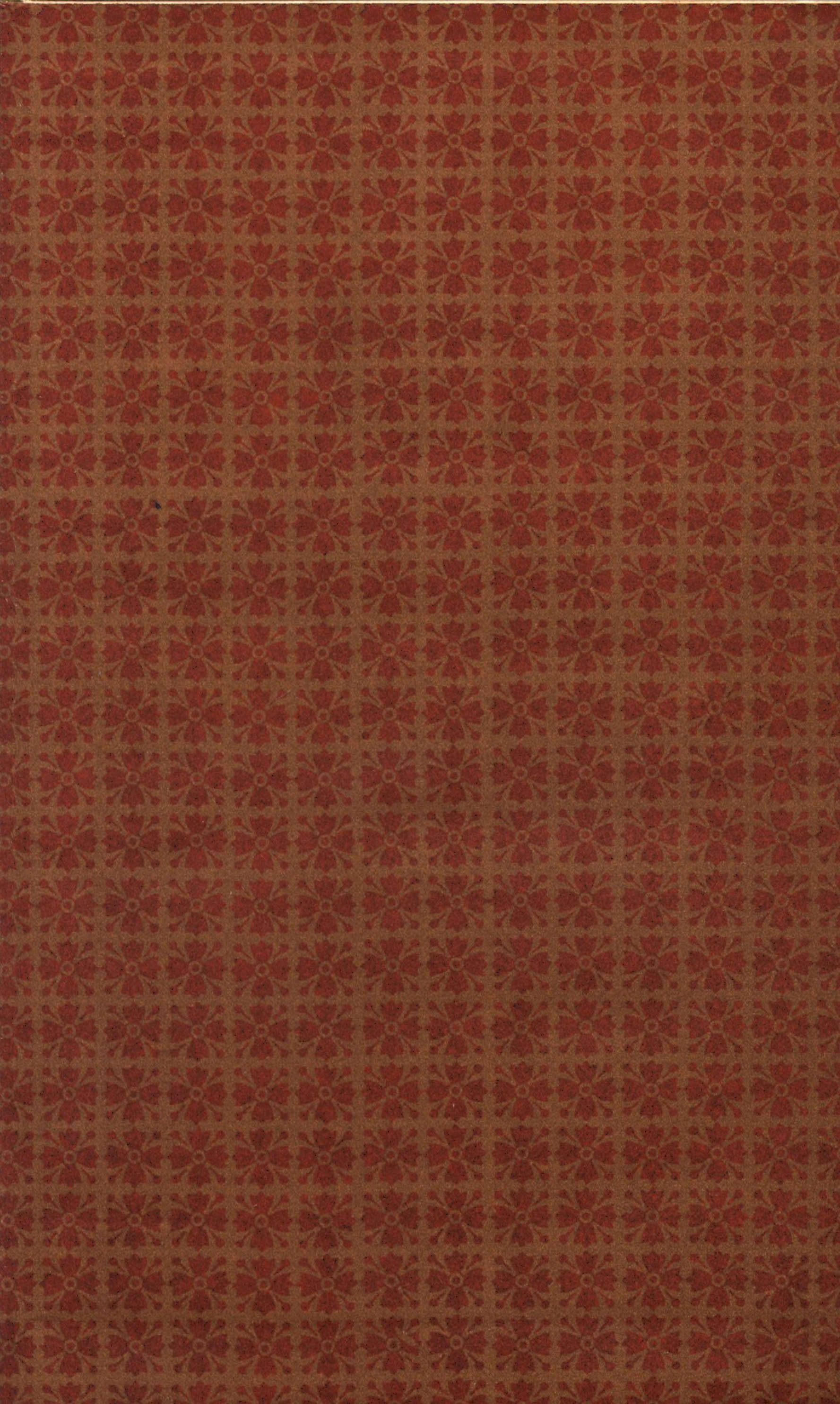
В. М. ГАРШИН



Избранное





В·М·ГАРШИН Избранное



В. Гаршин

В·М·ГАРШИН

Избранное

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1985

84Р1
Г20

Текст печатается по изданию:
В. М. Гаршин. Сочинения.
М.: Художественная литература, 1983.

Послесловие С. И. Машинского

Г $\frac{4702010100-021}{М158(03)-85}$ 49-85

Автобиография

Род Гаршиных — старый дворянский род. По семейному преданию, наш родоначальник мурза Горша, или Гарша, вышел из Золотой орды при Иване III и крестился; ему или его потомкам были даны земли в нынешней Воронежской губернии, где Гаршины благополучно дожили до нынешних времен и даже остались помещиками в лице моих двоюродных братьев, из которых я видел только одного, да и то в детстве. О Гаршиных много сказать не могу. Дед мой, Егор Архипович, был человек крутой, жестокий и властный: порол мужиков, пользовался правом primae noctis и *выливал кипятком* фруктовые деревья непокорных однодворцев. Он судился всю жизнь с соседями из-за каких-то подтопов мельниц и к концу жизни сильно расстроил свое крупное состояние, так что отцу моему, одному из четверых сыновей и одиннадцати или двенадцати детей, досталось только семьдесят душ в Старобельском уезде. Странным образом отец мой был совершенною противоположностью деду: служа в кирасирах (в Глуховском полку) в николаевское время, он никогда не бил солдат; разве уж когда очень рассердится, то ударит фуражкой. Он кончил курс в 1-й Московской гимназии и пробыл года два в Московском университете, на юридическом факультете, но потом, как он сам говорил, «увлекся военной службой» и поступил в кирасирскую дивизию. Квартируя с полком на Донце и ездя с офицерами по помещикам, он познакомился с моею матерью, Екатериной Степановной, тогда еще Акимовою, и в 1848 г. женился.

Ее отец, помещик Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, отставной морской офицер, был человек

очень образованный и редко хороший. Отношения его к своим крестьянам были так необыкновенны в то время, что окрестные помещики прославили его опасным вольнодумцем, а потом и помешанным. Помешательство его состояло, между прочим, в том, что в голод 1843 г., когда в тех местах чуть не полнаселения вымерло от голодного тифа и цинги, он заложил имение, занял денег и сам привез «из России» большое количество хлеба, которое и роздал даром голодавшим мужикам, своим и чужим. К сожалению, он умер очень рано, оставив пятерых детей; старшая, моя мать, была еще девочкой, но его заботы о воспитании ее принесли плоды — и после его смерти по-прежнему выписывались учителя и книги, так что ко времени выхода замуж моя мать сделалась хорошо образованной девушкой по тогдашнему времени, а для глухих мест Екатеринославской губернии даже редко образованной.

Я родился третьим (в имении бабушки в Бахмутском уезде) 2 февраля 1855 г., за две недели до смерти Николая Павловича. Как сквозь сон помню полковую обстановку, огромных рыжих коней и огромных людей в латах, белых с голубым колетах и волосатых касках. Вместе с полком мы часто переезжали с места на место; много смутных воспоминаний сохранилось в моей памяти из этого времени, но рассказать я ничего не могу, боясь ошибиться в фактах. В 1858 г. отец, получив наследство от умершего деда, вышел в отставку, купил дом в Старобельске, в 12-ти верстах от которого было наше именье, и мы стали жить там. Во время освобождения крестьян отец участвовал в харьковском комитете членом от Старобельского уезда. Я в это время выучился читать; выучил меня по старой книжке «Современника» (статьи не помню) наш домашний учитель П. В. Завадский, впоследствии сосланный за беспорядки в Харьковском университете в Петрозаводск и теперь уже давно умерший.

Пятый год моей жизни был очень бурный. Меня возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу, оттуда в Харьков и назад в Старобельск (все это на почтовых зимою, летом и осенью); некоторые сцены оставили во мне неизгладимое воспоминание и, быть может, следы на характере. Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило свое начало в эту эпоху.

Старших братьев отправили в Петербург; матушка поехала с ними, а я остался с отцом. Жили мы с ним то в

деревне, в степи, то в городе, то у одного из моих дядей в Старобельском же уезде. Никогда, кажется, я не перечитал такой массы книг, как в три года жизни с отцом, от пяти- до восьмилетнего возраста. Кроме разных детских книг (из которых особенно памятен мне превосходный «Мир божий» Разина) я перечитал все, что мог едва понимать из «Современника», «Времени» и других журналов за несколько лет. Сильно на меня подействовала Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» и «Жизнь негров». До какой степени свободен был я в чтении, может показать факт, что я прочел «Собор Парижской богоматери» Гюго в семь лет (и, перечитав его в 25, не нашел ничего нового), а «Что делать?» читал по книжкам в то самое *время, когда Чернышевский сидел в крепости*. Это раннее чтение было, без сомнения, очень вредно. Тогда же я читал Пушкина, Лермонтова («Герой нашего времени» остался совершенно непонятным, кроме Бэлы, об которой я горько плакал), Гоголя и Жуковского. В 1863 г. матушка приехала за мною из Петербурга и увезла с собою. 15 августа мы въехали в него после путешествия из Старобельска до Москвы на перекладных и от Москвы по железной дороге; помню, что Нева привела меня в неописанный восторг (мы жили на Васильевском острове) и я начал даже с извозчика сочинять стихи с рифмами «широка» и «глубока».

С тех пор я петербургский житель, хотя часто уезжал в разные места. Два лета провел у П. В. Завадского в Петрозаводске; потом одно на даче около Петербурга; потом жил в Сольце Псковской губернии около полугода; несколько лет живал по летам в Старобельске, в Николаеве, в Харькове, в Орловской губернии, на Шексне (в Кирилловском уезде). Последний мой отъезд из Петербурга был очень продолжителен: я прожил около полутора лет в деревне у одного из своих дядей, В. С. Акимова, в Херсонском уезде, на берегу Бугского лимана.

В 1864 г. меня отдали в 7-ю Санкт-Петербургскую гимназию, в 12-ю линию Васильевского острова. Учился я вообще довольно плохо, хотя не отличался особою леностью: много времени уходило на постороннее чтение. Во время курса я два раза болел и раз остался в классе по лености, так что семилетний курс для меня превратился в десятилетний, что, впрочем, не составило для меня большой беды, так как я поступил в гимназию девяти лет. Хорошие отметки я получал только за русские «сочинения» и по естественным наукам, к которым чувствовал сильную

любовь, не умершую и до сих пор, но не нашедшую себе приложения. Математику искренно ненавидел, хотя трудна она мне не была, и старался по возможности избегать занятий ею. Наша гимназия в 1866 г. была преобразована в реальную гимназию и долго служила образцовым заведением для всей России. (Теперь она — 1-е реальное училище.) Мне редко случалось видеть воспитанников, которые сохраняли бы добрую память о своем учебном заведении; что касается до седьмой гимназии, то она оставила во мне самые дружелюбные воспоминания. К В. Ф. Эвальду (директор в мое время, директор и теперь) я навсегда, кажется, сохраню хорошие чувства. Из учителей я с благодарностью вспоминаю В. П. Геннинга (словесность) и М. М. Федорова (естественная история); последний был превосходный человек и превосходный учитель, к сожалению, погубленный рюмочкой. Он умер несколько лет тому назад.

Начиная с 4-го класса я начал принимать участие (количественно, впрочем, весьма слабое) в гимназической литературе, которая одно время у нас пышно цвела. Одно из изданий «Вечерняя газета» выходило еженедельно, аккуратно в течение целого года. Сколько помню, фельетоны мои (за подписью «Агасфер») пользовались успехом. Тогда же под влиянием «Илиады» я сочинил поэму (гекзаметром) в несколько сот стихов, в которой описывался наш гимназический быт, преимущественно драки.

Будучи гимназистом, я только первые три года жил в своей семье. Затем мы с старшими братьями жили на отдельной квартире (им тогда было 16 и 17 лет); следующий год прожил у своих дальних родственников; потом был пансионером в гимназии; два года жил в семье знакомых петербургских чиновников и наконец был принят на казенный счет.

Перед концом курса я выдержал тяжелую болезнь, от которой едва спасся после полугодового леченья. В это же время застрелился мой второй брат...

Не имея возможности поступить в университет, я думал сделаться доктором. Многие из моих товарищей (предыдущих выпусков) попали в Медицинскую академию и теперь доктора. Но как раз ко времени моего окончания курса Делянов подал записку покойному государю, что вот, мол, реалисты поступают в Медицинскую академию, а потом проникают из академии и в университет. Тогда было приказано реалистов в доктора не пускать. При-

шлось выбирать какое-нибудь из технических заведений: я выбрал то, где поменьше математики, Горный институт. Я поступил в него в 1874 г. В 1876-м хотел уйти в Сербию, но, к счастью, меня не пустили, так как я был призывного возраста. 12 апреля 1877 г. я с товарищем (Афанасьевым) готовился к экзамену из химии; принесли манифест о войне. Наши записки так и остались открытыми: мы подали прошение об увольнении из института и уехали в Кишинев. В кампании я был до 11 августа, когда был ранен. В это время, в походе, я написал свою первую напечатанную в «О<течественных> з<аписках>» вещь, «Четыре дня». Поводом к этому послужил действительный случай с одним из солдат нашего полка (скажу кстати, что сам я ничего подобного никогда не испытал, так как после раны был сейчас же вынесен из огня).

Вернувшись с войны, я был произведен в офицеры, с большим трудом вышел в отставку (теперь меня зачислили в запас). Некоторое время (полгода) слушал лекции в университете (по историко-филологическому факультету). В 1880-м заболел и по этому-то случаю и прожил долго в деревне у дяди. В 1882 г. вернулся в Петербург; в 1883-м женился на Н. М. Золотиловой, в том же году поступил на службу секретарем в железнодорожный съезд.

23 августа 1884 г.
СПб.

В. Гаршин

Рассказы

Четыре дня

Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника. Выстрелы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям. Сидоров, молоденький солдатик первой роты («как он попал в нашу цепь?» — мелькнуло у меня в голове), вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Изо рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, как уже почти на опушке, в густых кустах, я увидел... его. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо; в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил»,— подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиною к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали «ура!», падали, стреляли. Помню, и я сделал несколько выстрелов, уже выйдя из лесу, на поляне. Вдруг «ура» раздалось громче, и мы сразу двинулись вперед. То есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Еще страннее было то, что вдруг все исчезло; все крики и выстрелы смолкли. Я не слышал ничего, а видел только что-то синее; должно быть, это было небо. Потом и оно исчезло.

Я никогда не находился в таком странном положении. Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только

маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы — вот весь мой мир. И вижу я его только одним глазом, потому что другой зажат чем-то твердым, должно быть, веткою, на которую опирается моя голова. Мне ужасно неловко, и я хочу, но решительно не понимаю, почему не могу шевельнуться. Так проходит время. Я слышу треск кузнечиков, жужжание пчелы. Больше нет ничего. Наконец я делаю усилие, освобождаю правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени.

Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает все мое тело от колен к груди и голове, и я снова падаю. Опять мрак, опять ничего нет.

Я проснулся. Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из нее? Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в ногах.

Да, я ранен в бою. Опасно или нет? Я хватаюсь за ноги там, где болит. И правая и левая ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль еще сильнее. Боль, как зубная: постоянная, тянущая за душу. В ушах звон, голова отяжелела. Смутно понимаю я, что ранен в обе ноги. Что ж это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили нас? Я начинаю припоминать бывшее со мной, сначала смутно, потом яснее, и прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты. Потому что я упал (этого, впрочем, я не помню, но помню, как все побежали вперед, а я не мог бежать и у меня осталось только что-то синее перед глазами) — и упал на полянке, наверху холма. На эту полянку нам показывал наш маленький батальонный. «Ребята, мы будем там!» — закричал он нам своим звонким голосом. И мы были там: значит, мы не разбиты... Почему же меня не подобрали? Ведь здесь, на поляне, открытое место, все видно. Ведь, наверное, не я один лежу здесь. Они стреляли так часто. Нужно повернуть голову и посмотреть. Теперь это сделать удобнее, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видел травку и муравья, ползущего вниз головою, я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. Оттого-то мне и видны эти звезды.

Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда

обе ноги перебиты. Несколько раз приходится отчаиваться; наконец со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь.

Надо мною — клочок черно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких, вокруг что-то темное, высокое. Это — кусты. Я в кустах: меня не нашли!

Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове.

Однако как это я очутился в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке? Должно быть, раненный, я переполз сюда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевелиться, а тогда сумел дотащиться да этих кустов. А быть может, у меня тогда была только одна рана и другая пуля доконала меня уже здесь.

Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома!..

Какие-то странные звуки доходят до меня... Как будто бы кто-то стонет. Да, это — стон. Лежит ли около меня какой-нибудь такой же забытый, с перебитыми ногами или с пулей в животе? Нет, стоны так близко, а около меня, кажется, никого нет... Боже мой, да ведь это — я сам! Тихие, жалобные стоны; неужели мне в самом деле так больно? Должно быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня в голове туман, свинец. Лучше лечь и уснуть, спать, спать... Только проснусь ли я когда-нибудь? Это все равно.

В ту минуту, когда я собираюсь ложиться, широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу, и я вижу что-то темное и большое, лежащее шагах в пяти от меня. Кое-где на нем видны блики от лунного света. Это пуговицы или амуниция. Это — труп или раненый.

Все равно я лягу...

Нет, не может быть! Наши не ушли. Они здесь, они выбили турок и остались на этой позиции. Отчего же нет ни говора, ни треска костров? Да ведь я от слабости ничего не слышу. Они, наверное, здесь.

— Помогите!.. Помогите!..

Дикие, безумные, хриплые вопли вырываются из моей груди, и нет на них ответа. Громко разносятся они в ночном воздухе. Все остальное молчит. Только сверчки трещат по-прежнему неугомонно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом.

Если бы *он* был раненый, он очнулся бы от такого кри-

ка. Это труп. Наш или турок? Ах боже мой! Будто не все равно. И сон опускается на мои воспаленные глаза.

Я лежу с закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет: если я открою глаза, то он будет резать их. Да и лучше не шевелиться... Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили; прошли сутки, пройдут другие, я умру. Все равно. Лучше не шевелиться. Пусть тело будет неподвижно. Как было бы хорошо остановить и работу мозга! Но ее ничем не задержишь. Мысли, воспоминания теснятся в голове. Впрочем, все это ненадолго, скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то; убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут; просто скажут: убит один. Один рядовой, как та одна собачонка...

Целая картина ярко вспыхивает в моем воображении. Это было давно; впрочем, всё, вся моя жизнь, *та* жизнь, когда я не лежал еще здесь с перебитыми ногами, была так давно... Я шел по улице, кучка народа остановила меня. Толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая хорошенькая собачка; вагон конно-железной дороги переехал ее. Она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унес. Толпа разошлась.

Унесет ли меня кто-нибудь? Нет, лежи и умирай. А как хороша жизнь!.. В тот день (когда случилось несчастье с собачкой) я был счастлив. Я шел в каком-то опьянении, да и было отчего. Вы, воспоминания, не мучьте меня, оставьте меня! Былое счастье, настоящие муки... пусть бы остались одни мученья, пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать. Ах, тоска, тоска! Ты хуже ран.

Однако становится жарко. Солнце жжет. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да, это — турок, труп. Какой огромный. Я узнаю его, это тот самый...

Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?

Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как

у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец?..

А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним. Как он счастлив: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды... Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра; вокруг нее кровь. *Это сделал я.*

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять *свою* грудь под пули. И я пошел и подставил.

Ну и что же? Глупец, глупец! А этот несчастный феллах (на нем египетский мундир) — он виноват еще меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным, трудным походом от Стамбула до Рущука. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, всё лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце.

Чем же он виноват?

И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда! Кто знает, что значит это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти верст, тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Ах если бы кто-нибудь пришел!

Боже мой! Да у него в этой огромной фляге, наверно, есть вода! Но надо добраться до него. Что это будет стоить! Все равно доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело. До трупа сажени две, но для меня это больше, не больше, а хуже — десятков верст. Все-таки нужно ползти. Горло горит, жжет как огнем. Да и умрешь без воды скорее. Все-таки, может быть...

И я ползу. Ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а все-таки ползу. Наконец вот и он. Вот фляга... в ней есть вода — и как много! Кажется, больше полфляги. О! Воды мне хватит надолго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва!.. Я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный трупный запах.

Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и притом ее было много. Я проживу еще несколько дней. Помнится, в «Физиологии обыденной жизни» сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода. Да, там еще рассказана история самоубийцы, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил.

Ну и что же? Если я и проживу еще дней пять-шесть, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались. Дороги близко нет. Все равно — умирать. Только вместо трехдневной агонии я сделал себе недельную. Не лучше ли кончить? Около моего соседа лежит его ружье — отличное английское произведение. Стоит только протянуть руку; потом один миг — и конец. Патроны валяются тут же кучею. Он не успел выпустить всех.

Так кончать или ждать? Чего? Избавления? Смерти? Ждать, пока придут турки и начнут сдирать кожу с моих раненых ног? Лучше уж самому...

Нет, не нужно падать духом; буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасен. Быть может, кости не тронуты; меня вылечат. Я увижу родину, мать, Машу...

Господи, не дай им узнать всю правду! Пусть думают, что я убит наповал. Что будет с ними, когда они узнают, что я мучился два, три, четыре дня!

Голова кружится; мое путешествие к соседу меня совершенно измучило. А тут еще этот ужасный запах. Как он почернел... что будет с ним завтра или послезавтра? И теперь я лежу здесь только потому, что нет силы оттащиться. Отдохну и поползу на старое место; кстати, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние.

Я лежу в совершенном изнеможении. Солнце жжет

мне лицо и руки. Накрыться нечем. Хоть бы ночь поско рее; это, кажется, будет вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.

Я спал долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все по-прежнему: раны болят, сосед лежит, такой же огромный и неподвижный.

Я не могу не думать о нем. Неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя; неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей, кроме этого убийства?

Убийство, убийца... И кто же? Я!

Когда я затеял идти драться, мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Ослепленный идеею, я не видел этих слез. Я не понимал (теперь я понял), что я делал с близкими мне существами.

Да вспоминать ли? Прошлого не воротишь.

А какое странное отношение к моему поступку явилось у многих знакомых! «Ну, юродивый! Лезет, сам не зная чего!» Как могли они говорить это? Как вяжутся такие слова с *их* представлениями о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах? Ведь в *их* глазах я представлял все эти доблести. И тем не менее я — «юродивый».

И вот я еду в Кишинев; на меня навьючивают ранец и всякие военные принадлежности. И я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберется, подобно мне, идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили. Однако они идут так же, как и мы, «сознательные», проходят тысячи верст и дерутся так же, как и мы, или даже лучше. Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли — только бы позволили.

Понесло резким утренним ветерком. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звезды померкли. Темно-синее небо посерело, подернулось нежными перистыми облачками; серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего... Как это назвать? Жизнь? Агония?

Третий... Сколько их еще осталось? Во всяком случае, немного... Я очень ослабел и, кажется, даже не могу отодвинуться от трупа. Скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу.

Нужно напиться. Буду пить три раза в день: утром, в полдень и вечером.

Солнце взошло. Его огромный диск, весь пересеченный и разделенный черными ветвями кустов, красен, как кровь. Сегодня будет, кажется, жарко. Мой сосед — что станется с тобой? Ты и теперь ужасен.

Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная от природы, побледнела и пожелтела; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись, и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горою. Что сделает с ним солнце сегодня?

Лежать так близко к нему невыносимо. Я должен отползти во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться; но — передвинуть свое тяжелое, неподвижное тело? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час.

Все утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная, но что мне она теперь? Я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека. Я даже будто привык к боли. В это утро я отполз-таки сажени на две и очутился на прежнем месте. Но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние до того сильное, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается; все внутренности переворачиваются. А зловонный, зараженный воздух так и плывет на меня.

Я прихожу в отчаяние и плачу...

Совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспамятстве. Вдруг... Не обман ли это расстроенного воображения? Мне кажется, что нет. Да, это — говор. Конский топот, людской говор. Я едва не закричал, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? К этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненые ноги... Хорошо, если еще только это; но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если

это — наши? О проклятые кусты! Зачем вы обросли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них; только в одном месте будто окошко между ветвями открывает мне вид вдаль, в лощину. Там, кажется, есть ручеек, из которого мы пили перед боем. Да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручеек как мостик. Они, наверно, поедут через нее. Говор умолкает. Я не могу расслышать языка, на котором они говорят: у меня и слух ослабел. Господи! Если это наши... Я закричу им; они услышат меня и от ручейка. Это лучше, чем рисковать попасть в лапы башибузукам. Что ж они так долго не едут? Нетерпение томит меня; я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он нисколько не ослабел.

И вдруг на переходе через ручей показываются казаки! Синие мундиры, красные лампасы, пики. Их целая полусотня. Впереди на превосходной лошади чернобородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей, он повернулся на седле всем телом назад и закричал:

— Ры-сью, ма-арш!

— Стойте, стойте, бога ради! Помогите, помогите, братцы! — кричу я; но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипенья — и меня не слышат!

О проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из опрокинутой мною фляжки течет вода, моя жизнь, мое спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал неподвижно, с полузакрытыми глазами. Ветер постоянно переменялся и то дул на меня свежим, чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война,— подумал я,— вот ее изображение».

А солнце жжет и печет по-прежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю.

Жажда мучила так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил все. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня! Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучили бы час, два, а тут я и не знаю еще, сколько времени придется валяться здесь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страдание людям войну!

Но вы с Машей, должно быть, и не услышите о моих муках. Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь! Ах как тяжко, горько! Под сердце подходит что-то...

Опять эта беленькая собачка! Дворник не пожалел ее, стукнул головою об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива. И мучилась еще целый день. А я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые три дня. Завтра — четвертый, потом пятый, шестой... Смерть, где ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходит и не берет меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтоб освежить воспаленное горло, и труп заражает меня. Он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Как они копошатся! Когда он будет съеден и от него останутся одни кости и мундир, тогда — моя очередь. И я буду таким же.

Проходит, день, проходит ночь. Все то же. Наступает утро. Все то же. Проходит еще день...

Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают. «Вот ты умрешь, умрешь, умрешь!» — шепчут они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» — отвечают кусты с другой стороны.

— Да тут их и не увидишь! — громко раздается около меня.

Я вздрагиваю и разом прихожу в себя. Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

— Лопаты! — кричит он.— Тут еще двое, наш да ихний.

«Не надо лопат, не надо зарывать меня, я жив!» — хочу я закричать, но только слабый стон выходит из запекшихся губ.

— Господи! Да, никак, он жив? Барин Иванов! Ребята! Вали сюда, наш барин жив! Да доктора зови!

Через полминуты мне льют в рот воду, водку и еще что-то. Потом все исчезает.

Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанные раны не болят; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле...

— Сто-о-ой! О-о-пуска-а-й! Санитары, четвертая смена, марш! За носилки! Берись, поды-ма-ай!

Это командует Петр Иваныч, наш лазаретный офицер, высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослые солдата.

— Петр Иваныч! — шепчу я.

— Что, голубчик?

Петр Иваныч наклоняется надо мною.

— Петр Иваныч, что вам сказал доктор? Скоро я умру?

— Что вы, Иванов, полноте! Не умрете вы. Ведь у вас все кости целы. Этакий счастливец! Ни кости, ни артерии. Да как вы выжили эти трое с половиною суток? Что вы ели?

— Ничего.

— А пили?

— У турка взял флягу. Петр Иваныч, я не могу говорить теперь. После.

— Ну, господь с вами, голубчик, спите себе.

Снова сон, забытье...

Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сестры милосердия, и кроме них я вижу еще знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне:

— Ну, счастлив ваш бог, молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли; ну, да ведь это — пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано.

1877

Происшествие

I

Как случилось, что я, почти два года ни о чем не думавшая, начала думать,— не могу понять. Не мог же, в самом деле, натолкнуть меня на эти думы тот господин. Потому что эти господа так часто встречаются, что я уже привыкла к их проповедям.

Да, почти всякий из них, кроме совершенно привыкших или очень умных, непременно заговаривает об этих не нужных ни ему, ни даже мне вещах. Сперва спросит, как меня зовут, сколько мне лет, потом, большей частью с довольно печальным видом, начнет говорить о том, что «нельзя ли как-нибудь уйти от подобной жизни». Сначала меня мучили такие расспросы, но теперь я привыкла. Ко многому привыкаешь.

Но вот уже две недели всякий раз, когда я невесела, то есть не пьяна (потому что разве есть для меня возможность веселиться, не будучи пьяной?), и когда я остаюсь совсем одна, я начинаю думать. И не хотела бы, да не могу: не отвязываются эти тяжелые думы; одно средство забыть — уйти куда-нибудь, где много народа, где пьянствуют, безобразничают. Я начинаю также пить и безобразничать, мысли путаются, ничего не помнишь... Тогда — легче. Отчего прежде этого не бывало, с самого того дня, как я махнула рукой на все? Больше двух лет я живу здесь, в этой скверной комнате, все время провожу одинаково, также бываю в разных Эльдорадо и Пале-де-Кристаль, и все время если и не было весело, так хоть не думалось о том, что невесело; а теперь вот — совсем, совсем другое.

Как это скучно и глупо! Ведь все равно не выберусь никуда, не выберусь просто потому, что сама не захочу. В жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вон и в «Стрекозе» (которую приносит мне один знакомый довольно часто и уж непременно, когда в ней появляется что-нибудь «пикантное»), и в «Стрекозе» я видела рисунок: посередине маленькая хорошенькая девочка с куклой, а около нее два ряда фигур. Вверх от девочки идут: маленькая гимназистка или пансионерка, потом скромная молодая девушка, мать семейства и, наконец, старушка, почтенная такая, а в другую сторону, внизу — девочка с коробком из магазина, потом я, я и еще я. Первая я — вот как теперь; вто-

рая — улицу метлой метет, а третья — та уж совсем отвратительная, гнусная старуха. Но только уж я не допущу себя до этого. Еще два-три года, если вынесу такую жизнь, а потом в Екатериновку. На это меня хватит, не испугаюсь.

Какой странный, однако, этот художник! Почему так-таки непременно, если пансионерка или гимназистка, так уже и скромная девица, почтенная мать и бабушка? А я-то? Слава богу, ведь и я могу блеснуть где-нибудь на Невском французским или немецким языком! И рисовать цветы, я думаю, еще не забыла, и «Calipso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse» [1] помню. И Пушкина помню, и Лермонтова, и все, все: и экзамены, и то роковое, ужасное время, когда я осталась дурой, набитой дурой, одна у добрых родных, уверявших, что они «приютили сироту», и пылкие пошлые речи того фата, и как я сдуру обрадовалась, и всю ложь и грязь там, в «чистом обществе», откуда я попала сюда, где теперь одурманиваюсь водкой... Да, теперь я стала пить даже и водку. «Horreur!» [2] — закричала бы кузина Ольга Николаевна.

Да и в самом деле разве не horreur? Но виновата ли я сама в этом деле? Если бы мне, семнадцатилетней девчонке, с восьми лет сидевшей в четырех стенах и видевшей только таких же девочек, как и я сама, да еще разных маманов, попался не такой, как тот, с прическою à la Capoule, любезный мой друг, а другой, хороший человек,— то, пожалуй, тогда было бы и не то...

Глупая мысль! Разве есть они, хорошие люди, разве я их видела и после и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть? И могу ли я верить, что они есть, когда тут и мужья от молодых жен, и дети (почти дети — четырнадцати-пятнадцати лет) из «хороших семейств», и старики, лысые, паралитичные, отжившие?

И, наконец, могу ли я не ненавидеть, не презирать, хотя я сама презираемое и презренное существо, когда я вижу среди них таких людей, как некоторый молодой немчик с вытравленным на руке, повыше локтя, вензелем? Он сам объяснил мне, что это — имя невесты. «Jetzt aber bist du, meine liebe, allerliebstes Liebchen», [3]— ска-

---

[1] Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса (*фр.*).

[2] Ужас! (*фр.*)

[3] Но теперь, моя милая, ты мне всех милых милей (*нем.*).

зал он, смотря на меня маслеными глазками, и вдобавок прочел стишки Гейне. И даже с гордостью объяснил мне, что Гейне — великий немецкий поэт, но что у них, у немцев, есть еще выше поэты, Гёте и Шиллер, и что только у гениального и великого немецкого народа могут рождаться такие поэты.

Как мне хотелось вцепиться в его скверную смазливую белобрысую рожу! Но вместо этого я залпом выпила стакан портвейна, которым он меня поил, и забыла все.

Зачем мне думать о своем будущем, когда я и так знаю его очень хорошо? Зачем мне думать и о прошедшем, когда там нет ничего, что могло бы заменить мою теперешнюю жизнь? Да, это правда. Если бы мне предложили сегодня же вернуться туда, в изящную обстановку, к людям с изящными проборами, шиньонами и фразами, я не вернулась бы, а осталась бы умирать на своем посту.

Да, и у меня свой пост! И я тоже нужна, необходима. Недавно приходил ко мне один юноша, очень разговорчивый, и целую страницу прочитал мне наизусть из какой-то книги. «Это наш философ, наш русский философ»,— говорил он. Философ говорил что-то очень туманное и для меня лестное; вроде того, что мы — «клапаны для общественных страстей...». И слова гадкие, и философ, должно быть, скверный, а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти «клапаны».

Впрочем, недавно и мне пришла в голову та же мысль. Я была у мирового судьи, который приговорил меня к пятнадцати рублям штрафа за неприличное поведение в общественном месте.

В ту самую минуту, когда он читал решение, причем все встали, я подумала вот что: «За что вся эта публика так презрительно смотрит на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность; но ведь это — должность! Этот судья тоже занимает должность. И я думаю, что мы оба...»

Я ничего не думаю, я чувствую, что пью, что ничего не помню и путаюсь. В моей голове все перемешалось: и та скверная зала, где я сегодня вечером буду бесстыдно плясать, и Литовский замок, и эта скверная комната, в которой можно жить только пьяной. В висках у меня стучит, в ушах звон, в голове все куда-то скачет и несется, и я сама несусь куда-то. Мне хочется остановиться, удержаться

за что-нибудь, хоть за соломинку, но у меня нет и соломинки.

Лгу я, есть она у меня! И даже не соломинка, а быть может, что-то понадежнее, но я сама до того опустилась, что не хочу протянуть руку, чтобы схватиться за опору.

Кажется, это случилось в конце августа. Помню, тогда был такой славный осенний вечер. Я гуляла в Летнем саду и там познакомилась с этой «опорой». Этот человек не представлял ничего особенного, кроме разве какой-то добродушной болтливости. Он рассказал мне чуть не о всех своих делах и знакомых. Ему было двадцать пять лет, звали его Иваном Ивановичем. Собою он был ни дурен, ни хорош. Он болтал со мною, как с каким-нибудь знакомым, рассказывал даже анекдоты о своем начальнике и объяснил мне, кто у них в департаменте на виду.

Он ушел, и я забыла о нем. Через месяц он, однако, явился. И явился пасмурный, печальный, похудевший. Когда он вошел, я даже немного испугалась незнакомого, нахмуренного лица.

— Вы меня помните?

В эту минуту я вспомнила его и сказала, что помню. Он покраснел.

— Я потому думал, что вы не помните, что ведь много...

Разговор пресекся. Мы сидели на диване; я в одном углу, он в другом, как будто в первый раз выехал с визитами, прямой, вытянутый, даже цилиндр в руках держал. Сидели мы довольно долго; наконец он приподнялся и поклонился.

— Так до свиданья-с, Надежда Николаевна,—произнес он со вздохом.

— Как вы узнали мое имя? — закричала я, вспыхнув. Мое ходячее имя было не Надежда Николаевна, а Евгения.

Я крикнула на Ивана Ивановича так сердито, что он даже испугался.

— Ведь я ничего дурного, Надежда Николаевна... Я ни одному человеку... А я знаком с Петром Васильевичем, участковым, так он мне рассказал о вас все, как было. Я хотел сказать вам: Евгения, да язык не послушался, и я ваше настоящее имя произнес.

— Да вы скажите, зачем вы пришли ко мне?

Он молчал и печально смотрел мне в глаза.

— Для чего? — продолжала я, все разгорячаясь. — Какой интерес я представляю для вас? Нет, вы лучше не ходите ко мне; знакомства я с вами вести не буду, потому что у меня нет знакомых. Я знаю, зачем вы пришли ко мне! Вас заинтересовал рассказ этого полицейского. Вы подумали: вот редкость — образованная девушка в какую жизнь попала... Вы вздумали спасать меня? Подите от меня, мне ничего не нужно! Оставьте меня лучше издыхать одну, чем...

Тут я взглянула на его лицо и остановилась. Я видела, что била его каждым словом. Он не говорил ничего, но один вид его заставил меня замолчать.

— До свиданья, Надежда Николаевна, — сказал он. — Очень жалею, что огорчил вас. И себя тоже. До свиданья.

Он протянул мне руку (я не могла не дать ему своей) и вышел медленными шагами. Я слышала, как он спускался по лестнице, и видела в окно, как он, согнув шею, перешел через двор какою-то медленною и качающеюся походкою. У ворот он оглянулся, посмотрел на мои окна и исчез.

И вот этот-то человек может быть моей «опорой». Стоит мне только заикнуться, и я сделаюсь законной женой. Законною женою бедного, но благородного человека, и даже сделаюсь бедною, но благородною родительницею, если только господь во гневе своем еще пошлет мне ребенка.

II

Сегодня Евсей Евсеич говорит мне:

— Вы послушайте меня, Иван Иваныч, что вам я, старик, скажу. Вы, батюшка, не дельно вести себя стали: смотрите, как бы до начальства не дошло!

Он еще долго говорил (стараясь говорить о самой сути дела обиняками) о службе, чинопочитании, о нашем генерале, обо мне и, наконец, начал добираться и до моего несчастия. Мы сидели в трактире, куда Надежда Николаевна часто заходит со своими знакомыми.

Евсей Евсеич все давно заметил и давно уже вытянул от меня многие подробности. Не мог я удержать глупого языка, разболтал все, да притом еще чуть не разревелся.

Евсей Евсеич рассердился.

— Ах вы, бабень, бабень вы чувствительный! Молодой человек, хороший чиновник, из-за дряни какую историю развел! Да плюньте вы на нее! Да что вам до нее за дело? Добро бы девица благопристойная, а то, с позволенья сказать...

Евсей Евсеич даже плюнул.

После этого случая он часто возвращался к предмету своих огорчений (Евсей Евсеич искренне огорчается за меня), но уже не ругался, потому что заметил, что это мне неприятно. Впрочем, он мог сдерживать себя недолго и хотя сначала старался заговаривать издалека, но в конце концов всегда приходил к одному заключению, что надо бросить, «наплевать» и тому подобное.

Я и сам сочувствую, строго говоря, тому, что он твердит мне каждый день. Сколько раз и я думал тоже, что нужно бросить и наплевать! Да, сколько раз! И столько же раз после таких мыслей выходил из дому, и ноги несли меня в ту улицу... И вот она идет, нарумяненная, с насурмленными бровями, в бархатной шубке и щегольской котиковой шапочке — прямо на меня; и я сворачиваю на другую сторону, чтобы она не заметила моих преследований. Она доходит до угла и поворачивает назад, нагло и гордо смотря на прохожих и иногда заговаривая с ними; я слежу за нею с другой стороны улицы, стараясь не терять ее из вида, и безнадежно смотрю на ее маленькую фигурку, пока какой-нибудь... мерзавец не подойдет к ней, не заговорит. Она отвечает ему, она поворачивается и идет с ним... И я за ними. Если бы дорога была утыкана острыми гвоздями, мне не было бы больнее. Я иду, не слыша ничего и не видя ничего, кроме двух фигур...

Я не смотрю себе под ноги и около себя и иду, выпуча глаза, натыкаясь на прохожих, получая замечания, ругательства и толчки. Один раз я опрокинул ребенка...

Они поворачивают направо и налево, входят в калитку; сначала она, потом он: почти всегда из какой-то странной вежливости он дает ей дорогу. Потом и я вхожу. Против двух окон, хорошо мне знакомых, стоит сарай с сеновалом; на сеновал ведет легкая железная лесенка, кончающаяся площадкою без перил. И сижу я на этой площадке и смотрю на спущенные белые занавески...

Сегодня я тоже стоял на своем странном посту, хотя на дворе порядочный мороз. Озяб я ужасно, ног не слышал

под собою, а все-таки стоял. Пар шел от моего лица, усы и борода обмерзли, ноги начали цепенеть. По двору ходили люди, но не замечали меня и, громко разговаривая, проходили мимо. С улицы доносилась пьяная песня (веселая эта улица!), какая-то перебранка, стук скребков о панель, которую чистили дворники. Все эти звуки шумели в моих ушах, но я не обращал на них внимания, как и на мороз, щипавший лицо, и на озябшие ноги. Все это: и звуки, и ноги, и мороз — было как будто далеко-далеко от меня. Ноги ныли сильно, но внутри меня что-то ныло еще сильнее. У меня нет сил пойти к ней. Знает ли она, что есть человек, который счел бы за счастье сидеть с нею в одной комнате и, не касаясь даже руки ее, только смотреть ей в глаза? Что есть человек, который кинется в огонь, если это поможет ей выйти из ада, если бы она захотела выйти? Но она не хочет... И я до сих пор не знаю, почему она не хочет. Ведь я не могу поверить, что она испорчена до мозга костей; не могу я поверить этому, потому что знаю, что это не так, потому что знаю ее, потому что люблю, люблю ее...

Лакей подошел к Ивану Ивановичу, который положил локти на стол и на локти лицо, и изредка вздрагивал, и стал трогать его за плечо:

— Господин Никитин! Так нельзя-с... При всех... Хозяин забранит. Господин Никитин! Здесь нельзя, чтоб этаким родом. Извольте вставать!

Иван Иваныч поднял голову и посмотрел на слугу. Он вовсе не был пьян, и слуга понял это, как только увидел его печальное лицо.

— Это, Семен, ничего. Это так. Ты вот дай мне графинчик очищенной.

— С чем прикажете?

— С чем? С рюмкой. И побольше, чтобы не графинчик, а графин. Вот тебе, получи за все и мне возьми два двугривенных. Через час отправишь меня домой на извозчике. Ты ведь знаешь, где я живу?

— Знаю-с... Только, сударь, как оно это?..

Он, очевидно, недоумевал: подобный случай представился ему в первый раз за все время его долголетней практики.

— Нет, постой, я лучше сам.

Иван Иваныч вышел в переднюю, оделся и, выйдя на

улицу, завернул в торговое заведение, на низком окне которого ярко блестели освещенные газом разноцветные ярлыки бутылок, аккуратно и со вкусом уложенных в подстилку из мха. Через минуту он вышел, неся в руках две бутылки, дошел до своей квартиры, которую нанимал в меблированных комнатах Цукерберг, и запер за собою дверь на ключ.

III

Я опять забылась и опять проснулась. Три недели ежедневного шатанья! Как я только выношу это! Сегодня у меня болит голова, кости, все тело. Тоска, скука, бесцельные и мучительные рассуждения. Хоть бы пришел кто-нибудь!

Как будто в ответ на ее мысль в передней зазвенел звонок. «Дома Евгения?» — «Дома, пожалуйте»,— ответил голос кухарки. Неровные, торопливые шаги простучали по коридору, дверь распахнулась, и в ней появился Иван Иваныч.

Он вовсе не был похож на того робкого и застенчивого человека, который приходил сюда же два месяца назад. Шляпа набекрень, цветной галстук, уверенный, дерзкий взгляд. И при этом шатающаяся походка и сильный винный запах.

Надежда Николаевна вскочила с места.

— Здравствуй! — начал он.— Я к тебе пришел.

И он сел на стул у двери, не сняв шляпы и развалясь. Она молчала, молчал и он. Если бы он не был пьян, она бы нашла, что сказать, но теперь она потерялась. Пока она думала, что ей делать, он опять заговорил.

— Нида! Вот я и пришел... Имею прраво! — вдруг бешено закричал он и вытянулся во весь рост.

Шляпа упала с его головы, черные волосы в беспорядке падали на лицо, глаза сверкали. Вся его фигура выражала такое бешенство, что Надежда Николаевна испугалась на минуту.

Она попробовала говорить с ним ласково:

— Слушайте, Иван Иваныч, я очень буду рада вашему приходу, только идите теперь домой. Вы выпили лишнее. Будьте так добры, голубчик, идите домой. Приходите, когда будете здоровы.

— Струсила! — пробормотал будто про себя Иван Иваныч, опять усаживаясь на стул.— Укротилась! Да за что

ты меня гонишь? — опять отчаянно завопил он.— За что? Пить-то ведь я из-за тебя начал, ведь трезвый был! Чем ты тянешь меня к себе, скажи ты мне?

Он плакал. Пьяные слезы душили его, текли по лицу и попадали в рот, искривленный рыданиями. Он едва мог говорить.

— Ведь другая за счастье бы сочла избавиться от этого ада. Работал бы я как вол. Жила бы ты беззаботно, спокойная, честная. Говори, чем я заслужил от тебя ненависть?

Надежда Николаевна молчала.

— Что ты молчишь? — закричал он.— Говори! Говори что хочешь, только скажи что-нибудь. Пьян я — это верно... Непьяный не пришел бы сюда. Знаешь ты, как я боюсь тебя, когда я в здравом уме? Ведь ты меня в узелок связать можешь. Скажешь: украдь — украду. Скажешь: убей — убью. Знаешь ли ты это? Наверное, знаешь. Ты умная, ты все видишь. Если не знаешь... Надя, родная моя, пожалей меня!

И он на коленях ползал перед нею по полу. А она неподвижно стояла у стены, облокотясь на нее закинутою головою и заложив руки за спину. Ее взор был устремлен на какую-то одну точку пространства. Видела ли она что-нибудь, слышала ли что? Что она чувствовала при виде этого человека, валявшегося у нее в ногах и просившего у нее любви? Жалость, презрение? Ей хотелось жалеть его, но она чувствовала, что не может жалеть. Он возбуждал в ней только отвращение. И мог ли возбуждать он иное чувство в этом жалком виде: пьяный, грязный, униженно молящий?

Он уже несколько дней как бросил ходить на службу. Пил каждый день. Найдя утешение в вине, он стал меньше следить за своею страстью и все сидел дома и пил, собираясь с силами, чтобы пойти к ней и сказать *все*. Что он должен был сказать ей, он и сам не знал. «Скажу все, открою душу»,—вот что мелькало в его пьяной голове. Наконец он решился, пришел, начал говорить. Даже сквозь туман похмелья он сознавал, что говорит и делает вещи, вовсе не возбуждающие к нему любви, и все-таки говорил, чувствуя, что с каждым словом все ниже и ниже куда-то падает, все туже и туже затягивая петлю на своей шее.

Он говорил еще долго и бессвязно. Речь становилась все медленнее и медленнее, и наконец его опьяневшие,

опухшие веки сомкнулись, и, откинув голову назад, на спинку стула, он заснул.

Надежда Николаевна стояла в прежней позе, бесцельно глядя куда-то в потолок и барабаня пальцами по обоям стены.

«Жалко мне его? Нет, не жалко. Что я могу сделать для него? Выйти за него замуж? Да разве я смею? И разве же это не будет такою же продажею? Господи, да нет, это еще хуже!»

Она не знала, почему хуже, но чувствовала это.

«Теперь я по крайней мере откровенна. Меня всякий может ударить. Разве я мало терплю оскорблений? А тогда! Чем я буду лучше? Разве не будет тот же разврат, только не откровенный? Вон он сидит сонный, и голова отвалилась назад. Рот раскрыт, лицо бледное, как у мертвого. Платье на нем выпачканное: должно быть, валялся где-нибудь... Как он тяжело дышит... Иногда даже хрипит... Да, но ведь это пройдет, и он опять будет приличным, скромным. Нет, тут не то! А мне кажется, что этот человек, если я дам ему над собою верх, замучает меня одним воспоминанием... И я не вынесу. Нет, пусть, я останусь тем, что есть... Да ведь и недолго уж оставаться».

Она набросила себе на плечи накидку и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Иван Иваныч проснулся от стука, посмотрел вокруг себя бессмысленными глазами и, найдя, что на стуле спать неудобно, с трудом добрался до постели, повалился на нее и заснул мертвым сном. Он проснулся с головной болью, но трезвый, уже поздно вечером и, увидя, где он находится, тотчас же убежал.

Я вышла из дому, сама не зная, куда пойду. Погода была скверная, день пасмурный, темный; мокрый снег падал на лицо и руки. Гораздо лучше было бы сидеть дома; но можно ли мне теперь сидеть там? Он совсем погибает. Что мне делать, чтобы поддержать его? Могу ли я изменить свои отношения к нему? Ах, все в моей душе, вся моя внутренность горит. Я не знаю сама, почему я не хочу воспользоваться случаем — бросить эту ужасную жизнь, освободиться от кошмара. Если бы я вышла за него? Новая жизнь, новые надежды... Разве то чувство жалости, которое я все-таки чувствую к нему, не может перейти в любовь?

Ах, нет! Теперь он готов лизать мои руки, а тогда...

тогда он придавит меня ногою и скажет: «А! ты еще сопротивлялась, презренная тварь! Презирала меня!»

Скажет ли он это? Я думаю, что скажет.

Есть у меня одно средство спастись, избавиться — отличное, на которое я уже давно решилась и к которому, наверно, в конце концов прибегну, но мне кажется, что теперь еще рано. Слишком я молода, слишком много чувствую в себе жизни. Жить хочется. Хочется дышать, чувствовать, слышать, видеть; хочется иметь возможность хоть изредка взглянуть на небо, на Неву.

Вот и набережная. Громадные здания с одной стороны, а с другой — почерневшая Нева. Скоро тронется лед, река будет голубая. Парк на той стороне зазеленеет. Острова также покроются зеленью. Хоть и петербургская, а все-таки весна.

И вдруг вспомнилась мне моя последняя счастливая весна. Была тогда я девочкой семи лет, жила у отца и матери в деревне, в степи. За мною присматривали мало, и я бегала, где хотела и сколько хотела. Помню, как в начале марта у нас по степным оврагам побежали, зашумели реки талой воды, как потемнела степь, какой удивительный стал воздух, такой сырой и отрадный. Обнажились сперва вершины бугров, зазеленела на них травка. Потом и вся степь зазеленела, хоть в оврагах еще лежал умиравший снег. Быстро, в несколько дней, точно из-под земли, совсем готовые, выскочили, выросли кустики пионов, и на них пышные ярко-пурпуровые цветы. Жаворонки начали петь...

Господи, что я сделала такого, что еще при жизни меня следовало бросить в ад? Разве не хуже всякого ада то, что я переживаю?

Каменный спуск ведет прямо к проруби. Что-то потянуло меня спуститься и посмотреть на воду. Но ведь еще рано? Конечно, рано. Я подожду еще.

А все-таки хорошо было бы стать на этот скользкий, мокрый край проруби. Так сама бы скользнула. Только холодно... Одна секунда — и поплывешь под льдом вниз по реке, будешь безумно биться об лед руками, ногами, головою, лицом. Интересно знать, просвечивает ли туда дневной свет?

Я стояла над прорубью неподвижно и долго и уже дошла до того состояния, когда человек ни о чем не думает. Я давно промочила себе ноги, а не двигалась с места. Ветер был не холодный, но пронизывал меня насквозь, так

что я вся дрожала, а все-таки стояла. И не знаю, сколько бы времени продолжалось это оцепенение, если бы с набережной кто-то не закричал мне:

— Эй, мадам! Сударыня!

Я не обертывалась.

— Сударыня, пожалуйста на панель!

Кто-то сзади меня начал спускаться по лестнице. Кроме шарканья ног по посыпанным песком ступеням я слышала еще какой-то тупой стук. Я обернулась: спускался городовой, стучала его шашка. Увидев мое лицо, он вдруг изменил чинное выражение своей физиономии на грубое и дерзкое, подошел ко мне и дернул за плечо:

— Убирайся вон отсюда, дрянь ты этакая. Шляетесь везде! Сунешься сдуру в прорубь, потом отвечай за вас, за шельмов!

Он узнал по моему лицу, кто я.

IV

Все то же и то же... Нет возможности ни минуты остаться одной, чтобы не схватила за душу тоска. Что сделать с собою, чтобы забыть?

Аннушка принесла мне письмо. Откуда оно? Я так давно не получала ни от кого писем.

«Милостивая государыня, Надежда Николаевна! Хотя я очень хорошо понял, что для вас не составляю ничего, но все-таки полагаю, что вы добрая девушка и не захотите обидеть меня. В первый и последний в жизни раз я прошу вас быть у меня, так как сегодня мои именины. Родных и знакомых у меня нет. Умоляю вас, приходите. Даю вам слово, что я ничего не скажу вам обидного или неприятного. Пожалейте преданного вам *Ивана Никитина.*

P. S. О своем недавнем поведении в квартире вашей не могу вспомнить без стыда. Будьте же у меня сегодня в 6 часов. Прилагаю адрес. *И. Н.*».

Что это значит? Он решился написать ко мне. Тут что-нибудь не совсем просто. Что он хочет сделать со мною? Идти или нет?

Странно рассуждать — идти или не идти? Если он хочет заманить меня в западню, то или для того, чтобы убить, или... но если и убьет, все же развязка.

Пойду.

Я оденусь попроще и поскромнее, смою с лица румяна и белила. Ему все-таки будет приятнее. Причешу попроще голову. Как мало у меня осталось волос! Я причесалась, надела черное шерстяное платье, черный шарфик, белый воротничок и рукавчики и подошла к зеркалу взглянуть на себя.

Я чуть не заплакала, увидя в нем женщину, совсем не похожую на ту Евгению, которая так «хорошо» пляшет скверные танцы в разных притонах. Я увидела вовсе не нахальную, нарумяненную кокотку с улыбающимся лицом, с ухарски взбитым шиньоном, с наведенными ресницами. Эта забитая и страдающая женщина, бледная, тоскливо смотрящая большими черными глазами с темными кругами вокруг,— что-то совсем новое, вовсе не я. А может быть, это-то и есть я? А вот та Евгения, которую все видят и знают, та — что-то чужое, насевшее на меня, давящее меня, убивающее.

И я действительно заплакала и плакала долго и сильно. От слез легче становится, как твердили мне с самого детства; только, должно быть, это справедливо не для всех. Не легче мне стало, а еще хуже. Каждое рыданье болью отзывалось, каждая слеза горька. Тех, кому есть еще какая-нибудь надежда на исцеление и мир, тех слезы, быть может, и облегчают. А где она у меня?

Я вытерла слезы и отправилась.

Я без труда нашла номера мадам Цукерберг, и чухонка-горничная показала мне дверь к Ивану Иванычу.

— Можно войти?

В комнате раздался стук быстро задвигаемого ящика.

— Войдите! — быстро закричал Иван Иваныч.

Я вошла. Он сидел у письменного стола и заклеивал какой-то конверт. Мне он даже как будто и не обрадовался.

— Здравствуйте, Иван Иваныч,— сказала я.

— Здравствуйте, Надежда Николаевна,— ответил он, вставая и протягивая мне руку.

Что-то нежное мелькнуло у него на лице, когда я протянула ему свою, но тотчас же и исчезло. Он был серьезен и даже суров.

— Благодарю вас, что пришли.

— Зачем вы звали меня? — спросила я.

— Боже мой, неужели вы не знаете, что значит для

меня видеть вас! Впрочем, этот разговор для вас неприятен...

Мы сидели и молчали. Чухонка принесла самовар. Иван Иваныч подал мне чай и сахар. Потом поставил на стол варенье, печенье, конфеты, полбутылки сладкого вина.

— Вы извините меня за угощение, Надежда Николаевна. Вам, быть может, неприятно, но не сердитесь. Будьте добры, заварите чай, налейте. Кушайте: вот конфеты, вино.

Я стала хозяйничать, а он сел против меня так, что его лицо оставалось в тени, и принялся рассматривать меня. Я чувствовала на себе его постоянный и пристальный взгляд и чувствовала, что краснею.

Я на минуту подняла глаза, но сейчас же опять опустила, потому что он продолжал серьезно смотреть мне прямо в лицо. Что это значит? Неужели эта обстановка, скромное, черное платье, отсутствие нахальных лиц, пошлых речей подействовали на меня так сильно, что я опять превратилась в скромную и конфузливую девочку, какой была два года тому назад? Мне стало досадно.

— Скажите, пожалуйста, что вы выпучили на меня глаза?..— выговорила я с усилием, но бойко.

Иван Иваныч вскочил и заходил по комнате.

— Надежда Николаевна! Не говорите так грубо. Побудьте хоть час такою, как вы сюда пришли.

— Но я не понимаю, зачем вы меня позвали. Неужели только затем, чтобы молчать и смотреть на меня?

— Да, Надежда Николаевна, только за этим. Вам ведь это особого огорчения не сделает, а мне утешение — в последний раз на вас посмотреть. Вы были так добры, что пришли, и в этом платье, такою, как теперь. Я этого не ждал и за это вам еще больше благодарен.

— Но отчего же в последний раз, Иван Иваныч?

— Я ведь уезжаю.

— Куда?

— Далеко, Надежда Николаевна. Я вовсе сегодня не именинник. Я так это, не знаю сам почему, написал. А мне просто хотелось еще раз на вас посмотреть. Хотел я сначала пойти и ждать, когда вы выйдете, да уж как-то решился просить вас к себе. И вы были так добры, что пришли. Дай вам бог за это всего хорошего.

— Мало хорошего впереди, Иван Иваныч.

— Да, для вас мало хорошего. Впрочем, ведь вы сами

знаете лучше меня, что для вас впереди..— Голос Ивана Иваныча задрожал.— Мне лучше,— прибавил он,— потому что я уеду.

И его голос задрожал еще более.

Мне стало невыразимо жалко его. Справедливо ли все то дурное, что я чувствовала против него? За что я так грубо и резко оттолкнула его? Но теперь уже поздно сожалеть.

Я встала и начала одеваться. Иван Иваныч вскочил как ужаленный.

— Вы уже уходите? — взволнованным голосом спросил он.

— Да, надо идти...

— Вам надо... Опять туда! Надежда Николаевна! Да давайте я лучше убью вас сейчас!

Он говорил это шепотом, схватив меня за руку и смотря на меня большими, растерянными глазами.

— Ведь лучше? Скажите!

— Да ведь вам, Иван Иваныч, за это в Сибирь идти. Я вовсе не хочу этого.

— В Сибирь!.. Разве я оттого не могу убить вас, что Сибири боюсь? Я не оттого... Я не могу вас убить потому, что... да как же я убью вас? Да как же я убью тебя? — задыхаясь, выговорил он.— Ведь я...

И он схватил меня, поднял, как ребенка, на воздух, душа в объятиях и осыпая поцелуями мое лицо, губы, глаза, волосы. И так же внезапно, как внезапно это случилось, поставил меня на ноги и быстро заговорил:

— Ну, идите, идите... Простите меня, но ведь это в первый и последний раз. Не сердитесь на меня. Идите, Надежда Николаевна.

— Я не сержусь, Иван Иваныч...

— Идите, идите! Благодарю, что пришли.

Он выпроводил меня и тотчас же заперся на ключ. Я стала спускаться с лестницы. Сердце ныло еще больше прежнего.

Пусть он едет и забудет меня. Останусь доживать свой век. Довольно сентиментальничать. Пойду домой.

Я прибавила шага и думала уже о том, какое платье надену и куда отправлюсь на сегодняшний вечер. Вот и кончен мой роман, маленькая задержка на скользком пути! Теперь покачусь свободно, без задержек, все ниже и ниже.

«Да ведь он теперь стреляется!» — вдруг закричало что-

то у меня внутри. Я остановилась как вкопанная; в глазах у меня потемнело; по спине побежали мурашки, дыхание захватило... Да, он теперь убивает себя! Он захлопнул ящик — это он револьвер рассматривал. Письмо писал... В последний раз... Бежать! Быть может, еще успею. Господи, удержи его! Господи, оставь его мне!

Смертельный, неиспытанный ужас охватил меня. Я бежала назад как безумная, налетая на прохожих. Не помню, как я взбежала по лестнице. Помню только глупое лицо чухонки, впустившей меня, помню длинный темный коридор со множеством дверей, помню, как я кинулась к его двери. И когда я схватилась за ее ручку, за дверью раздался выстрел. Отовсюду выскочили люди, бешено завертелись вокруг меня, вместе с коридором, дверьми, стенами. И я упала... и в моей голове тоже все завертелось и исчезло.

1878

Трус

Война решительно не дает мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится — предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лишний день уносит сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих. Другой спокойно читает: «Потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина. Пятьдесят мертвых, сто изувеченных — это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам человек, заставила кри-

чать о себе всю Россию, а на аванпостные дела с «незначительными» потерями тоже в несколько десятков человек никто не обращает внимания?

Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, сказал мне:

— Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты и вам самим придется стрелять в людей.

— Меня, Василий Петрович, не заберут; я зачислен в ополчение.

— Да если война затянется, тронут и ополчение. Не храбритесь, придет и ваш черед.

У меня сжалось сердце. Как эта мысль не пришла мне в голову раньше? В самом деле, тронут и ополчение — тут нет ничего невозможного. «Если война затянется»... да она, наверное, затянется. Если не протянется долго эта война, все равно начнется другая. Отчего ж и не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война — только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро.

Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нет, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два начать иную работу, труд любви и правды; я наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла,— я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы — свободы располагать своим телом.

Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны.

— Относитесь, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет,— говорит он.— Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствие, она и меня лично обижает, она не дает мне доучиться. Устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги.

А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой милосердия?

— Неужели?

— Третьего дня решилась, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отговаривал; спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. «После, говорит, доучусь, если жива буду». Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится.

— А что ж Кузьма Фомич?

— Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извелся человек; мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну, уж эта любовь! — Василий Петрович покрутил головой.— Вот и теперь побежал привести ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна!

— Мне кажется, Василий Петрович, это нехорошо, что он живет с вами.

— Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя — отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты; мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут.

— Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте!

Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принужденно-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня.

Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя

двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок... Двенадцать тысяч... Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составится дорога в восемь верст... Что же это такое?

Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли.. я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно — гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее... Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом.

Трус я или нет?

Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни ввиду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела?

Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи,— правда, немногие,— в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня...

Всё новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв — валящиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли.

Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.

— Что с тобой? — спросил я его.

Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.

— У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв,— сказала Марья Петровна.— Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло.

— Доктор сейчас придет; я заходил к нему,— сказал Василий Петрович.

— Очень нужно было, — процедил сквозь зубы Кузьма.

— Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается?

— Чем бы ни кончилось, все равно,— пробормотал Кузьма.

— Вовсе не все равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей,— тихо сказала Марья Петровна.

Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрела на Кузьму.

Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор, большой весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменилось на озабоченное.

— Пойдемте, пойдемте в вашу комнату; мне нужно хорошенько осмотреть вас.

Я пошел за ним в комнату Кузьмы.

Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.

— Ну-с, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? — спросил доктор.

— Есть, я думаю,— ответил Кузьма недоумевающим тоном.

— Я попросил бы их,— сказал доктор, любезно обращаясь ко мне,— с этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной.

Он вышел из комнаты; Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то вполголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другою ложечку в чашке с чаем.

— Доктор приказал дежурить около Кузьмы.

— Разве в самом деле есть опасность? — тревожно спросила Марья Петровна.

— Вероятно, есть: иначе зачем были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна?

— Ах, конечно нет! Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдемте к нему; ему ведь очень скучно лежать одному.

Кузьма встретил нас улыбнувшись, насколько ему позволила опухоль.

— Вот спасибо,— сказал он,— а я думал уж, что вы меня забыли.

— Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем: нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание,— улыбаясь, сказала Марья Петровна.

— И вы будете? — робко спросил Кузьма.

— Буду, буду, только слушайтесь меня.

Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия.

— Ах да,— сказал он вдруг, обращаясь ко мне,— дай мне, пожалуйста, зеркало: вон на столе лежит.

Я подал ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело, и, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова.

Сегодня мне наверно сказали, что скоро потребуют ополченцев; я ждал этого и не был особенно поражен.

Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь, мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня «пристроили» бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а во-вторых, что-

то не подчиняющееся определению сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. «Нехорошо»,— говорит мне внутренний голос.

Случилось то, чего я никак не ожидал.

Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами.

— Что такое, Марья Петровна, что с вами?

— Тише, тише, пожалуйста,— зашептала она.— Знаете, ведь все кончено.

— Что кончено? Не умер же он?

— Нет, еще не умер... только надежды никакой. Оба доктора... мы ведь другого позвали...

Она не могла говорить от слез.

— Подите, посмотрите... Пойдемте к нему.

— Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите.

— Все равно... Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало; ведь сам скоро был бы доктором.

Тяжелый запах анатомического театра наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно.

— Что с ним? — спросил я шепотом.

— Пусть он сам... Оставайтесь с ним, я не могу.

Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий, а я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате; только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его; не то чтобы его черты слишком переменились — нет; но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем (хотя особенной дружбы между нами не существовало), но никогда мне не приходилось так входить в его поло-

жение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи и радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону, а теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. «Неужели он в самом деле так опасен? — думал я.— Не может быть; не может же человек умереть от глупой зубной боли. Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо».

Он открыл глаза и увидел меня. Не переменяя выражения лица, он заговорил медленно, делая остановки после каждого слова:

— Здравствуй... Вот видишь, каков я... Конец наступил. Подкрался так неожиданно... глупо...

— Скажи мне наконец, Кузьма, что с тобой? Может быть вовсе и не так дурно.

— Не дурно, ты говоришь? Нет, брат, очень дурно. На таких пустяках не ошибусь. На, смотри!

Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку, и на меня пахнуло невыносимым трупным запахом. Начиная от шеи, на правой стороне, на пространстве ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена.

Вот уже четыре дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марьей Петровной, то с ее братом. Жизнь, кажется, едва держится в нем, а все не хочет оставить его сильного тела. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как тряпку, и доктор велел нам каждые два часа промывать больную рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы, вдвоем или втроем, приступаем к постели Кузьмы, повертываем и приподнимаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттаперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, «потому что,— объясняет он,— щекотно». Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, «бразды правления», то есть гуттаперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения и вся постель бывает облита водою.

Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недосягаемым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним; а он спокойно принимает ее заботливость как должное и говорит с нею, точно отец с маленькой дочерью.

Иногда он очень страдает. Рана его горит, лихорадка трясет его... Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма кажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди — и все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромною массою людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях грудами мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел.

Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа.

Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике, и проснулся, разбуженный толчками в плечо.

— Вставайте, вставайте! — говорила Марья Петровна. Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.

— Пятна, новые пятна! — разобрал я наконец.

— Какие пятна, где пятна?

— Ах, боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались. Я уже послала за доктором.

— Да, может быть, и пустое,— сказал я с равнодушием только что разбуженного человека.

— Какое пустое, посмотрите сами!

Кузьма спал, раскинувшись, тяжелым и беспокойным сном; он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Это гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хоть я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть.

Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени, и молча смотрела на меня отчаянными глазами.

— Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна. Придет доктор, посмотрит; может быть, еще не все кончено. Может быть, еще выручим его.

— Нет, не выручим, умрет,— шептала она.

— Ну, не выручим, умрет,— отвечал я ей так же тихо,— для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя же так убиваться: ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи.

— Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни? И сама не могу объяснить себе, отчего это. Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня, а умрет он — сердце у меня разорвется. Все мне будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердца, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что люби я его — жили бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет: виновата, виновата, виновата...

Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что́ говорит Марья Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветило солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь и страх смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Марья Петровна смотрела на него несколько мгновений как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклонясь над бедным полутрупом, она поцеловала его.

Тогда он открыл глаза.

— Боже мой, как не хочется умирать! — проговорил он.

И в комнате вдруг раздались странные, тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим.

Я ушел из комнаты. Я сам чуть было не разревелся. Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты,— а там? Кузьма, вместе с страхом смерти и физическими страданиями, испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то! Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют или наедут пушки и раздавят, как червяка...

— Я вам скажу откровенно,— говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши,— что в подобных случаях, при госпитальном лечении, умирают девяносто девять из ста. Я надеюсь только на тщательный уход, на прекрасное расположение духа больного и на его горячее желание выздороветь.

— Всякий больной желает выздороветь, доктор.

— Конечно, но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства,— сказал доктор с улыбочкой.— Итак, сегодня вечером мы сделаем операцию — прорежем ему новое отверстие, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водою, и будем надеяться.

Он пожал мне руку, запахнул свою медвежью шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами.

— Может быть, угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделать операцию? — обратился он к Львову.

Львов кивнул головою, засучил рукава и с серьезно-мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил в рану какой-то удивительный инструмент с трехгранным острием, видел, как острие пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и защелкал зубами от боли.

— Ну, не бабничай,— угрюмо говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку.

— Очень больно? — ласково спросила Марья Петровна.

— Не так больно, голубушка, а ослабел я, измучился.

Положили повязки, дали Кузьме вина, и он успокоился. Доктор уехал, Львов ушел в свою комнату заниматься, а мы с Марьей Петровной стали приводить комнату в порядок.

— Поправьте одеяло,— проговорил Кузьма ровным беззвучным голосом.— Дует.

Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственным указаниям, которые он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося получше подсунуть одеяло. Я старался сделать это как можно лучше, но, несмотря на все мое усердие, Кузьме все-таки дуло то в бок, то в ноги.

— Неумелый ты какой,— тихо брюзжал он,— опять в спину дует. Пусть она.

Он взглянул на Марью Петровну, и мне стало очень ясно, почему я не сумел угодить ему.

Марья Петровна поставила склянку с лекарством, которую держала в руках, и подошла к постели.

— Поправить?

— Поправьте... Вот хорошо... тепло!..

Он смотрел на нее, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски счастливым выражением на измученном лице заснул.

— Вы пойдете домой? — спросила Марья Петровна.

— Нет, я выспался отлично и могу сидеть; а впрочем, если я не нужен, то уйду.

— Не ходите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти так горько, так тяжело!

— Будьте тверды, Марья Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются.

— Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердия. Все-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком.

— А вы все-таки едете?

— Еду, конечно. Выздоровеет он или умрет — все равно поеду. Я уже сжилась с этой мыслью и не могу отказаться от нее. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших, светлых днях.

— Ах, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне.

— Отчего? Работать буду — вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется.

— Принять участие! Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы ли говорите мне это!

— Я говорю. Кто вам сказал, что я люблю войну?

Только... как бы это вам рассказать? Война — зло; и вы, и я, и очень многие такого мнения; но ведь она неизбежна; любите вы ее или не любите, все равно она будет, и если не пойдете драться вы, возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вот что: по-моему, война есть *общее* горе, *общее* страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится.

Я молчал. Слова Марьи Петровны яснее выразили мое смутное отвращение к уклонению от войны. Я сам *чувствовал* то, что она чувствует и думает, только *думал* иначе.

— Вот вы, кажется, всё думаете, как бы постараться остаться здесь,— продолжала она,— если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится.

— Что же делать, Марья Петровна! Разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?

— Не вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы остаетесь в Петербурге — живой, здоровый, счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну. Я не беру на себя решать — может быть, это и извинительно, но мне не нравится, нет.

Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.

Наконец вот оно. Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения... ружейным приемам. У меня и теперь раздается в ушах:

— Смирно!.. Ряды вздво-ой! Слушай, на кра-аул!

И я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьем. И через несколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваиванья рядов, меня назначат в партию, нас посадят в вагоны, повезут, распределят по полкам, поставят на места, оставшиеся после убитых...

Ну да это все равно. Все кончено; теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению; теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выть, когда больно...

Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которые отличаются тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они до распределения по полкам в огромном сарае, бывшем манеже: его разделили полатями на два этажа, натащили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться как знают. На проходе, идущем посредине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков: настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие неуклюжие хохлы, в новых свитках и смушковых шапках, лежали тесной кучкой и молчали. Их было человек десять.

— Здравствуйте, братцы.

— Здравствуйте.

— Давно из дому?

— Та вже дві неділи. А вы яки-таки будете? — спросил меня один из них.

Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились.

— Скучно? — спросил я.

— Так як же не скучно! Дуже моторно. Коли б ще годували, а то така страва, що и боже мій!

— Куда ж вас теперь?

— А хто ёго зна! Кажуть, пид турку...

— А хочется на войну?

— Чого я там не бачив?

Я начал расспрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов и вскоре после которой молодого забрали в солдаты, о судебном приставе, «сто чортив ему конных у горло», о том, что мало становится земли, и поэтому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек идти на Амур... Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарах, о деле, за которое шел умирать.

Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки и, когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил:

— Этого самого турку бить следует.

— Следует? — спросил я, невольно улыбнувшись уверенности решения.

— Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно! Ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смирно... был бы я теперь дома, при родителях, в лучшем виде. А то он бунтует, а нам огорчение. Это вы будьте спокойны, верно я говорю. Папиросочку пожалуйте, барин! — вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к козырьку.

Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошел домой, так как наступило время, свободное от службы.

«Он бунтует, а нам огорчение», — звенел у меня в ушах пьяный голос. Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь.

У Львовых тоска, уныние. Кузьма очень плох, хотя рана его и очистилась: страшный жар, бред, стоны. Брат и сестра не отходили от него все дни, пока я был занят поступлением на службу и ученьями. Теперь, когда они знают, что я отправлюсь, сестра стала еще грустнее, а брат еще угрюмее.

— В форме уже! — проворчал он, когда я поздоровался с ним в комнате, закуренной и заваленной книгами.— Эх вы, люди, люди...

— Что же мы за люди, Василий Петрович?

— Заниматься вы мне не даете — вот что! И так времени совсем нет, кончить курса не дадут, пошлют на войну; и так многого узнать не придется, а тут еще вы с Кузьмой.

— Ну, положим, Кузьма умирает, а я-то что?

— Да вы разве не умираете? Не убьют вас — с ума сойдете или пулю в лоб пустите. Разве я не знаю вас и разве не было примеров?

— Каких примеров? Разве вы знаете что-нибудь подобное? Расскажите, Василий Петрович!

— Отстаньте вы, очень нужно вас еще пуще разогорчать! Вредно вам. И я ничего не знаю, это я так сказал.

Но я пристал к нему, и он рассказал мне свой «пример».

— Мне один раненый офицер-артиллерист рассказывал. Вышли они только что из Кишинева, в апреле, тотчас после объявления войны.. Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась одна грязь, такая, что орудия и повозки уходили в нее по оси. До того дошло, что лошади не берут; прицепили канаты, поехали на людях. На втором переходе дорога ужасная: на семнадцати верстах двенадцать гор, а между ними все топь. Въехали и стали. Дождь хлещет, на теле ни нитки сухой, проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянет-тянет человек и упадет лицом в грязь без памяти. Наконец добрались до такой трясины, что двинуться вперед было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! «Что тут было,— офицер мой говорит,— вспоминать страшно!» Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек. Плачет. «Не могу, говорит, я вынести этого зрелища; уеду вперед». Уехал. Нарубили солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и наконец сдвинулись с места. Вывезли батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит... Вот вам и пример. Не мог человек вида мучений вынести, так где ж вам самые-то муки одолеть?

— Василий Петрович, да не легче ли самому муки нести, чем казниться, как этот доктор?

— Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих в дышло запрягут.

— Совесть мучить не будет, Василий Петрович.

— Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы с сестрой об этом поговорите: она насчет этих тонкостей дока. «Анну Каренину» ли по косточкам разобрать или о Достоевском поговорить, все может; а уж эта штука в каком-нибудь романе, наверно, разобрана. Прощайте, философ!

Он добродушно рассмеялся своей шутке и протянул мне руку.

— Вы куда?

— На Выборгскую, в клинику.

Я вошел в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидевшая около постели. Он еще не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его.

— Тебя здесь оставят или ушлют в армию? — спросил он.

— Отправят; разве ты не знаешь?

Он молчал.

— Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мало помню и соображаю... Что ж, поезжай. Нужно.

— И ты, Кузьма Фомич!

— Что «и я»? Разве не правда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай! Нужнее тебя есть люди, работящее тебя, и те идут... Поправь мне подушку... вот так.

Он говорил тихо и раздраженно, как будто мстя кому-то за свою болезнь.

— Все это верно, Кузя, да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, я бы остался здесь без дальних разговоров: устроить это нетрудно. Я не делаю этого; меня требуют, и я иду. Но пусть по крайней мере мне не мешают иметь об этом свое собственное мнение.

Кузьма лежал неподвижно, устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно повернул ко мне голову.

— Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее,— проговорил он.— Я измучен и раздражен и, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив; должно быть, скоро помирать пора.

— Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживает, все идет к лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить следует.

Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне две недели тому назад: «Нет, не выздоровеет, умрет».

— А что, если бы в самом деле ожить? Хорошо бы было! — слабо улыбнувшись, сказал Кузьма.— Тебя ушлют драться, и мы с Марьей Петровной поедем: она милосердной сестрицей, а я врачом. И буду я около тебя, раненого, возиться, как ты теперь около меня.

— Будет болтать, Кузьма Фомич,— сказала Марья Петровна,— вредно вам много говорить, да и пора начинать ваше мучение.

Он отдался в наше распоряжение; мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестевшую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препа-

рат, я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством и подавляющим количеством и сверх того нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей.

Я не пишу в эту книжку ни слова о том, что делается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встречает и провожает меня мать, какое-то тяжелое молчание, сопровождающее мое присутствие за общим столом, предупредительная доброта братьев и сестер — все это тяжело видеть и слышать, а писать об этом еще тяжелее. Когда подумаешь, что через неделю придется лишиться всего самого дорогого в мире, слезы подступают под горло...

Вот наконец и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома; и я сижу в своей комнате один, в последний раз! В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз разошлась семья, в последний раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончать ее, ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты,

...ты, палец от ноги?..

Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть; завтра нужно встать очень рано.

Я просил, чтобы меня никто не провожал на железную дорогу. Дальние проводы — лишние слезы. Но когда я уже сидел в вагоне, набитом людьми, я ощутил такое

щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдал бы все на свете, чтоб хоть несколько минут провести с кем-нибудь из близких. Наконец настал назначенный час, но поезд не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, час, полтора, а он все еще стоял. В эти полтора часа я успел бы побывать дома... Может быть, кто-нибудь не утерпит и приедет... Нет, ведь все думают, что поезд уже ушел; никто не станет рассчитывать на опоздание. А все-таки, может быть... И я смотрел в ту сторону, откуда могли ко мне прийти. Никогда время не тянулось так долго.

Резкие звуки рожка, игравшего сбор, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, вылезшие из вагонов и толпившиеся на платформе, торопились усаживаться. Сейчас тронется поезд, и я никого не увижу.

Но я увидел. Львовы, брат и сестра, почти бежали к вагону, и я ужасно обрадовался им. Не помню, что я говорил им, не помню, что они мне говорили, кроме одной только фразы: «Кузьма умер».

На этой фразе кончаются заметки в записной книжке.

Широкое снежное поле. Белые холмы окружают его, на них белые же, заиндевевшие деревья. Небо пасмурно, низко; в воздухе чувствуется оттепель. Трещат ружья, слышатся частые удары пушечных выстрелов; дым покрывает один из холмов и медленно сползает с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда вглядишься в нее пристальнее, то видишь, что она состоит из отдельных черных точек. Многие из этих точек уже неподвижны, но другие все двигаются и двигаются вперед, хотя им еще далеко до цели, видимой только по массе дыма, несущегося с нее, и хотя их число с каждым мгновением становится все меньше и меньше.

Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив ружья в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз.

— Пошли, братцы, пошли... Эх, не дойдут!

— И чего это только нас держат? С подмогой живо бы взяли.

— Жизнь тебе надоела, что ли? — угрюмо сказал пожилой солдат из «билетных».— Лежи, коли положили, да благодари бога, что цел.

— Да я, дяденька, цел буду, не сомневайтесь,— отве-

чал молодой солдат с веселым лицом.— Я в четырех делах был, хоть бы что! Оно спервоначалу только боязно, а потом — ни боже мой! Вот барину нашему впервой, так он небось у бога прощенья просит. Барин, а барин?

— Чего тебе? — отозвался худощавый солдат с черной бородкой, лежавший возле.

— Вы, барин, глядите веселее!

— Да я, голубчик, и так не скучаю.

— Вы меня держитесь, ежели что. Уж я бывал, знаю. Ну, да у нас барин молодец, не побегит. А то был такой до вас вольноопределяющий, так тот, как пошли мы, как зачали пули летать, бросил он и сумки и ружье; побёг, а пуля ему вдогонку да в спину. Так нельзя, потому — присяга.

— Не бойся, не побегу...— тихо отвечал «барин».— От пули не убежишь.

— Известно, где от ей убежать! Она шельма... Батюшки светы! Никак, наши-то стали!

Черная масса остановилась и задымилась выстрелами.

— Ну, палить стали, сейчас назад... Нет, вперед пошли. Выручай, мать пресвятая богородица! Ну-ка еще, ну, ну... Эка раненых-то валится, господи! И не подбирают.

— Пуля! Пуля! — раздался вокруг говор.

В воздухе действительно что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетевшая через резервы. Вслед за ней полетела другая, третья. Батальон оживился.

— Носилки! — закричал кто-то.

Шальная пуля сделала свое дело. Четверо солдат с носилками бросились к раненому. Вдруг на одном из холмов, в стороне от пункта, на который велась атака, показались маленькие фигурки людей и лошадей, и тотчас же оттуда вылетел круглый и плотный клуб дыма, белого как снег.

— В нас, подлец, метит! — закричал веселый солдат.

Завизжала и заскрежетала граната, раздался выстрел. Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что «барин» лежит рядом с ним ничком, раскинув руки и неестественно изогнув шею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие.

1879

Встреча

На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход («вероятно, английский»,— подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не видавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке, товарищи шумели и перебивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь.

— Не верьте, Нина Петровна! Все врет! Выдумывает!

— Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноват!

— Если вы, Шевырев, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать...— принужденно-чинным молодым голоском заговорила девушка.

Конца Василий Петрович недослышал, потому что гурьба прошла мимо. Через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха.

«Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать»,— подумал Василий Петрович, во-первых, потому, что он был назначен учителем в местную гимназию, а во-вторых, потому, что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал ее вслух. «Да, придется работать на этом скромном поприще,— думал он, вновь садясь на скамью лицом к морю.—

Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило пороху, брат Василий Петрович, на все эти затеи, попробуй-ка здесь поработать!»

И красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать «искру божию» в мальчиках; как будет поддерживать натуры, «стремящиеся сбросить с себя иго тьмы»; как под его надзором будут развиваться молодые, свежие силы, «чуждые житейской грязи»; как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди... Даже такие картины рисовались в его воображении: сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики, и один из них — профессор такого-то университета, известный «у нас и в Европе», другой — писатель, знаменитый романист, третий — общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. «Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека, уважаемый Василий Петрович»,— говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю...

Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. «Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою,— думал он.— Квартира... ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, белье, чай, табак... Тысячу рублей в полгода, во всяком случае, сберегу. Наверно, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти...» Чувство довольства охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательные письма на имя местных тузов, и в двадцатый раз перечесть их адресы. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были завернуты, но прочесть адресы ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо к месяцу и старался рассмотреть знакомые черты. «О моя Лиза!» — проговорил он почти вслух и вздохнул не без

приятного чувства. Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначального обзаведения.

Вздохнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена.

Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее. Английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно; он встал и пошел вдоль по бульвару.

Господин, в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе, с навернутым на тулью кисейным полотенцем (летний костюм местных щеголей), встал со скамейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал:

— Позвольте закурить.

— Сделайте одолжение,— ответил Василий Петрович. Красный отблеск озарил знакомое ему лицо.

— Николай, друг мой! Ты ли это?

— Василий Петрович?

— Он самый... Ах как я рад! Вот не думал, не гадал,— говорил Василий Петрович, заключая друга в объятия и троекратно лобзая его.— Какими судьбами?

— Очень просто, на службе. А ты как?

— Я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал.

— Где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину.

— Поедем, поедем,— согласился Василий Петрович.— Я очень, очень рад! Приехал сюда, как в пустыню,— и вдруг такая радостная встреча. Извозчик! — закричал он.

— Не нужно, не кричи. Сергей, давай! — громко и спокойно произнес друг Василия Петровича.

К тротуару подкатила щегольская коляска; хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в

недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера.

— Кудряшов, эти лошади — твои?

— Мои, мои! Что, не ожидал?

— Удивительно... Ты ли это?

— Кто же другой, как не я? Ну, полезай в коляску, еще успеем поговорить.

Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатилась, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. «Что за притча! — думал он.— Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь — коляска!» Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через пять минут экипаж остановился.

— Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину,— сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезть.

Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее; поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в десять или двенадцать больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей медной доской с фамилией хозяина.

— Однако хижина у тебя, Кудряшов! Это не хижина, а, так сказать, палаццо,— сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим черною пастью камином.— Неужели собственная?

— Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.

— Полторы! — протянул Василий Петрович.

— Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно: ведь уж если строить, так не этакую дрянь.

— Дрянь! — воскликнул в изумлении Василий Петрович.

— Конечно, дом неважный. Ну, пойдем, пойдем скорее...

Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала

новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, тисненными золотом, обоями; столовая «под дуб» с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром; зал с роялем, множеством разной мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев, с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах; гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл двести тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, насколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем; скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверно, никто не обращал внимания; шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонки и воздушны, но в головках у которых было выточено по три шарика, заключенных один в другой, и множества других ненужных вещей.

Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разною бронзовою и фарфоровою мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках.

— Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища,— сказал он.

— Я тоже... Знаешь ли, приехал как в пустыню и вдруг такая встреча! Знаешь ли, Николай Константиныч, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний...

— О чем это?

— Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо если не в материальном, то в нравственном отношении. Помнишь...

— Что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу

жрали? Будет, брат, надоело... Сигару хочешь? Regalia Imperialia или как там ее; знаю только, что полтинник штука.

Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил ее и сказал:

— Николай Константиныч, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет — и у тебя такое место.

— Что место! Место, брат, плюнь да отойди.

— Как же это? Да ты сколько получаешь?

— Каких? Жалованья?

— Ну да, содержания.

— Жалованья получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов 2-й, тысячу шестьсот рублей в год.

У Василия Петровича вытянулось лицо.

— Как же это? Откуда это все?

— Эх, брат, простота ты! Откуда? Из воды и земли, из моря и суши. А главное, вот откуда.

И он ткнул себя указательным пальцем в лоб.

— Видишь вон эти картинки, что по стенам висят?

— Вижу,— ответил Василий Петрович,— что же дальше?

— Знаешь ли, что это?

— Нет, не знаю.

Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Синяя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами.

— Что это такое? Чертежи?

— Чертежи-то чертежи, но чего?

— Право, друг мой, не знаю.

— Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол. Знаешь, что такое мол?

— Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол — это такая... как бы сказать... ну, плотина, что ли...

— Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?

— Как же, конечно! Необыкновенная картина! Но построек я не заметил.

— Мудрено и заметить,— сказал Кудряшов со сме-

хом.— Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.

— Где же это?

— Да вот у меня и у прочих строителей: у Кноблоха, Пуйциковского и у прочих. Это — между нами, конечно: тебе я говорю это как товарищу. Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное.

— Послушай, это, наконец, ужасно! Неужели ты говоришь правду! Неужели ты не брезгуешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты так спокойно говоришь об этом...

— Стой, стой, Василий Петрович! Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь: «нечестные средства»? Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не помнил; да сдается мне, и ты, собственно говоря, не помнишь, а так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще ты это оставь; прежде всего это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь — нечестно; говори, пожалуй, но не брани меня: ведь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения, а так как их много, точек этих, то плюнем мы не это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.

— Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя.

— Это ты можешь; можешь душою болеть, сколько тебе угодно. Пусть будет больно; пройдет! Приглядишься, присмотришься, сам скажешь: «какая я, однако, телятина»; так и скажешь, помяни мое слово. Пойдем-ка выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах, на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?

— Тебе все равно.

— Ну, например?

— Ну, тысячи три заработаю с частными уроками.

— Вот видишь: за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокам! А я сижу себе да посматриваю: хочу — делаю, хочу — нет; если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег... денег столько, что они — «вещь для нас пустая».

В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбиф возвышался розовой горой. Банки

с консервами пестрели разноцветными английскими надписями и яркими рисунками. Целый ряд бутылок воздвигался на столе. Приятели выпили по рюмке водки и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с расстановкою; он совершенно углубился в свое занятие.

Василий Петрович ел и думал, думал и ел. Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть.

По принятым им убеждениям он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. «Ведь этот кусок — краденый,— думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино.— А сам что я делаю, как не подлость?» Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: «Ну так что ж?» И Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса, и продолжал сидеть. «Ну что ж, буду наблюдать»,— мелькнуло у него в голове в виде оправдания, после чего он и сам перед собой сконфузился. «Для чего мне наблюдать, писатель я, что ли?»

— Этакого мяса,— начал Кудряшов,— ты обрати внимание, не достанешь в целом городе.

И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кноблоха, как его поразил своим достоинством поданный ростбиф, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал.

— Ты попал как раз кстати,— сказал он в заключение рассказа о мясе.— Едал ли ты что-нибудь подобное?

— Действительно, ростбиф отличный,— ответил Василий Петрович.

— Превосходный, братец. Я люблю, чтобы все было как следует. Да что ты не пьешь? Постой, вот я тебе налью вина.

Последовала не менее длинная история о вине, в которой участвовал и английский шкипер, и торговый дом в Лондоне, и тот же Кноблох, и таможня. Рассказывая о вине, Кудряшов попивал его и, по мере того как пил, оживлялся. На щеках его вялого лица обозначались румяные пятна, речь становилась быстрее и оживленнее.

— Да что ж ты молчишь? — наконец спросил он Василия Петровича, который действительно упорно молчал, выслушивая эпопеи о мясе, вине, сыре и прочих благодатях, украшавших собою стол инженера.

— Так, брат, не говорится что-то.

— Не говорится... вот вздор! Ты, я вижу, все еще киснешь по поводу моего признания. Жалею, очень жалею, что сказал; с большим бы удовольствием поужинали, если б не этот проклятый мол... Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович, брось... А? Васенька, плюнь, право! Что ж делать, братец, не оправдал я надежд. Жизнь — не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе.

— Пожалуйста, не делай обо мне предположений,— сказал Василий Петрович.

— Обиделся?.. Конечно, не удержишься. Что дало тебе твое бескорыстие? Разве ты теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с твоими идеалами, и не убеждаешься ли каждый день в том, что не согласны? Ведь правда, а? Выпей вина, хорошее вино.

Он налил и себе рюмку, посмотрел на свет, попробовал, щелкнул губами и выпил.

— Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове теперь мысль сидит? Доподлинно знаю. «Зачем, думаешь ты, я у этого человека сижу? Очень он мне нужен! Разве не могу я обойтись без его вина и сигар?» Постой, постой, дай договорить! Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за вина и сигар. Вовсе нет; если бы ты и очень захотел их, так не стал бы лизоблюдничать. Лизоблюдство — вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что в твоей голове расположены под разными рубриками убеждения, и, подогнанный под них, я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем, а между тем вражды ко мне ты никакой чувствовать не можешь. Убеждения убеждениями, а я сам по себе товарищ, добрый малый и даже, можно сказать, добрый человек. Ведь ты знаешь, что я не способен никого обидеть...

— Постой, Кудряшов. Откуда у тебя все это? — Василий Петрович обвел рукой.— Сам говоришь, чужое: ну, тот и обижен, у кого похищено.

— Легко сказать: у кого похищено. Я вот думаю, думаю, кого я обидел,— и все не могу понять кого. Ты не знаешь, как это дело делается; я расскажу тебе, и ты, мо-

жет быть, согласишься со мною, что найти обиженного не так-то легко.

Кудряшов позвонил. Явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке.

— Иван Павлыч, принеси мне из кабинета чертеж. Между окнами висит. Ты посмотри, Василий Петрович, дело-то какое грандиозное: право, я даже поэзию в нем нынче находить стал.

Иван Павлыч бережно принес огромный лист, наклеенный на коленкор. Кудряшов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и рюмки и разложил чертеж на забрызганной красным вином скатерти.

— Посмотри сюда,— сказал он.— Вот тебе поперечный разрез нашего мола, вот его продольный разрез. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку со дна нельзя; поэтому мы приготовляем для мола прежде всего постель.

— Постель? — спросил Василий Петрович.— Странное название.

— Постель каменную, из огромных булыжников, не меньше одного кубического фута объемом.— Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию.— Смотри, Василий Петрович, это — сажень. Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого пятьдесят сажен ширины. Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь иметь некоторое представление о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз, а смеряешь — приращение самое ничтожное. Точно в бездну валят камень... Постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Ее подвигают вперед, а от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Каждый такой кусок величиною в кубическую сажень и весит многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Когда такая масса повинуется тебе, чувствуешь мо-

гущество человека... Видишь, вот они, эти кубики.— Он показал циркулем.— Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесаного камня. Так вот какое это дело; оно не уступит любой египетской пирамиде. Вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет, а сколько времени еще протянется — бог знает. Желательно бы, чтобы подольше... Впрочем, если она будет идти так, как последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит.

— Ну, что ж дальше? — спросил Василий Петрович после долгого молчания.

— Дальше? Ну а мы сидим на своих местах и получаем сколько следует.

— Я еще не вижу из твоего рассказа возможности получать.

— Молод ты, вот что! Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники; только опыт, которого тебе не хватает, умудрил и состарил меня. Дело вот в чем: тебе известно, что во всяком море бывают бури? Они-то и действуют. Они размывают каждый год постель, а мы кладем новую.

— Все ж я не вижу возможности...

— Кладем мы ее,— спокойно продолжал Кудряшов,— на бумаге, вот здесь, на чертеже, потому что только на чертеже буря ее и размывает.

Василий Петрович весь превратился в недоумение.

— Потому что не могут же на самом деле размыть постель волны, достигающие только восьми футов высоты. Наше море не океан, да и там такие молы, как наш, выдерживают; а у нас на двух с лишним саженях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела делаются. Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос: сколько в этом году размыло постели? Берем чертежи и отмечаем. Ну и пишем куда следует: размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубических сажен начатых работ. Оттуда отвечают: стройте, чините, черт с вами! Ну, мы и чиним.

— Да что ж вы чините-то?

— Да карманы себе чиним,— сострил Кудряшов и сам рассмеялся своей остроте.

— Нет, это невозможно! невозможно! — закричал Василий Петрович, вскакивая со стула и бегая по комнате.— Слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя... Не говоря о безнравственности... Я просто хочу сказать, что вас всех

поймают на этом, и ты погибнешь, по Владимирке пойдешь. Боже, боже, вот они надежды, упования! Способный и честный юноша — и вдруг...

Василий Петрович вошел в экстаз и говорил долго и горячо. Но Кудряшов совершенно спокойно курил сигару и посматривал на расходившегося друга.

— Да, ты, наверно, пойдешь по Владимирке! — закончил Василий Петрович свою филиппику.

— До Владимирки, друг мой, очень далеко. Чудной ты человек, я посмотрю: ничего-то ты не понимаешь. Разве я один... как бы это повежливее сказать... приобретаю? Все вокруг, самый воздух и тот, кажется, тащит. Недавно явился к нам один новенький и стал было по части честности корреспонденции писать. Что ж? Прикрыли... И всегда прикроем. Все за одного, один за всех. Ты думаешь, что человек сам себе враг? Кто ж решится меня тронуть, когда через это сам может пошатнуться?

— Стало быть, как сказал Крылов, рыльце-то у всех в пушку?

— В пушку, в пушку. Все берут с жизни, что могут, а не относятся к ней платонически... О чем бишь мы начали говорить? Да о том, кого я обижаю. Скажи кого? Низшую братию, что ли? Ну, чем? Ведь я черпаю не прямо из источника, а беру готовое, что уж взято, и если не достанется мне, то, может быть, кому-нибудь и похуже. По крайней мере, я не по-свински живу, есть кое-какие и духовные интересы: выписываю кучу газет, журналов. Кричат о науке, о цивилизации, а к чему бы эта цивилизация прилагалась, если бы не мы, люди со средствами? И кто бы давал науке возможность двигаться вперед, как не люди со средствами? А их нужно откуда-нибудь взять. Так называемыми честными путями...

— Ах, не доканчивай, не говори ты хоть последнего слова, Николай Константиныч!

— Слова? Что ж, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я стал врать, оправдываться? Воруем, слышишь ли ты? Да если правду-то говорить, то и ты теперь воруешь.

— Послушай, Кудряшов...

— Нечего мне тебя слушать,— сказал со смехом Кудряшов.— Ты таки, брат, грабитель под личиною добродетели. Ну, что это за занятие твое — учительство? Разве ты уплатишь своим трудом даже те гроши, что тебе теперь платят? Приготовишь ли ты хоть одного порядочно-

го человека? Три четверти из твоих воспитанников выйдут такие же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазнею. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушел от меня? А тоже храбрится, честность проповедует!

— Кудряшов! Поверь, что мне чрезвычайно тяжел этот разговор.

— А мне — нисколько.

— Я не ожидал встретить в тебе то, что встретил.

— Не мудрено; люди изменяются, и я изменился, а в какую сторону — ты угадать не мог: не пророк ведь.

— Не нужно быть пророком, чтобы надеяться, что честный юноша сделается честным гражданином.

— Ах, оставь, не говори ты мне этого слова. Честный гражданин! И откуда, из какого учебника ты эту архивность вытащил? Пора бы перестать сентиментальничать: не мальчик ведь... Знаешь что, Вася,— при этом Кудряшов взял Василия Петровича за руку,— будь другом, бросим этот проклятый вопрос. Лучше выпьем по-товарищески. Иван Павлыч! Дай, брат, бутылочку вот этого.

Иван Павлыч немедленно явился с новой бутылкой. Кудряшов налил стаканы.

— Ну, выпьем за процветание... чего бы это? Ну, все равно: за наше с тобой процветание.

— Пью,— сказал Василий Петрович с чувством,— за то, чтобы ты опомнился. Это мое сильнейшее желание.

— Будь друг, не поминай... Ведь если опомниться, так уж пить будет нельзя: тогда зубы на полку. Видишь, какая у тебя логика. Будем пить просто, без всяких пожеланий. Бросим эту скучную канитель; все равно ни до чего не договоримся: ты меня на путь истинный не наставишь, да и я тебя не переспорю. Да и не стоит переспаривать: собственным умом до моей философии дойдешь.

— Никогда! — с жаром воскликнул Василий Петрович, стукнув стаканом об стол.

— Ну, это посмотрим. Да что это все я про себя рассказываю, а ты о себе молчишь? Что ты делал, что думаешь делать?

— Я говорил уже тебе, что назначен учителем.

— Это твое первое место?

— Да, первое; я занимался раньше частными уроками.

— И теперь думаешь заниматься ими?

— Если найду, отчего же.

— Доставим, брат, доставим! — Кудряшов хлопнул Василия Петровича по плечу.— Все здешнее юношество тебе в науку отдадим. Почем ты брал за час в Петербурге?

— Мало. Очень трудно было доставать хорошие уроки. Рубль-два, не больше.

— И за такие гроши человек терзается! Ну, здесь меньше пяти и не смей спрашивать. Это работа трудная: я сам помню, как на первом и на втором курсе по урочишкам бегал. Бывало, добудешь по полтиннику за час — и рад. Самая неблагодарная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всеми нашими; тут есть премилые семейства, и с барышнями. Будешь умно себя вести — сосватаю, если хочешь. А, Василий Петрович?

— Нет, благодарю, я не нуждаюсь.

— Сосватан уже? Правда?

Василий Петрович выразил своим видом смущение.

— По глазам вижу, что правда. Ну, брат, поздравляю. Вот как скоро! Ай да Вася! Иван Павлыч! — закричал Кудряшов.

Иван Павлыч с заспанным и сердитым лицом появился в дверях.

— Дай шампанского!

— Шампанского нету, все вышло,— мрачно отвечал лакей.

— Будет, Кудряшов, зачем же это, право!

— Молчи; я тебя не спрашиваю. Обидеть меня хочешь, что ли? Иван Павлыч, без шампанского не приходить, слышишь? Ступай!

— Да ведь заперто, Николай Константиныч.

— Не разговаривай. Деньги у тебя есть: ступай и принеси.

Лакей ушел, ворча что-то себе под нос.

— Вот скотина, еще разговаривает! А ты еще: «не нужно». Если по такому случаю не пить, то для чего и существует шампанское?.. Ну, кто такая?

— Кто?

— Ну, она, невеста... Бедна, богата, хороша?

— Ты все равно ее не знаешь, так зачем называть ее тебе? Состояния у нее нет, а красота — вещь условная. По-моему, красива.

— Карточка есть? — спросил Кудряшов.— Поди, при сердце носишь? Покажи!

И он протянул руку.

Красное от вина лицо Василия Петровича еще более покраснело. Не зная зачем, он расстегнул сюртюк, вынул свою книжку и достал драгоценную карточку. Кудряшов схватил ее и начал рассматривать.

— Ничего, брат! Ты знаешь, где раки зимуют.

— Нельзя ли без таких выражений! — резко сказал Василий Петрович.— Дай ее мне, я спрячу.

— Погоди, дай насладиться. Ну, дай вам бог совет да любовь. На, возьми, положи опять на сердце. Ах ты, чудак, чудак! — воскликнул Кудряшов и расхохотался.

— Не понимаю, что ты нашел тут смешного?

— А так, братец, смешно стало. Представился мне ты через десять лет; сам в халате, подурневшая беременная жена, семь человек детей и очень мало денег для покупки им башмаков, штанишек, шапочек и всего прочего. Вообще проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку в боковом кармане? Ха-ха-ха!

— Ты скажи лучше, какая поэзия ждет в будущем тебя? Получать деньги и проживать их: есть, пить да спать?

— Не есть, пить и спать, а жить. Жить с сознанием своей свободы и некоторого даже могущества.

— Могущества! Какое у тебя могущество?

— Сила в деньгах, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю... Захочу тебя купить — и куплю.

— Кудряшов!..

— Не хорохорься попусту. Неужели нам с тобою, старым друзьям, нельзя и пошутить друг над другом? Конечно, тебя покупать не стану. Живи себе по-своему. А все-таки что хочу, то и сделаю. Ах я, дурень, дурень! — вдруг вскрикнул Кудряшов, хлопнув себя по лбу,— сидим столько времени, а я тебе главной достопримечательности-то и не показал. Ты говоришь: есть, пить и спать? Я тебе сейчас такую штуку покажу, что ты откажешься от своих слов. Пойдем. Возьми свечу.

— Куда это? — спросил Василий Петрович.

— За мной. Увидишь куда.

Василий Петрович, встав со стула, чувствовал себя не в полном порядке. Ноги не совсем повиновались ему, и он не мог держать подсвечник так, чтобы стеарин не капал на ковер. Однако, несколько справившись с непослушными членами, он пошел за Кудряшовым. Они прошли несколько комнат, узенький коридор и очутились в каком-то сыром и темном помещении. Шаги глухо стучали по ка-

менному полу. Шум падающей где-то струи воды звучал бесконечным аккордом. С потолка висели сталактиты из туфа и синеватого литого стекла; целые искусственные скалы возвышались здесь и там. Масса тропической зелени прикрывала их, а в некоторых местах блестели темные зеркала.

— Что это такое? — спросил Василий Петрович.

— Акварий, которому я посвятил два года времени и много денег. Подожди, я сейчас освещу его.

Кудряшов скрылся за зелень, а Василий Петрович подошел к одному из зеркальных стекол и начал рассматривать, что было за ним. Слабый свет одной свечки не мог проникнуть далеко в воду, но рыбы, большие и маленькие, привлеченные светлой точкой, собрались в освещенном месте и глупо смотрели на Василия Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднелись темные очертания водорослей. Какая-то гадина шевелилась в них; Василий Петрович не мог рассмотреть ее формы.

Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза, и когда он открыл их, то не узнал аквария. Кудряшов в двух местах зажег электрические фонари: свет их проходил сквозь массу голубоватой воды, кишащую рыбами и другими животными, наполненную растениями, резко выделявшимися на неопределенном фоне своими кроваво-красными, бурыми и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропические растения, от контраста сделавшиеся еще темнее, красиво обрамляли толстые зеркальные стекла, сквозь которые открывался вид на внутренность аквария. В нем все закопошилось, заметалось, испуганное ослепительным светом: целая стая маленьких большеголовых бычков носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по команде; стерляди извивались, прильнув мордой к стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотели пройти через прозрачную твердую преграду; черный гладкий угорь зарывался в песок аквария и поднимал целое облако мути; смешная кургузая каракатица отцепилась от скалы, на которой сидела, и переплывала акварий толчками, задом наперед, волоча за собой свои длинные щупала. Все вместе было так красиво и ново для Василия Петровича, что он совершенно забылся.

— Каково, Василий Петрович? — спросил Кудряшов, выйдя к нему.

— Чудесно, брат, удивительно! Как это ты все устроил! Сколько вкуса, эффекта!

— Прибавь еще: и знания. Нарочно в Берлин ездил посмотреть тамошнее чудо и, не хвастая, скажу, что мой хотя и уступает, конечно, в величине, но насчет изящества и интересности — нисколько... Это моя гордость и утешение. Как скучно станет — придешь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не так, как наш брат — человек. Жрет друг друга и не конфузится. Вон смотри, смотри: видишь, нагоняет.

Маленькая рыбка порывисто металась вверх, и вниз, и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, как вдруг другая, подскочив сбоку, перехватила добычу: рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остановилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол.

— Перехватили! — сказал Кудряшов.— Дура, осталась ни при чем. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок!.. Сколько, если бы ты знал, они пожирают этой мелкой рыбицы: сегодня напустишь целую тучу, а на другой день все уже съедено. Съедят — и не помышляют о безнравственности, а мы? Я только недавно отвык от этой ерунды. Василий Петрович! Неужели ты наконец не согласишься, что это ерунда?

— Что такое? — спросил Василий Петрович, не отрывая глаз от воды.

— Да вот эти угрызения. На что они? Угрызайся, не угрызайся — а если попадется кусок... Ну, я и упразднил их, угрызения эти, и стараюсь подражать этой скотине.

Он показал пальцем на аквариий.

— Вольному воля,— сказал со вздохом Василий Петрович.— Послушай, Кудряшов, ведь это, кажется, морские растения и животные?

— Морские. И вода ведь у меня морская. Нарочно водопровод устроил.

— Неужели из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег.

— Не маленьких. Акварий мой стоит около тридцати тысяч.

— Тридцать тысяч! — воскликнул в ужасе Василий

Петрович.— При тысяче шестистах рублях жалованья!

— Да брось ты это ужасанье! Если насмотрелся — пойдем. Должно быть, Иван Павлыч принес требуемое... Подожди только, я разомкну ток.

Акварий вновь погрузился в мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показалась Василию Петровичу тусклым, коптящим огоньком.

Когда они вышли в столовую, Иван Павлыч держал уже наготове завернутую в салфетку бутылку.

1879

Художники

I

Дедов

Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно! Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы!

Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию, и теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячее желание. Это было вчера... Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу! А когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто разинул рот.

— Из любви к искусству?.. Мм!.. Подавайте прошение.

И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен, я художник! Не верх ли это счастья?

Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга; я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей и лайб — все показалось мне в новом свете. Все это мое, все это в моей власти, все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленною силою искусства толпою.

Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя; ведь пока я — еще не бог знает какой великий художник...

Ялик быстро разрезал гладь воды. Яличник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без устали работал веслами; он то нагибался вперед, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстиками, красками и кистями всегда при мне.

— Перестань грести, посиди минутку смирно, я тебя напишу,— сказал я.

Он бросил весла.

— Ты сядь так, будто весла заносишь.

Он взялся за весла, взмахнул ими, как птица крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то особенным, радостным чувством я мешал краски. Я знал, что ничто не оторвет меня от них уже всю жизнь.

Яличник скоро начал уставать; его удалое выражение лица сменилось вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головою к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада! Терпеть не могу, когда натура шевелится.

— Сиди, братец, смирнее!

Он усмехнулся.

— Чего ты смеешься?

Он конфузливо ухмыльнулся и сказал:

— Да чудно, барин!

— Чего ж тебе чудно?

— Да будто я редкостный какой, что меня писать. Будто картину какую.

— Картина и будет, друг любезный.

— На что ж она вам?

— Для ученья. Вот попишу, попишу маленькие, буду и большие писать.

— Большие?

— Хоть в три сажени.

Он замолчал и потом серьезно спросил:

— Что ж, вы поэтому и образа можете?

— Могу и образа; только я пишу картины.

— Так.

Он задумался и снова спросил:

— На что ж они?

— Что такое?

— Картины эти...

Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги, рублей по тысяче, по две и больше. Яличник был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Этюд вышел прекрасный (очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача), и я возвратился домой совершенно счастливым.

II

Рябинин

Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить «рука на галава», потому что это «ошен классишеский поза»; вокруг меня — целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех Дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тараса. В классе запах красок, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых; он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из «натуры» превращается в обыкновенного голого старика, разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа; я — очень способный ученик академии и подаю огромные надежды сделаться одним из «наших корифеев», по счастливому выражению известного художественного критика г. В. С., который уже давно сказал, что «из Рябинина выйдет толк». Вот отчего все смотрят на мою работу.

Через пять минут все снова усаживаются на места, Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем...

И так каждый день.

Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что все это очень скучно. Но как локомотиву с открытою паропроводною трубою предстоит одно из двух: катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или,

соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груду обломков, так и мне... Я на рельсах; они плотно обхватывают мои колеса, и если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное — спора нет, но что это деятельность...

Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов. Люди ходят и удивляются: как это они, краски, так хитро расположены! И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете; многие из них я читал. Но из Тэнов, Карьеров, Куглеров и всех, писавших об искусстве, до Прудона включительно, не явствует ничего. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль: если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека; зачем же мне верить, что оно есть?

Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно, но *как* поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо еще, если только любопытству, а не чему-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например) и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: «мм... ничего себе», сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь одинокий среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это, куда идешь?

Вот уже четыре месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня еще нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо было бы... Несколько времени полного забвения:

ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачем? во время работы исчезают; в голове одна мысль, одна цель, и приведение ее в исполнение доставляет наслаждение. Картина — мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность: ты создаешь себе новую в своем новом мире и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по-своему, независимо от жизни.

Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос «зачем?», не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне.

— Что вы не работаете, Рябинин? — громко спросил меня сосед.

Я так задумался, что вздрогнул, когда услыхал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась; пола сюртука попала в краски и вся вымазалась; кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд; он был кончен, и хорошо кончен: Тарас стоял на полотне как живой.

— Я кончил,— ответил я соседу.

Кончился и класс. Натурщик сошел с ящика и одевался; все, шумя, собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне, похвалили.

— Медаль, медаль... Лучший этюд,— говорили некоторые. Другие молчали: художники не любят хвалить друг друга.

III

Дедов

Кажется мне, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияния мой, сравнительно с ними, солидный возраст: во всей академии один только Вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой! Этот Вольский — отставной офицер, господин лет сорока пяти, с совершенно седою головой; поступить в таких летах в академию, снова начать учиться — разве

это не подвиг? Но он упорно работает: летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением; зимою, когда светло,— постояно пишет, а вечером рисует. В два года он сделал большие успехи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большим талантом.

Вот Рябинин — другое дело: чертовски талантливая натура, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники — его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам: пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы не довольно насмотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает. Иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой все кричат, как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего (по-моему, техника у него очень и очень слаба); а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной, хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Странный юноша! Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчество.

Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина наверно продастся; сюжет — из ходких и симпатичный: зима, закат; черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет К., и как они идут у него! В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Недурно! Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у К. ни один холстик даром не пропадает: все продается. Нужно только прямее относиться к делу: пока ты пишешь картину — ты художник, творец; написана она — ты торгаш; и чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата.

IV

Рябинин

Я живу в пятнадцатой линии на Среднем проспекте и четыре раза в день прохожу по набережной, где пристают

иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих воро́та и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека.

Я шел домой с Дедовым, пейзажистом... Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений; пишет, что видит: увидит реку — и пишет реку, увидит болото с осокою — и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото, он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек; по крайней мере, кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет: летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без устали компонует закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс: частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег.

— Посмотрите, какой котлище притащили,— сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел.

— Неужели у нас не умеют их делать? — спросил я.

— Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здесь чинить: видите, шов расходится? Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку.

Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла.

— Дедов, ведь это все равно что по груди бить!

— Все равно. Я раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался. Совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они как мухи: год-два вынесет, а потом если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерз-

нет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле — видите, красный, узкий — так и сидеть нельзя: лежи на боку да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям.

— Глухарям?

— Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо... Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Рабинин, если бы вы знали! Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания... То ли дело с природою. Она не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники... Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон! — вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба.— Пониже, вон там, под облачком... прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так — не поверят! А ведь недурно, а?

Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом клочке петербургского неба, и перебил Дедова, начавшего восхищаться еще каким-то «тонко́м» около другого облачка.

— Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря?

— Поедемте вместе на завод; я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра! Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра.

Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса; в эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу.

V

Дедов

Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод; мы провели там целый день, осмотрели все, причем я объяснял ему всякие производства (к удивлению моему, я забыл очень немногое из своей профессии); наконец я привел его в котельное отделение. Там в это

время работали над огромнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный; всю дорогу назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего-глухаря. Что за идея! Что за поэзия в грязи! Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех: по-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве — чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские «Бурлаки»? Написаны они прекрасно, нет спора; но ведь и только. Где здесь красота, гармония, изящное? А не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство?

То ли дело у меня! Еще несколько дней работы, и будет кончено мое тихое «Майское утро». Чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на него свои ветви; восток загорается; мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и все; кажется, просто, а между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышло пропасть. Вот это — искусство! Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А рябининский «Глухарь» ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дело! Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо, неприятные созвучия; отчего ж у нас, в живописи, можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л., он напишет статейку и кстати прокатит Рябинина за его картину. И стоит.

VI

Рябинин

Уже две недели, как я перестал ходить в академию: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно. Следовало бы сказать не *хотя*, а *тем более*, чем идет успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. И кажется мне еще, что это — моя последняя картина.

Вот он сидит передо мной в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклоченной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых, надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил.

Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. Это — не написанная картина, это — созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями, вся эта «богатая область жанра» — на что мне теперь она? Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем, если только подействую...

Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему картину. Он сказал только: «ну, батенька», и развел руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушел. Кажется, подействовало... Но ведь он все-таки — художник.

И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота... Я от него сойду с ума. Нужно его завесить.

Полотно покрыло мольберт с картиной, а я все сижу перед ним, думая все о том же неопределенном и страшном, что так мучит меня. Солнце заходит и бросает косую желтую полосу света сквозь пыльные стекла на мольберт, завешенный холстом. Точно человеческая фигура. Точно Дух Земли в «Фаусте», как его изображают немецкие актеры.

...Wer ruft mich? [1]

---

[1] Кто зовет меня? (*нем.*).

Кто позвал тебя? Я, я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь «сферы», а из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: я — язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...

Да, как бы не так!.. Картина кончена, вставлена в золотую раму, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди «полдней» и «закатов», рядом с «девочкой с кошкой», недалеко от какого-нибудь трехсаженного «Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова». Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели; будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Один г. В. С. выше заимствований; он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного глухаря, будет кричать: но где же тут изящное, скажите, где тут изящное? И разругает меня на все корки. Публика... Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой; дамы — те только скажут: «ah, comme il est laid, ce глухарь» [1] — и проплывут к следующей картине, к «девочке с кошкой», смотря на которую скажут: «очень, очень мило» или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопенье и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них...

Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что ж будет со мною? То, что я пережил в последние дни, погибнет ли бесследно? Кончится ли все только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов?.. Невинные сюжеты! Вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог, кричал писцу:

— Мартынов, пиши! № 112. Первая любовная сцена: девушка срывает розу.

---

[1] Ах как он уродлив, этот... (*фр.*).

— Мартынов, еще пиши! № 113. Вторая любовная сцена: девушка нюхает розу.

Буду ли я по-прежнему нюхать розу? Или сойду с рельсов?

VII

Дедов

Рябинин почти кончил своего «Глухаря» и сегодня позвал меня посмотреть. Я шел к нему с предвзятым мнением и, нужно сказать, должен был изменить его. Очень сильное впечатление. Рисунок прекрасный. Лепка рельефная. Лучше всего это фантастическое и в то же время высоко истинное освещение. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. Л. совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Рябинин. Л — у, конечно, будет трудно разобрать его картину со стороны техники, но он сумеет коснуться ее значения как произведения *искусства*, которое не терпит, чтобы его низводили до служения каким-то низким и туманным идеям.

Сегодня Л. был у меня. Очень хвалил. Сделал несколько замечаний относительно разных мелочей, но в общем очень хвалил. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами! Неужели я не получу наконец того, к чему стремится каждый ученик академии,— золотой медали? Медаль, четыре года жизни за границей, да еще на казенный счет, впереди — профессура... Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря.

VIII

Рябинин

Картина продана и увезена в Москву. Я получил за нее деньги и, по требованию товарищей, должен был устроить им увеселение в «Вене». Не знаю, с каких пор это повелось, но почти все пирушки молодых художников происходят в угольном кабинете этой гостиницы. Кабинет этот — большая высокая комната с люстрой, с брон-

зовыми канделябрами, с коврами и мебелью, почерневшими от времени и табачного дыма, с роялем, много потрудившимся на своем веку под разгулявшимися пальцами импровизированных пианистов; одно только огромное зеркало ново, потому что оно переменяется дважды или трижды в год, всякий раз, как вместо художников в угóльном кабинете кутят купчики.

Собралась целая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента из каких-то маленьких газет, несколько посторонних лиц. Начали пить и разговаривать. Через полчаса все уже говорили разом, потому что все были навеселе. И я тоже. Помню, что меня качали и я говорил речь. Потом целовался с рецензентом и пил с ним брудершафт. Пили, говорили и целовались много и разошлись по домам в четыре часа утра. Кажется, двое расположились на ночлег в том же угóльном номере гостиницы «Вена».

Я едва добрался домой и нераздетый бросился на постель, причем испытал что-то вроде качки на корабле: казалось, что комната качается и кружится вместе с постелью и со мною. Это продолжалось минуты две; потом я уснул.

Уснул, спал и проснулся очень поздно. Голова болит; в тело точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глаз, а когда раскрываю их, то вижу мольберт — пустой, без картины. Он напоминает мне о пережитых днях, и вот все снова, сначала... Ах, боже мой, да надо же это кончить!

Голова болит больше и больше, туман наплывает на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова засыпаю. И я не знаю, мертвая ли тишина вокруг меня или оглушительный шум, хаос звуков, необыкновенный, страшный для уха. Может быть, это и тишина, но в ней что-то звонит и стучит, вертится и летает. Точно огромный тысячесильный насос, выкачивающий воду из бездонной пропасти, качается и шумит, и слышатся глухие раскаты падающей воды и удары машины. И над всем этим одна нота, бесконечная, тянущаяся, томящая. И мне хочется открыть глаза, встать, подойти к окну, раскрыть его, услышать живые звуки, человеческий голос, стук дрожек, собачий лай и избавиться от этого вечного гама. Но сил нет. Я вчера был пьян. И я должен лежать и слушать, слушать без конца.

И я просыпаюсь и снова засыпаю. Снова стучит и гре-

мит и где-то резче, ближе и определеннее. Удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом. Во мне они, в моей голове, или вне меня? Звонко, резко, четко... раз-два, раз-два... Бьет по металлу и еще по чему-то. Я слышу ясно удары по чугуну; чугун гудит и дрожит. Молот сначала тупо звякает, как будто падает в вязкую массу, а потом бьет звонче и звонче, и наконец, как колокол, гудит огромный котел. Потом остановка, потом снова тихо; громче и громче, и опять нестерпимый, оглушительный звон. Да, это так: сначала бьют по вязкому, раскаленному железу, а потом оно застывает. И котел гудит, когда головка заклепки уже затвердела. Понял. Но те, другие звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилает мне мозг. Кажется, что так легко припомнить, так и вертится в голове, мучительно близко вертится, а что именно — не знаю. Никак не схватить... Пусть стучит, оставим это. Я знаю, но только не помню.

И шум увеличивается и уменьшается, то разрастаясь до мучительно чудовищных размеров, то будто бы совсем исчезая. И кажется мне, что не он исчезает, а я сам в это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцем, поднять веки, крикнуть. Оцепенение держит меня, и ужас охватывает меня, и я просыпаюсь весь в жару. Просыпаюсь не совсем, а в какой-то другой сон. Чудится мне, что я опять на заводе, только не на том, где был с Дедовым. Этот гораздо громаднее и мрачнее. Со всех сторон гигантские печи чудной, невиданной формы. Снопами вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные как уголь. Машины качаются и визжат, и я едва прохожу между вертящимися колесами и бегущими и дрожащими ремнями; нигде ни души. Где-то стук и грохот: там-то идет работа. Там неистовый крик и неистовые удары; мне страшно идти туда, но меня подхватывает и несет, и удары все громче, и крики страшнее. И вот все сливается в рев, и я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится на земле от ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут все мои знакомые с остервенелыми лицами колотят молотами, ломами, палками, кулаками это существо, которому я не прибрал названия. Я знаю, что это — все он же... Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть: «перестаньте! за что?» — и вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это — мое собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я

сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар.

Тогда молот опустился на мой череп. Все исчезло; некоторое время я сознавал еще мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то...

Рябинин лежал в совершенном беспамятстве до самого вечера. Наконец хозяйка-чухонка, вспомнив, что жилец сегодня не выходил из комнаты, догадалась войти к нему и, увидев бедного юношу, разметавшегося в сильнейшем жару и бормотавшего всякую чепуху, испугалась, испустила какое-то восклицание на своем непонятном диалекте и послала девочку за доктором. Доктор приехал, посмотрел, пощупал, послушал, помычал, присел к столу и, прописав рецепт, уехал, а Рябинин продолжал бредить и метаться.

IX

Дедов

Бедняга Рябинин заболел после вчерашнего кутежа. Я заходил к нему и застал его лежащим без памяти. Хозяйка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому что в столе у Рябинина не оказалось ни копейки; не знаю, стащила ли все проклятая баба или, может быть, все осталось в «Вене». Правда, кутнули вчера порядочно; было очень весело; мы с Рябининым пили брудершафт. Я пил также с Л. Прекрасная душа этот Л. и как понимает искусство! В своей последней статье он так тонко понял, что я хотел сказать своей картиной, как никто, за что я ему глубоко благодарен. Нужно бы написать маленькую вещицу, так, что-нибудь à la Клевер, и подарить ему. Да, кстати, его зовут Александр; не завтра ли его именины?

Однако бедному Рябинину может прийтись очень плохо; его большая конкурсная картина еще далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболеет с месяц, то не получит медали. Тогда — прощай заграница! Я очень рад одному, что, как пейзажист, не соперничаю с ним, а его товарищи, должно быть, таки потирают руки. И то сказать: одним местом больше.

А Рябинина нельзя бросить на произвол судьбы: нужно свезти его в больницу.

X

Рябинин

Сегодня, очнувшись после многих дней беспамятства, я долго соображал, где я. Сначала даже не мог понять, что этот длинный белый сверток, лежащий перед моими глазами,— мое собственное тело, обернутое одеялом. С большим трудом повернув голову направо и налево, от чего у меня зашумело в ушах, я увидел слабо освещенную длинную палату с двумя рядами постелей, на которых лежали закутанные фигуры больных, какого-то рыцаря в медных доспехах, стоявшего между больших окон с опущенными белыми шторами и оказавшегося просто огромным медным умывальником, образ спасителя в углу с слабо теплившейся лампадкою, две колоссальные кафельные печи. Услышал я тихое, прерывистое дыхание соседа, клокотавшие вздохи больного, лежавшего где-то подальше, еще чье-то мирное сопенье и богатырский храп сторожа, вероятно, приставленного дежурить у постели опасного больного, который, может быть, жив, а может быть, уже и умер и лежит здесь так же, как и мы, живые.

Мы, живые... «Жив»,— подумал я и даже прошептал это слово. И вдруг то необыкновенно хорошее, радостное и мирное, чего я не испытывал с самого детства, нахлынуло на меня вместе с сознанием, что я далек от смерти, что впереди еще целая жизнь, которую я, наверно, сумею повернуть по-своему (о! наверно сумею), и я, хотя с трудом, повернулся на бок, поджал ноги, подложил ладонь под голову и заснул точно так, как в детстве, когда, бывало, проснешься ночью возле спящей матери, когда в окно стучит ветер, и в трубе жалобно воет буря, и бревна дома стреляют, как из пистолета, от лютого мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь и желая разбудить мать, и она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит, и, успокоенный, свертываешься калачиком и засыпаешь с отрадой в маленькой душе.

Боже мой, как я ослабел! Сегодня попробовал встать и пройти от своей кровати к кровати моего соседа напротив, какого-то студента, выздоравливающего от горячки, и едва не свалился на полдороге. Но голова поправляется скорее тела. Когда я очнулся, я почти ничего не помнил,

и приходилось с трудом вспоминать даже имена близких знакомых. Теперь все вернулось, но не как прошлая действительность, а как сон. Теперь он меня не мучает, нет. Старое прошло безвозвратно.

Дедов сегодня притащил мне целый ворох газет, в которых расхваливаются мой «Глухарь» и его «Утро». Один только Л. не похвалил меня. Впрочем, теперь это все равно. Это так далеко, далеко от меня. За Дедова я очень рад; он получил большую золотую медаль и скоро уезжает за границу. Доволен и счастлив невыразимо; лицо сияет, как масленый блин. Он спросил меня: намерен ли я конкурировать в будущем году, после того как теперь мне помешала болезнь? Нужно было видеть, как он вытаращил глаза, когда я сказал ему «нет».

— Серьезно?

— Совершенно серьезно,— ответил я.

— Что же вы будете делать?

— А вот посмотрю.

Он ушел от меня в совершенном недоумении.

XI

Дедов

Эти две недели я прожил в тумане, волнении, нетерпении и успокоился только сейчас, сидя в вагоне Варшавской железной дороги. Я сам себе не верю: я — пенсионер академии, художник, едущий на четыре года за границу совершенствоваться в искусстве. Vivat Academia!

Но Рябинин, Рябинин! Сегодня я виделся с ним на улице, усаживаясь в карету, чтобы ехать на вокзал. «Поздравляю, говорит, и меня тоже поздравьте».

— С чем это?

— Сейчас только выдержал экзамен в учительскую семинарию.

В учительскую семинарию!! Художник, талант! Да он пропадет, погибнет в деревне. Ну, не сумасшедший ли это человек?

. . . .

На этот раз Дедов был прав: Рябинин действительно не преуспел. Но об этом — когда-нибудь после.

1879

Attalea princeps

В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду — огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали все здание; на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собою целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне.

Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания; они помнили свою родину и тосковали о ней. Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веянье, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя буря выбивала стекло и резкая, холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что бо́льшую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее.

Была между растениями одна пальма, выше всех и

красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни Attalea! Но это имя не было ее родным именем: его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма; когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

— А! — сказал он,— я знаю это дерево.— И он назвал его родным именем.

— Извините,— крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвою какой-то стебелек,— вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это — Attalea princeps, родом из Бразилии.

— О да,— сказал бразильянец,— я вполне верю вам, что ботаники называют ее Attalea, но у нее есть и родное, настоящее имя.

— Настоящее имя есть то, которое дается наукой,— сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться.

А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде он не бывал счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе; кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его,— к гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее ей виднелось иногда что-то голубое; то было небо, хоть и чужое и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, Attalea всегда молчала, тосковала и думала только о том,

как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость.— Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляют ваши слова, соседушка,— сказал пузатый кактус.— Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен.

— Мы не привыкли быть чересчур бережливыми,— отвечала саговая пальма.— Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого скажу вам еще, что вас не просят делать замечания.

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала.

— Что касается меня,— вмешалась корица,— то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я по крайней мере уверена, что меня никто не обдерет.

— Но ведь не всех же нас обдирали,— сказал древовидный папоротник.— Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле.

Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались.

— Зачем вы ссоритесь? — сказала Attalea.— Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня: растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла, наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут, но что сделают с сотней сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее — и победа за нами.

Сначала никто не возражал пальме: все молчали и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась.

— Все это глупости,— заявила она.

— Глупости! Глупости! — заговорили деревья, и все разом начали доказывать Attale'e, что она предлагает

ужасный вздор.— Несбыточная мечта! — кричали они,— вздор, нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их, да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет что отрежут от нас целые куски...

— Ну, как хотите! — отвечала Attalea.— Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое: живите как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла,— и я увижу!

И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей, только саговая пальма тихо сказала соседке цикаде:

— Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Attale'ю за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи: рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвила собою подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для нее была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево!» — так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. «Зачем я не большое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Attalea права».

Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола Attale'и и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке.

— Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране, но

все-таки и у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами, но и у нас растут очень хорошие деревья: сосны, ели и березы. Я — маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны! Ваш ствол тверд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на божий свет. Тогда вы расскажете мне, все ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим.

— Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол тверд и крепок; опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя.

— Нет уж, куда мне! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга!

Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, а она становилась с каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело.

— Да-с, взгляните-ка на Attalea princeps,— говорил он.— Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили все наше знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха.

При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор!

«Он воображает, что я расту для его удовольствия,— думала Attalea.— Пусть воображает!»

И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились все ближе и ближе, и наконец молодой лист коснулся холодного стекла и железа.

— Смотрите, смотрите,— заговорили растения,— куда она забралась! Неужели решится?

— Как она страшно выросла,— сказал древовидный папоротник.

— Что ж, что выросла! Эка невидаль! Вот если б она сумела растолстеть так, как я,— сказала толстая цикада со стволом, похожим на бочку.— И чего тянется? Все равно ничего не сделает. Решетки прочны, и стекла толсты.

Прошел еще месяц. Attalea подымалась. Наконец она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их, но дерево было упрямо, не жалело листьев, несмотря ни на что, давило на решетки, и решетки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа.

Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения.

— Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить? — спросила она пальму.

— Больно? Что значит больно, когда я *хочу* выйти на свободу. Не ты ли сама ободряла меня? — ответила пальма.

— Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так страдаете.

— Молчи, слабое растенье! Не жалей меня! Я умру или освобожусь!

И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи.

— Что это такое? — вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.

«Только-то? — думала она.— И это все, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?»

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже

оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темнозеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. «Замерзнешь! — как будто говорили они ей.— Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

И Attalea поняла, что для нее все было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновенье снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там, внизу, в теплице, не решат, что делать с нею.

Директор приказал спилить дерево. «Можно бы надстроить над нею особенный колпак,— сказал он,— но надолго ли это? Она опять вырастет и все сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее».

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко, у самого корня, перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться с своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись размозженные пилою, истерзанные стебельки и листья.

— Вырвать эту дрянь и выбросить,— сказал директор.— Она уже пожелтела, да и пила очень попортила ее. Посадить здесь что-нибудь новое.

Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом.

1879

Ночь

I

Карманные часы, лежавшие на письменном столе, торопливо и однообразно пели две нотки. Разницу между этими нотами трудно уловить даже тонким ухом, а их хозяину, бледному господину, сидевшему перед этим столом, постукиванье часов казалось целою песнею.

— Эта песня безотрадна и уныла,— говорил сам с собой бледный человек,— само время напевает ее, и как будто бы в назидание мне напевает так удивительно однообразно. Три, четыре, десять лет тому назад часы стучали точно так же, как и теперь, и через десять лет будут стучать точно так же... совершенно так же!

И бледный человек бросил на них мутный взгляд и сейчас же отвел глаза туда, куда, ничего не видя, смотрел раньше.

— Под такт их хода прошла вся жизнь с своим кажущимся разнообразием: с горем и радостью, с отчаяньем и восторгом, с ненавистью и любовью. И только теперь, в эту ночь, когда все спит в огромном городе и в огромном доме и когда нет никаких звуков, кроме биения сердца да постукивания часов, только теперь вижу я, что все эти огорчения, радости, восторги и все случившееся в жизни — все это бестелесные призраки. Одни — за которыми я гонялся, не зная зачем; другие — от которых бегал, не зная почему. Я не знал тогда, что в жизни есть только одно действительно существующее — время. Время, идущее беспощадно ровно, не останавливаясь там, где хотел бы остановиться подольше несчастный, живущий минутою человек, и не прибавляющее шага ни на йоту даже тогда, когда действительность так тяжела, что хотелось бы сделать ее прошедшим сном; время, знающее только одну песню, ту, которую я слышу теперь так мучительно отчетливо.

Он думал это, а часы все стучали и стучали, назойливо повторяя вечную песенку времени. Многое напоминала ему эта песня.

— Право, странно. Я знаю, бывает, что какой-нибудь особенный запах, или предмет необыкновенной формы, или резкий мотив вызывают в памяти целую картину из давно пережитого. Я помню: умирал при мне человек; шарманщик-итальянец остановился перед раскрытым окном, и в ту самую минуту, когда больной уже сказал свои последние бессвязные слова и, закинув голову, хрипел в агонии, раздался пошлый мотив из «Марты»:

У девиц
Есть для птиц
Стрелы каленые...

И с тех пор всякий раз, когда мне случается услышать этот мотив,— а я до сих пор слышу его иногда: пошлости долго не умирают,— перед моими глазами тотчас же яв-

ляется измятая подушка и на ней бледное лицо. Когда же я вижу похороны, маленькая шарманка тотчас начинает наигрывать мне на ухо:

У девиц есть для птиц...

Фу, гадость какая!.. Да, о чем бишь я начал думать? Вот, вот: отчего часы, к звуку которых, кажется, давно бы пора было привыкнуть, напоминают мне так много? Всю жизнь. «Помни, помни, помни...» Помню! Даже слишком хорошо помню, даже то, что лучше бы не вспоминать. От этих воспоминаний искажается лицо, кулак сжимается и бешено бьет по столу... Вот теперь удар заглушил песню часов, и одно мгновенье я не слышу ее, но только одно мгновенье, после которого снова раздается дерзко, назойливо и упрямо: «Помни, помни, помни...»

— О да, я помню. Мне не нужно напоминать. Вся жизнь — вот она, как на ладони. Есть чем полюбоваться!

Он крикнул это вслух надорванным голосом; ему сжимало горло. Он думал, что видел всю свою жизнь; он вспомнил ряд безобразных и мрачных картин, действующим лицом которых был сам; вспомнил всю грязь своей жизни, перевернул всю грязь своей души, не нашел в ней ни одной чистой и светлой частицы и был уверен, что, кроме грязи, в его душе ничего не осталось.

— Не только не осталось, но никогда ничего и не было,— поправился он.

Слабый, робкий голос откуда-то из далекого уголка его души сказал ему:

— Полно, не было ли?

Он не расслышал этого голоса — или по крайней мере сделал перед самим собою вид, что не расслышал его, и продолжал терзать себя.

— Все перебрал я в своей памяти, и кажется мне, что я прав, что остановиться не на чем, некуда поставить ногу, чтобы сделать первый шаг вперед. Куда вперед? Не знаю, но только вон из этого заколдованного круга. В прошлом нет опоры, потому что все ложь, все обман. И лгал и обманывал я сам и самого себя, не оглядываясь. Так обманывает других мошенник, притворяющийся богачом, рассказывающий о своих богатствах, которые где-то «там», «не получены», но которые есть, и занимающий деньги направо и налево. Я всю жизнь должал самому себе. Теперь настал срок расчета — и я банкрот, злостный, заведомый...

Он передумывал эти слова даже с каким-то странным наслаждением. Он как будто бы гордился ими. Он не замечал, что, называя всю свою жизнь обманом и смешивая себя с грязью, он и теперь лгал тою же, худшею в мире ложью, ложью самому себе. Потому что на самом деле он совсем не ценил себя так низко. Пусть кто-нибудь сказал бы ему даже десятую часть того, что он сам наговорил на себя в этот долгий вечер,— и на его лице выступила бы краска не стыда от сознания правды упрека, а гнева. И он сумел бы ответить обидчику, задевшему его гордость, которую теперь он сам, по-видимому, так безжалостно топтал.

Сам ли он? Он дошел до такого состояния, что уже не мог сказать о себе: я сам. В его душе говорили какие-то голоса: говорили они разное, и какой из этих голосов принадлежал именно ему, его «я», он не мог понять. Первый голос его души, самый ясный, бичевал его определенными, даже красивыми фразами. Второй голос, неясный, но привязчивый и настойчивый, иногда заглушал первый. «Не казнись,— говорил он,— зачем? Лучше обманывай до конца, обмани всех. Сделай из себя для других не то, что ты есть, и будет тебе хорошо». Был еще третий голос, тот самый, что спрашивал: «полно, не было ли?», но этот голос говорил робко и едва слышно. Да он и не старался расслышать его.

— Обмани всех... Сделай из себя не то, что ты есть... Да разве я не старался делать это всю жизнь? Разве я не обманывал, разве не разыгрывал роль из фарса! И разве вышло «хорошо»? Вышло то, что даже теперь я ломаюсь, как актер, даже теперь я не то, что я на самом деле. Правда, разве я знаю, что я такое на самом деле? Я слишком запутался, чтобы знать. Но все равно я чувствую, что ломаюсь вот уже несколько часов подряд и говорю себе жалкие слова, которым сам не верю, говорю даже теперь, перед смертью. Да неужели же перед смертью?

— Да, да, да! — прокричал он вслух, каждый раз злобно надавливая кулаком на край стола,— нужно же наконец выбраться из путаницы. Узел завязан так, что не развяжешь: нужно разрубить его. Зачем только было тянуть, надрывать себе душу, и без того изорванную в отрепье? Зачем было, раз решившись, сидеть истуканом с восьми часов вечера до сих пор?

И он стал торопливо вытаскивать из бокового кармана шубы револьвер.

II

Он действительно сидел на одном месте с восьми часов вечера до трех ночи.

В семь часов вечера этого последнего дня его жизни он вышел из своей квартиры, нанял извозчика, уселся, сгорбившись, на санях и поехал на другой конец города. Там жил его старый приятель, доктор, который, как он знал, сегодня вместе с женою отправился в театр. Он знал, что не застанет дома хозяев, и ехал вовсе не для того, чтобы повидаться с ними. Его, наверно, впустят в кабинет, как близкого знакомого, а это только и было нужно.

«Да, наверно, впустят; скажу, что надо написать письмо. Как бы только Дуняша не вздумала торчать при мне в кабинете...»

— Ну, дядя, поезжай скорее! — крикнул он извозчику.

Извозчик — маленький, с сгорбленной старческой спиной, очень худой шеей, обмотанной цветным шарфом, вылезавшим из очень широкого воротника, и с изжелта-седыми кудрями, выступавшими из-под огромной круглой шапки,— чмокнул, задергал вожжами, еще раз чмокнул и торопливо заговорил разбитым голосом:

— Доставим, батюшка, не сомневайтесь, ваше благородие. Но, но!.. Ишь баловница! Эка лошадь, прости господи! Но! — Он хлестнул ее кнутом, на что она ответила легким движением хвоста.— Я и рад угодить, да лошадку-то хозяин дал... просто такая уж... Обижаются господа, что́ тут будешь делать! А хозяин говорит: ты, говорит, дедушка, стар, так вот тебе и скотинка старая. Ровесники, говорит, будете. А ребята наши смеются. Рады глотки драть; им что? Известно, разве понимают?

— Не понимают? — спросил седок, в это время думавший о том, как бы не впустить Дуняшу в кабинет.

— Не понимают, ваше благородие, не понимают, где им понять! Глупые они, молодые. У нас во дворе один я старик. Разве можно старика забиждать? Я восьмой десяток на свете живу, а они зубы скалят. Двадцать три года солдатом служил... Известно, глупые... Ну, старая! Застыла!

Он опять хлестнул лошадь кнутом, но так как она не обратила на удар никакого внимания, то прибавил:

— Что с ей сделаешь, тоже уж двадцать первый год, должно, пошел. Ишь, хвостом трясет...

На освещенном циферблате часов, поставленных в одном из окон огромного здания, стрелки показывали половину восьмого.

«Уехали уж, должно быть,— подумал седок про доктора с женой.— А может быть, и нет еще...»

— Дедушка, не гони, пожалуй! Поезжай потише: мне торопиться некуда.

— Известно, батюшка, некуда,— обрадовался старик.— Так-то лучше, потихоньку. Но, старая!

Ехали некоторое время молча. Потом старик осмелел.

— Ты вот мне что, барин, скажи,— вдруг заговорил он, обернувшись к седоку, причем показал свое сморщенное в кулачок лицо с жиденькой седой бородкой и красными веками,— откуда этакая напасть на человека? Был извозчик у нас, Иваном звали. Молодой, годов ему двадцать пять, а то и меньше. И кто его знает, с чего, с какой такой причины наложил на себя парень руки?

— Кто? — тихо и хрипло спросил седок.

— Да Иван-то, Иван Сидоров. В извозчиках у нас жил. Веселый был парень и работящий, прямо тебе скажу. То есть вот какой! Ну вот, в понедельник поужинали мы, легли спать. А Иван не ужинавши лег. Голову, говорит, ломит. Спим это мы, а он ночью встал и ушел. Только что никто этого не видел. Пошли утром закладывать, а он в конюшне на гвозде. Сбрую с гвоздя снял, возле положил — веревку прицепил... Ах ты господи! Так это тогда словно бы по сердцу. И что этому за причина, чтобы извозчик повесился? Как можно это, чтобы извозчику вешаться! Дивное дело!

— Отчего же? — спросил седок, откашлявшись и дрожащими руками плотнее завертываясь в шубу.

— Мыслей этих самых нет у него, у извозчика. Работа тяжелая, трудная: утром, ни свет ни заря, закладывай — да со двора. Известно, мороз, холод. Тут ему только бы в трактире погреться да выручку исправить, чтобы вполне два двадцать пять да на квартиру — и спи. Тут думать трудно. Вот вашему брату, барину, ну, вам, известно, всякое в голову лезет с пищи с этой.

— С какой такой пищи?

— С хлебов легких. Потому встанет барин, наденет халат, чайку попьет и давай по комнате ходить. Ходит, а грех-то вокруг. Видал я тоже, знаю. В полку было у нас,

в Тенгинском,— на Кавказе служил тогда,— барин был, поручик князь Вихляев; в денщики меня к нему отдали...

— Стой, стой! — вдруг заговорил седок.— Вот сюда, к фонарю. Я тут уж пешком.

— Как угодно; пешком так пешком. Благодарствуйте, ваше благородие.

Извозчик повернул и исчез в метели, которая разыгрывалась, а седок пошел понурою походкою вперед. Через десять минут, поднявшись в третий этаж средней руки парадной лестницы, он позвонил у двери, обитой зеленым сукном и украшенной медною, ярко отчищенною дощечкою. Бесконечно долго тянулись для него несколько минут, пока не отворились двери. Тупое забытье охватило его; все исчезло: и мучительное прошлое, и болтовня подвыпившего старика, так странно кстати пришедшаяся и заставившая его дойти пешком, и даже намерение, с каким он явился сюда. Перед глазами была только зеленая дверь с черными тесемками, прибитыми бронзовыми гвоздиками, да и во всем мире была только одна она.

— Ах, Алексей Петрович!

Это Дуняша отворила дверь со свечой в руках.

— А барин с барыней сейчас уехали; только-только с лестницы сошли. Как это вы не встретили?

— Уехали? Экая досада, право! — солгал он таким странным голосом, что на лице смотревшей ему в глаза Дуняши выразилось недоумение.— А мне ведь нужно было. Слушайте, Дуняша, я сейчас в кабинет к барину на одну минуту... Можно? — спросил он даже робким голосом.— Я сейчас, только записку... дело такое...

Он убедительно, с просьбой в глазах смотрел на нее, не раздеваясь и не двигаясь с места. Дуняша сконфузилась.

— Да что это вы, Алексей Петрович, разве я когда-нибудь... не в первый раз! — обиженно сказала она.— Пожалуйте.

«В самом деле, зачем все это, зачем я все это говорю? Она идет-таки за мною. Услать нужно. Куда ее ушлешь? Догадается, наверно догадается; даже уж теперь догадалась».

Дуняша ни о чем не догадывалась, хотя была до крайности удивлена странным видом и поведением гостя. Она оставалась одна в целой квартире и была рада побыть хоть пять минут с живым человеком. Поставив свечу на стол, она стала у дверей.

«Уйди ты, уйди, ради бога»,— мысленно взывал к ней Алексей Петрович.

Он сел к столу, взял листок бумаги и начал придумывать, что бы написать, чувствуя на себе взгляд Дуняши, который, как ему казалось, читал его мысли.

«Петр Николаевич,— писал он, останавливаясь после каждого слова,— я был у тебя по очень важному делу, которое...»

— Которое, которое,— шептал он,— а она все стоит и стоит.— Дуняша! Подите принесите мне стакан воды,— вдруг громко и резко проговорил он.

— Извольте, Алексей Петрович.

Она повернулась и вышла.

Тогда гость поднялся со стула и на цыпочках быстро пошел к дивану, над которым доктор повесил револьвер и саблю, служившие ему в турецком походе. Он ловко и проворно отстегнул клапан кобуры, выхватил из нее револьвер и сунул его в боковой карман шубы, потом достал из мешочка, пришитого к кобуре, несколько патронов и тоже сунул в карман. Через три минуты стакан воды, принесенный Дуняшею, был выпит, недописанное письмо запечатано, и Алексей Петрович ехал домой. «Кончать надо, надо кончать!» — вертелось у него в голове. Но он не стал кончать тотчас же после приезда: войдя в комнату и заперев ее на ключ, он бросился, не раздеваясь, на кресло, увидел фотографическую карточку, книгу, рисунок обоев, услышал тиликанье часов, забытых им на столе, и задумался. И просидел, не шевельнувшись ни одним мускулом, до глубокой ночи, до той минуты, когда мы его застали.

III

Револьвер долго не лез из узкого кармана; потом, когда он лежал уже на столе, оказалось, что все патроны, кроме одного, провалились в маленькую прореху. Алексей Петрович снял шубу и взял было ножик, чтобы распороть карман и вынуть патроны, но опомнился, криво усмехнулся одним концом запекшихся губ и остановился.

— Зачем трудиться? Довольно и одного.

— О да, очень довольно одного этого крохотного кусочка, чтобы исчезло все и навсегда. Весь мир исчезнет: не будет ни сожалений, ни уязвленного самолюбия, ни упрека самому себе, ни людей, ненавидящих и притворяю-

щихся добрыми и простыми, людей, которых видишь насквозь и презираешь и перед которыми все-таки притворяешься любящим и желающим добра. Не будет обмана себя и других, будет правда, вечная правда несуществования.

Он услышал свой голос; он уже не думал, а говорил вслух. И то, что он сказал, показалось ему отвратительным.

— Опять то же... Умираешь, убиваешь себя — и тут нельзя обойтись без разговоров. Для кого, перед кем рисуешься? Перед самим собою. Ах, довольно, довольно, довольно...— повторил он измученным, упавшим голосом и дрожащими руками старался открыть непослушный затвор револьвера.

Затвор послушался, наконец открылся; намазанный салом патрон вошел в отверстие барабана; курок взвелся будто сам собою. Ничто не могло помешать смерти: револьвер был образцовый, офицерский, дверь была заперта, и никто не мог войти.

— Ну-с, Алексей Петрович! — сказал он, крепко сжав рукоятку.

— А письмо? — вдруг мелькнуло в его голове.— Неужели умереть, не оставив ни строчки?

— Зачем, для кого? Ведь все исчезнет, ничего не будет: какое же мне дело...

— Так-то оно так. А все-таки напишу. Неужели не высказаться хоть один раз совершенно свободно, не стесняясь ничем, а главное — собою. Ведь это редкий, очень редкий случай, единственный.

Он положил револьвер, вынул из ящика тетрадку почтовой бумаги и, переменив несколько перьев, которые не писали, а ломались и портили бумагу, и испортив несколько листов, наконец вывел: «Петербург, 28-го ноября 187*». Потом рука сама побежала по бумаге, выводя слова и фразы, которые он и сам вряд ли понимал тогда.

Он писал, что умирает спокойно, потому что жалеть нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которых он любил,— если только он действительно любил кого-нибудь, а не притворялся перед самим собою, что любит,— не в состоянии удержать его жить, потому что «выдохлись». Да и не выдохлись, «нечему было выдыхаться», а просто потеряли для него интерес, раз он понял их. Что он понял и себя, понял, что и в нем, кроме лжи, ничего нет и не

было; что если он сделал что-нибудь в своей жизни, то не из желания добра, а из тщеславия; что он не делал злых и нечестных поступков не по неимению злых качеств, а из малодушного страха перед людьми. Что тем не менее он не считает себя хуже «вас, остающихся лгать до конца дней своих», и не просит у них прощения, а умирает с презрением к людям не меньшим, чем к самому себе. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась в конце письма:

«Прощайте, люди! Прощайте, кровожадные, кривляющиеся обезьяны!»

Нужно было только подписать письмо. Но когда он кончил писать, он почувствовал, что ему жарко; кровь прихлынула к голове и застучала в вспотевших висках. И, забыв о револьвере и о том, что, избавившись от жизни, он избавится и от жара, он встал, подошел к окну и отпер форточку. Дымящаяся морозная струя пахнула на него. Снег перестал идти, небо было чисто; на другой стороне улицы ослепительно белый сад, окутанный инеем, сверкал под лунным светом. Несколько звезд смотрело из далекого чистого неба, одна из них была ярче всех и горела красноватым сиянием...

— Арктур,— прошептал Алексей Петрович.— Сколько лет я не видал этого Арктура? Еще в гимназии, когда учился...

Ему не хотелось отвести глаз от звезды. Кто-то быстро прошел по улице, сильно стуча озябшими ногами по плитам панели и ежась в холодном пальто; карета провизжала колесами по подмерзшему снегу; проехал извозчик с толстым барином, а Алексей Петрович все стоял как застывший.

— Нужно же! — сказал он себе наконец.

Он пошел к столу. От окна до стола было всего две сажени, но ему казалось, что он шел очень долго. Когда, подойдя, он уже взял револьвер, в открытое окно раздался далекий, но ясный, дрожащий звук колокола.

— Колокол! — сказал Алексей Петрович, удивившись, и, положив револьвер снова на стол, сел в кресло.

IV

— Колокол! — повторил он.— Зачем колокол?

— Благовестят, что ли? На молитву... Церковь... духота... Восковые свечи. Старенький поп, отец Михаил,

служит жалобным, надтреснутым голоском; дьячок басит. Хочется спать. В окна едва брезжится рассвет. Отец, стоящий рядом со мной, склоняя голову, делает торопливые маленькие кресты; в толпе мужиков и баб сзади нас поминутные земные поклоны... Как давно это было!.. Так давно, что не верится, что это была действительность, что сам когда-то видел, а не прочитал где-нибудь или не слышал от кого-нибудь. Нет, нет, было это все, и тогда было лучше. Да и не только лучше, а хорошо было. Если бы теперь так, не нужно бы ездить за револьвером.

— Кончай! — шепнула ему мысль. Он посмотрел на револьвер и протянул к нему руку, но тотчас же отвел ее назад.

— Струсил? — шепнула ему мысль.

— Нет, не струсил; тут не то. Страшного уж ничего нет. Но колокол — зачем он?

Он взглянул на часы.

— Это к заутрене, должно быть. Пойдут люди в церковь; многим из них станет легче. Так говорят, по крайней мере. Впрочем, помню, и мне легче становилось. Мальчиком был тогда. Потом это прошло, погибло. И легче мне не становилось уж ни от чего. Это правда.

— Правда! Нашлась правда в такую минуту!

А минута казалась неизбежной. Он медленно повернул голову и опять посмотрел на револьвер. Револьвер был большой, казенного образца, системы Смита и Вессона, когда-то вороненый, но теперь побелевший от долгих скитаний в кобуре доктора. Он лежал на столе ручкою к Алексею Петровичу, которому были видны потертое дерево ручки с кольцом для шнурка, кусок барабана с взведенным курком да кончик ствола, глядевший в стену.

— Вон там смерть. Нужно взять, повернуть кругом...

На улице было тихо: никто не ехал и не шел мимо. И из этой тишины издалека раздался другой удар колокола; волны звука ворвались в открытое окно и дошли до Алексея Петровича. Они говорили чужим ему языком, но говорили что-то большое, важное и торжественное. Удар раздавался за ударом, и когда колокол прозвучал последний раз и звук, дрожа, разошелся в пространство, Алексей Петрович точно потерял что-то.

Колокол сделал свое дело: он напомнил запутавшемуся человеку, что есть еще что-то, кроме своего собственного узкого мирка, который его измучил и довел до само-

убийства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминания, отрывочные, бессвязные и все как будто совершенно новые для него. В эту ночь он многое уже передумал, и многое вспомнил, и воображал, что вспомнил всю свою жизнь, что ясно видел самого себя. Теперь он почувствовал, что в нем есть и другая сторона, та самая, о которой говорил ему робкий голос его души.

V

— Помнишь ли ты себя маленьким ребенком, когда ты жил с отцом в глухой, забытой деревушке? Он был несчастный человек, твой отец, и любил тебя больше всего на свете. Помнишь, как вы сидели вдвоем в долгие зимние вечера, он — за счетами, ты — за книжкой? Сальная свеча горела красным пламенем, понемногу тускнея, пока ты, вооружась щипцами, не снимал с нее нагара. Это было твоею обязанностью, и ты так важно исполнял ее, что отец всякий раз поднимал глаза с большой «хозяйственной» книги и с своей обычной печальной и ласковой улыбкой посматривал на тебя. Ваши глаза встречались.

— Я, папа, вон уж сколько прочитал,— говорил ты и показывал прочитанные страницы, зажав их пальцами.

— Читай, читай, дружок! — одобрял отец и снова погружался в счеты.

Он позволял тебе читать все, потому что думал, что только доброе осядет в душе его милого мальчика. И ты читал и читал, ничего не понимая в рассуждениях и ярко, хотя по-своему, по-детски, воспринимая образы.

Да, тогда все казалось тем, как оно казалось. Красное так и было красное, а не отражающее красные лучи. Тогда не было для впечатлений готовых форм — идей, в которые человек выливает все ощущаемое, не заботясь о том, годна ли форма, не дала ли она трещины. И если любил когонибудь, то знал, что любишь; в этом не было сомнений.

Красивое, насмешливое лицо взглянуло ему в глаза и исчезло.

— А эта? Тоже любил ее? Нечего сказать, поиграли в чувство довольно. А ведь искренне, казалось, говорил и думал тогда... Мученья сколько было! И когда счастье пришло, оно оказалось вовсе не счастьем, и если бы я тогда в самом деле мог приказать времени: «подожди, постой, здесь хорошо», то я еще подумал бы — приказывать или нет. А потом, и очень скоро, понадобилось уже гнать

время вперед... Да не думать же теперь об этом! Нужно думать о том, что было, а не о том, что казалось.

А было очень немного: только одно детство. И от него-то в памяти остались одни бессвязные клочки, которые Алексей Петрович стал с жадностью собирать.

Помнится ему маленький домик, спальня, в которой он спал против отца. Помнится красный ковер, висевший над отцовской постелью; каждый вечер, засыпая, он смотрел на этот ковер и находил в его причудливых узорах все новые фигуры: цветы, зверей, птиц, человеческие лица. Помнится утро с запахом соломы, которою топили дом. Николай, малый, уже натащил полную переднюю соломы и целыми охапками сует ее в устье печи. Она горит весело и ясно и дымит с приятным, немного резким запахом. Алеша готов был просидеть перед печью целый час, но отец звал его пить чай, после которого начинался урок. Помнится, как он не понимал десятичных дробей, как отец кипятился и всеми силами старался растолковать ему их.

«Кажется, он и сам знал их тогда не совсем твердо»,— подумал Алексей Петрович.

Потом — священная история. Ее Алеша любил больше. Удивительные, огромные и фантастические образы. Каин, потом история Иосифа, цари, войны. Как вóроны носили хлеб пророку Илии. И картинка была при этом: сидит Илия на камне с большою книгою, а две птицы летят к нему, держа в носах что-то круглое.

— Папа, смотри: Илье вóроны хлеб носили, а наш Ворка сам у нас все тащит.

Ручной вóрон с выкрашенными в красную краску носом и лапами — это Николай выдумал — бочком прыгает по спинке дивана и, вытягивая шею, старается стащить со стены блестящую бронзовую рамочку. В этой рамочке миниатюрный акварельный портрет молодого мужчины с приглаженными височками, одетого в темно-зеленый мундир с эполетами, высочайшим красным воротником и крестиком в петлице. Это сам папа двадцать пять лет тому назад.

Вóрон и портрет мелькнули и исчезли.

— Потом что ж такое? Потом звезды, вертеп, ясли. Помню, что эти ясли были для меня совершенно новым словом, хотя я знал и раньше ясли в конюшне и на скотном дворе. Эти ясли казались какими-то особенными.

Новый завет учили не так, как Ветхий, не по толстень-

кой книжке с картинками. Отец сам рассказывал Алеше о Иисусе Христе и часто прочитывал целые страницы из Евангелия.

— И кто ударит тебя в правую щеку, обрати ему и другую. Понимаешь, Алеша?

И отец начинал долгое объяснение, которого Алеша не слушал. Он вдруг перебивал своего учителя:

— Папа, помнишь, дядя Дмитрий Иваныч приезжал? Вот тогда точно так было: он ударил своего Фому в лицо, а Фома стоит; и дядя Дмитрий Иваныч его с другой стороны ударил; Фома все стоит. Мне его жалко стало, и я заплакал.

— Да, тогда я заплакал,— проговорил Алексей Петрович, встав с кресла и начиная ходить взад и вперед по комнате,— я тогда заплакал.

Ему стало ужасно жалко этих слез шестилетнего мальчика, жалко того времени, когда он мог плакать оттого, что в его присутствии ударили беззащитного человека.

VI

В окно все летел морозный воздух; клубящийся пар точно выливался в комнату, в которой от него уже стало холодно. Большая низкая лампа с непрозрачным абажуром, стоявшая на письменном столе, горела ясно, но освещала только поверхность стола да часть потолка, образуя на нем дрожащее круглое пятно света; в остальной комнате все было в полумраке. В нем можно было разглядеть шкап с книгами, большой диван, еще кое-какую мебель, зеркало на стене с отражением светлого письменного стола и высокую фигуру, беспокойно метавшуюся по комнате из одного угла в другой, восемь шагов туда и восемь назад, всякий раз мелькая в зеркале. Иногда Алексей Петрович останавливался у окна; холодный пар лился ему на разгоряченную голову, на открытую шею и грудь. Он дрожал, но не освежался. Он продолжал перебирать отрывочные и бессвязные воспоминания, припоминая сотни мелких подробностей, путался в них и не мог понять, что́ именно в них общего и важного. Знал он только одно: что до двенадцати лет, когда отец отправил его в гимназию, он жил совершенно иною внутреннею жизнью, и помнил, что тогда было лучше.

— Что же тянет тебя туда, в полусознательную

жизнь? Что хорошего было в этих детских годах? Одинокий ребенок, и одинокий взрослый человек, «немудрящий» человек, как ты сам называл его после смерти. Ты был прав, он был немудрящий человек. Жизнь скоро и легко исковеркала его, сломав в нем все доброе, чем он запасся в юности; но она не внесла ничего и дурного. И он доживал свой век, бессильный, с бессильной любовью, которую почти всю обратил на тебя...

Алексей Петрович думал об отце и в первый раз после многих лет почувствовал, что любил его, несмотря на всю его немудреность. Ему хотелось бы теперь хоть на минуту перенестись в свое детство, в деревню, в маленький домик и приласкаться к этому забитому человеку, приласкаться просто, по-детски. Захотелось той чистой и простой любви, которую знают только дети да разве очень уж чистые, нетронутые натуры из взрослых.

— Да неужели нельзя вернуть это счастье, эту способность сознавать, что говоришь и думаешь правду? Сколько лет я не испытывал его! Говоришь горячо, как будто искренне, а в душе всегда сидит червяк, который точит и сосет. Червяк этот — мысль: что́, дескать, друг мой, не лжешь ли ты все это? Думаешь ли ты на самом деле то, что теперь говоришь?

У Алексея Петровича в голове сложилась еще одна фраза, по-видимому нелепая:

«Думаешь ли ты на самом деле то, что теперь думаешь?»

Она была нелепа, но он ее понял.

— Да, тогда думал именно то, что думал. Любил отца и знал, что любишь. Господи! хоть бы какого-нибудь настоящего, неподдельного чувства, не умирающего внутри моего «я»! Ведь есть же мир! Колокол напомнил мне про него. Когда он прозвучал, я вспомнил церковь, вспомнил толпу, вспомнил огромную человеческую массу, вспомнил настоящую жизнь. Вот куда нужно уйти от себя, и вот где нужно любить. И так любить, как любят дети. Как дети... Ведь это сказано вот тут...

Он подошел к столу, выдвинул один из ящиков и начал рыться в нем. Маленькая темно-зеленая книжка, купленная им когда-то на всероссийской выставке за курьезную дешевизну, лежала в уголку. Он с радостью схватил ее. Листки в два узеньких столбца мелкой печати быстро забегали под его пальцами, знакомые слова и фразы воскресали в памяти. Он начал читать с первой страницы и

читал все подряд, забыв даже и фразу, из-за которой достал книгу. А фраза эта была давно знакомая и давно забытая. Когда он дошел до нее, она поразила его огромностью содержания, выраженного в восьми словах:

«Если не обратитесь и не будете как дети...»

Ему показалось, что он понял все.

— Знаю ли я, что значат эти слова? Обратиться и сделаться как дитя!.. Это значит не ставить во всем на первое место себя. Вырвать из сердца этого скверного божка, уродца с огромным брюхом, это отвратительно «я», которое, как глист, сосет душу и требует себе все новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съел. Все силы, все время были посвящены на служение тебе. То я кормил тебя, то поклонялся тебе; хоть ненавидел тебя, а все-таки поклонялся, принося тебе в жертву все хорошее, что мне было дано. И вот докланялся, докланялся, докланялся!..

Он повторял это слово, продолжая ходить по комнате, но уже бессильною походкою, качаясь, опустив голову на дрожавшую рыданьями грудь и не отирая мокрого от слез лица. Ноги отказывались служить ему; он сел, прижавшись в уголок дивана, облокотился на его ручку и, опустив горячую голову на руки, плакал как дитя. И долго тянулся этот упадок сил, но в нем уже не было мученья. Смягчилась накипевшая, деланная злоба; слезы текли, облегчая, и не было стыдно слез; перед всяким, кто бы ни вошел в ту минуту, он не стал бы сдерживать этих слез, уносивших с собой ненависть. Он почувствовал теперь, что не все еще пожрано идолом, которому он столько лет поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотвержение, что стоит жить для того, чтобы излить этот остаток. Куда, на какое дело — он не знал, да в ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Он вспомнил горе и страдание, какое довелось ему видеть в жизни, настоящее житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно идти туда, в это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда в душе его настанет мир.

— Страшно; не могу я больше жить за свой собственный страх и счет; нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ради своего «я», все пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды, которая есть в мире, что бы я там ни кричал, и которая говорит

душе, несмотря на все старания заглушить ее. Да, да! — повторял в страшном волнении Алексей Петрович.— Все это сказано в зеленой книжке, и сказано навсегда и верно. Нужно «отвергнуть себя», убить свое «я», бросить на дорогу...

— Какая же польза тебе, безумный? — шептал голос.

Но другой, когда-то робкий и неслышный, прогремел ему в ответ:

— Молчи! Какая же будет польза ему, если он сам растерзает себя?

Алексей Петрович вскочил на ноги и выпрямился во весь рост. Этот довод привел его в восторг. Такого восторга он никогда еще не испытывал ни от жизненного успеха, ни от женской любви. Восторг этот родился в сердце, вырвался из него, хлынул горячей, широкой волной, разлился по всем членам, на мгновенье согрел и оживил закоченевшее несчастное существо. Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло...

. . . .

Лампа, выгоревшая в долгую ночь, светила все тусклее и тусклее и наконец совсем погасла. Но в комнате уже не было темно: начинался день. Его спокойный серый свет понемногу вливался в комнату и скудно освещал заряженное оружие и письмо с безумными проклятиями, лежавшее на столе, а посреди комнаты — человеческий труп с мирным и счастливым выражением на бледном лице.

1880

Денщик и офицер

— Разденься! — сказал доктор Никите, неподвижно стоявшему, устремив глаза в неизвестную далекую точку.

Никита вздрогнул и торопливо начал расстегиваться.

— Живей, братец! — нетерпеливо крикнул доктор.— Видишь, сколько вас здесь.

Он показал на толпу, наполнявшую присутствие.

— Поворачивайся... очумел...— заговорил в помощь ему унтер-офицер, приставленный к мере.

Никита заторопился, сбросил рубашку и штаны и остался совершенно нагим. Нет ничего прекраснее человеческого тела,— множество раз было говорено кем-то, ко-

гда-то и где-то; но если бы тот, кто в первый раз произнес это изречение, жил в семидесятых годах прошлого столетия и увидел голого Никиту, он, наверно, взял бы свои слова назад.

Перед присутствием по воинской повинности стоял низенький человек с несоразмерно большим животом, унаследованным от десятков поколений предков, не евших чистого хлеба, с длинными, вялыми руками, снабженными огромными черными и заскорузлыми кистями. Его длинное неуклюжее туловище поддерживали очень короткие кривые ноги, а всю фигуру венчала голова... Что это была за голова! Личные кости были развиты совершенно в ущерб черепу; лоб узок и низок, глаза, без бровей и ресниц, едва прорезывались; на огромном плоском лице сиротливо сидел крошечный круглый нос, хотя и задранный вверх, но не только не придававший лицу выражения высокомерия, а напротив, делавший его еще более жалким; рот, в противность носу, был огромен и представлял собою бесформенную щель, вокруг которой, несмотря на двадцатилетний возраст Никиты, не сидело ни одного волоска. Никита стоял, понурив голову, сдвинув плечи, повесив плетьми руки и поставив ступни носками немного внутрь.

— Обезьяна,— сказал полненький живой полковник, воинский начальник, наклоняясь к молодому и тощему, с красивой бородой, члену земской управы.— Совершенная обезьяна.

— Превосходное подтверждение теории Дарвина,— процедил член, на что полковник одобрительно помычал и обратился к доктору.

— Да что, конечно, годен! Парень здоровый,— сказал тот.

— Но только в гвардию не попадет. Ха-ха-ха! — добродушно и звонко закатился полковник; потом, обратясь к Никите, прибавил спокойным тоном: — Через неделю явись. Следующий, Парфен Семенов, раздевайся!

Никита начал мешкотно одеваться, руки и ноги не слушались его и не попадали туда, куда им следовало. Он шептал что-то про себя, но что именно — должно быть, и сам не знал; он понял только, что его признали годным к службе и что через две недели его погонят из дому на несколько лет. Только одно это и было у него в голове, только одна эта мысль и пробивалась сквозь туман и оцепенение, в котором он находился. Наконец он справился с рукавами, опоясался и пошел из комнаты, где происхо-

дило освидетельствование. Старик лет шестидесяти пяти, маленький, совсем согнутый, встретил его в сенях.

— Забрили? — спросил он.

Никита не отвечал, и старик понял, что забрили, и не стал расспрашивать. Они вышли из управы на улицу. Был ясный, морозный день. Толпа мужиков и баб, приехавших с молодежью, стояла в ожидании. Многие топтались и хлопали руками; снег хрустел под лаптями и сапогами. Пар валил от закутанных голов и маленьких лохматых лошаденок; дым поднимался из труб городка прямыми высокими столбами.

— Взяли, Иван, твоего-то? — спросил старика дюжий мужик в новой дубленке, большой бараньей шапке и хороших сапогах.

— Взяли, Илья Савельич, взяли. Захотел господь обидеть...

— Что ж ты теперь делать будешь?

— Что ж тут делать... Воля господня... Один в семье был помощник, и того нет...

Иван развел руками.

— Тебе бы его раньше усыновить,— внушительно сказал Илья Савельич.— Вот парень и был бы цел.

— Кто ж его знал! Ничего нам этого не известно. Опять же он у меня заместо сына, один работник в семье... Думал так, что господа уважат. «Ничего, говорит, невозможно, потому — закон такой». Как же, ваше благородие, говорю, закон, когда у него жена тяжелая? Опять же мне, говорю, ваше благородие, одному невозможно... «Ничего, говорит, мы этого, старичок, не знаем, а по закону, как есть он сирота, одиночка,— должон на службу. Кто виноват, говорит, что у него жена и сын, вы бы еще пятнадцатилетних венчали». Я ему еще сказать хотел, так он и слушать не стал. Осерчал. «Отстань, говорит, тут и без тебя дела много»... Что ты станешь делать... Божья воля!

— Парень-то он у тебя смирный.

— Смирный да работящий, и боже мой! Слова супротивного от него не слыхал! Я, Илья Савельич, так скажу: лучше родного он мне был. То-то и горе наше... Бог послал, бог и взял... Прощайте, Илья Савельич, вашего-то, поди, не скоро осмотрят?

— Как начальство!.. Но только моего годным признать нельзя — хром.

— Ваше счастье, Илья Савельич.

— Побойся ты бога, что ты городишь! Эко счастье, что сын хромой уродился.

— Что ж, Илья Савельич, оно к лучшему выходит, все ж дома парень останется. Прощайте, будьте здоровы.

— Прощай, брат... Что ж ты, должок-то забываешь, что ль?

— Никак невозможно, Илья Савельич, то есть — вот как, никак нельзя! Уж вы малость пообождите. Горе-то у нас такое!

— Ну, ладно, ладно, поговорим еще. Прощай, Иван Петрович.

— Прощайте, Илья Савельич, будьте здоровы.

Никита в это время отвязал от тумбы лошадь; они с приемным отцом уселись в сани и поехали. До их деревни было верст пятнадцать. Лошаденка бойко бежала, взбивая копытами комья снега, которые на лету рассыпались, обдавая Никиту. А Никита улегся около отца, завернувшись в армяк, и молчал. Старик два раза заговорил с ним, но он не ответил. Он точно застыл и смотрел неподвижно на снег, как будто ища в нем точку, забытую им в комнатах присутствия.

Приехали, вошли в избу, сказали. Семья, состоявшая кроме мужчин из трех баб и троих детей, оставшихся от умершего в прошлом году сына Ивана Петровича, начала выть. Прасковья, Никитина жена, сомлела. Бабы выли целую неделю.

Как прошла эта неделя для Никиты — известно одному богу, потому что он все время молчал, храня на своем лице одно и то же застывшее выражение покорного отчаяния.

Наконец все было кончено — Иван свез новобранца в город и сдал его на сборный пункт. Через два дня Никита с партией новобранцев шагал по сугробам большой дороги в губернский город, где стоял полк, в который он был назначен. Одет он был в новый коротенький полушубок, в шаровары из толстого черного сукна, новые валенки, шапку и рукавицы. В его котомке кроме двух перемен белья и пирогов лежала еще тщательно завернутая в платок рублевая бумажка. Всем этим наделил своего приемыша Иван Петрович, умоливший Илью Савельича дать ему еще взаймы, чтобы обрядить Никиту на службу.

Никита оказался самым плохим молодым солдатом. Дядька, которому его отдали для первоначального обучения, был в отчаянии. Несмотря на всевозможные вразумления, делаемые им Никите, в числе которых некоторую роль играли подзатыльники и затрещины, его ученик никак не мог вполне постигнуть даже нехитрую премудрость сдваиванья рядов. Фигура Никиты, наряженного в солдатское платье, была самая жалкая; во фронте то у него выпячивался живот, то, подбирая его, он выдавался вперед всей грудью, наклоняясь всем телом и рискуя шлепнуться лицом о землю. Как ни билось начальство, оно не могло сделать из Никиты даже самого посредственного фронтовика. На ротных ученьях командир, разругав Никиту, распекал взводного унтер-офицера, а взводный взыскивал с того же Никиты. Взыскание состояло в назначении на дневальство не в очередь. Скоро, однако, унтер-офицер догадался, что лишнее дневальство было для Никиты не наказанием, а удовольствием. Он был прекрасный работник, и исполнение обязанностей дневального, состоявших в носке дров и воды, топке печей и главным образом в содержании казарм в чистоте, то есть в беспрерывном шарканье мокрой шваброй по полу, было ему по душе. Во время работы на нем, по крайней мере, не лежало обязанности думать, как бы не сбиться и не повернуться налево, когда командуют направо, и, кроме того, он чувствовал себя совершенно свободным от страшных вопросов по велемудрой науке, называемой у солдат словесностью: «Что есть солдат?», «Что есть знамя?»

Никита очень хорошо знает, что такое солдат и что такое знамя; он готов со всевозможным усердием исполнять свои солдатские обязанности и, вероятно, отдал бы жизнь, защищая знамя; но изложить по-книжному, обстоятельно, как требует того словесность, что такое знамя,— выше его сил.

— Знамя есть, которое хорю... хоруг...— лепечет он, стараясь как можно более вытянуть в струнку свое неуклюжее тело, подняв подбородок кверху и моргая лишенными ресниц веками.

— Дурак! — кричит чахоточный унтер-офицер, обучающий словесности.— Что вы, аспиды, со мной делаете?.. Долго ли мне с вами мучиться, идолы вы, мужичье сиволапое? Тьфу! Который раз тебе повторять надо? Ну, говори за мной: знамя есть священная хоругвь...

Никита не может повторить даже этих четырех слов.

Грозный вид унтер-офицера и его крик действуют на него ошеломляющим образом; в ушах у него звенит; в глазах прыгают знамена и искры; он не слышит мудреного определения знамени; его губы не двигаются. Он стоит и молчит.

— Говори же, черт тебя возьми: знамя есть священная хоругвь...

— Знамя...

— Ну?..

— Хорюг...— продолжает Никита. Голос его дрожит, на глазах слезы.

— Есть священная хоругвь,— кричит взбешенный унтер-офицер.

— Священная, которая...

Унтер-офицер бегает из угла в угол, плюет и ругается. Никита стоит на том же месте и в той же позе, следя глазами за рассерженным начальником. Он не возмущен бранью и оскорблениями и только всею душою горюет о своей неспособности «заслужить» начальству.

— На три дневальства не в очередь! — говорит упавшим голосом искричавшийся, измученный унтер-офицер, и Никита благодарит бога, избавившего его хоть на время от ненавистной «словесности» и ученья.

Когда начальство заметило, что наказание, налагаемое им на Никиту, не только не причиняет ему огорчения, а даже доставляет радость,— Никита начал сидеть под арестом. Наконец, испробовав все средства для исправления несчастного, на него махнули рукой.

— С Ивано́вым, ваше благородие, ничего не поделаешь,— говорит почти каждый день на утреннем докладе ротному командиру фельдфебель.

— С Ивано́вым?.. Да, да... Что же он такое делает? — отвечает капитан, сидящий в халате, с папироскою и прихлебывающий чай из стакана в мельхиоровом подстаканнике.

— Ничего, ваше благородие, не делает, человек он смирный, только понятия у него ни к чему нет.

— Попробуй как-нибудь,— говорит ротный, задумчиво выпустив изо рта колечко табачного дыма.

— Пробовали, ваше благородие, да ничего не выходит.

— Ну, так что ж мне с ним делать? Ведь согласись, Житков, я не бог. А? Ну дурак, так что же с ним поделаешь?.. Ну, ступай.

— Счастливо оставаться, ваше благородие.

Наконец ротному надоело выслушивать каждый день жалобы фельдфебеля на Никиту.

— Отстань ты с своим Ивано́вым! — крикнул он.— Ну, не выводи его на ученье, плюнь на него. Сделай с ним что хочешь, только не лезь с ним ко мне...

Фельдфебель попытался было устроить перевод Никиты Иванова в нестроевую роту, но там и без того было много людей. Отдать его в денщики тоже не удалось, потому что у всех офицеров денщики уже были. Тогда на Никиту навалили черную работу, оставив все попытки сделать из него солдата. Так он прожил год, до тех пор, пока в роту не был назначен новый субалтерн-офицер, прапорщик Стебельков. Никиту отдали к нему «постоянным вестовым», то есть попросту денщиком.

Александр Михайлович Стебельков, новый хозяин Никиты, был очень добрый молодой человек, среднего роста, с бритым подбородком и великолепно вытянутыми, как острые палочки, усами, которых он иногда не без удовольствия слегка касался левою рукою. Он только что кончил курс юнкерского училища, не выказав в течение пребывания в нем особенного пристрастия к наукам, но зато в совершенстве познав строевую службу. Он был совершенно счастлив в своем настоящем положении. Два года, проведенные в училище на казенном содержании, под строгим надзором начальства, совершенное отсутствие знакомых, где можно было бы отдохнуть в праздничные дни от казарменной жизни училища, ни копейки собственных денег, с помощью которых он мог бы доставить себе какое-нибудь развлечение,— все это слишком утомило его. И теперь, увидев себя офицером, человеком, получающим до сорока рублей в месяц содержания, имеющим команду над полуротою солдат и в полном своем распоряжении денщика, он пока не желал ничего более. «Хорошо, очень хорошо»,— думал он, засыпая, и, просыпаясь, прежде всего вспоминал, что он уже не юнкер, а офицер, что ему уже не надо тотчас же вскакивать с постели и одеваться под опасением нагоняя от дежурного офицера, а можно еще поваляться, понежиться и выкурить папиросу.

— Никита! — кричит он.

Никита, в полинялой розовой ситцевой рубашке, в черных суконных штанах и неизвестно где добытых им старых глубоких резиновых калошах на босую ногу, появ-

ляется в дверях, ведущих из единственной комнаты квартиры Стебелькова в переднюю.

— Холодно сегодня?

— Не могу знать, ваше благородие,— робко отвечает Никита.

— Поди погляди и скажи мне.

Никита немедленно отправляется на мороз и по прошествии минуты снова является в дверях передней.

— Дюже холодно, ваше благородие.

— Ветер есть?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Дурак, как же ты не можешь знать? Ведь был на дворе...

— На дворе нетути, ваше благородие.

— «Нетути, нетути»!.. Поди на улицу!

Никита идет на улицу и приходит с докладом, что «ветер здоровый».

— Ученья не будет, ваше благородие, Сидоров сказывал,— осмеливается дополнить он.

— Хорошо, ступай,— говорит Александр Михайлович.

Он свертывается в комок, натягивает на себя теплое байковое одеяло и в полудремоте начинает мечтать под треск ярко горящей печки, затопленной Никитою. Юнкерская жизнь представляется ему каким-то неприятным сном. «Ведь вот как недавно это было: бьет барабан над самым ухом, вскакиваешь, дрожишь от холода...» За этими воспоминаниями встают другие, тоже не особенно приятные. Бедность, жалкая обстановка мелких чиновников, всегда угрюмая мать, высокая тощая женщина с строгим выражением на худом лице, постоянно точно будто бы говорившем: «пожалуйста, я не позволю всякому оскорблять меня!» Куча братьев и сестер, ссоры между ними, жалобы матери на судьбу и брань между нею и отцом, когда он являлся пьяным... Гимназия, в которой было так трудно учиться, несмотря на все старания; товарищи, преследовавшие его и неизвестно по какой причине называвшие его крайне обидным названием — «селедкою»; невыдержанный экзамен из русского языка; тяжелая, унизительная сцена, когда он, выключенный из гимназии, пришел домой весь в слезах. Отец спал на клеенчатом диване пьяный, мать возилась в кухне у печки, готовя обед. Увидя Сашу, входящего с книжками и в слезах, она поняла, что случилось, и набросилась на мальчугана с ру-

гательствами, потом кинулась к отцу, разбудила его, втолковала ему, в чем дело, и отец побил мальчика.

Саше было тогда пятнадцать лет. Через два года он поступил на правах вольноопределяющегося в военную службу, а к двадцати годам был уже самостоятельным человеком, прапорщиком пехотного полка...

«Хорошо,— думается ему под одеялом.— Сегодня вечером в клуб... танцы...»

И представляется Александру Михайловичу зала офицерского клуба, полная света, жары, музыки и барышень, которые сидят целыми клумбами вдоль стен и только ждут, чтобы ловкий молодой офицер пригласил на несколько туров вальса. И Стебельков, щелкнув каблуками («жаль, черт возьми, шпор нет!»), ловко изгибается пред хорошенькою майорскою дочерью, грациозно развесив руки, говорит: «permettez» [1], и майорская дочь кладет ему ручку около эполета, и они несутся, несутся...

«Да, это не то что селедка. И как глупо; ну почему я селедка? Вот те-то, не селедки, там где-нибудь на первом курсе в университете сидят, голодают, а я... И чего это они непременно в университет? Положим, что жалованья судебный следователь или доктор получает побольше моего, но ведь сколько времени нужно добиваться... и все на свой счет живи. То ли дело у нас: только поступи в училище, а там уж сам поедешь; если будешь хорошо служить, то можно и до генерала... Ух, тогда задал бы я!..» Александр Михайлович и сам не высказал себе, кому бы именно он задал, но воспоминание о «не селедках» в это мгновение мелькнуло у него в душе.

— Никита,— кричит он,— чай у нас есть?

— Никак нет, ваше благородие, весь вышел.

— Сходи, возьми осьмушку.

Он достает из-под подушки новенький кошелек и дает Никите деньги.

Никита идет за чаем. Александр Михайлович продолжает свои размышления, и, пока Никита вернулся с чаем, барин уже успел снова уснуть.

— Ваше благородие, ваше благородие! — шепчет Никита.

— Что? А? Принес? Хорошо, я сейчас встану... Давай одеваться.

Александр Михайлович ни дома, ни в училище нико-

[1] Позвольте (*фр.*).

гда не одевался иначе как сам (исключая, разумеется, младенческого возраста), но, получив в свое распоряжение денщика, он в две недели совершенно разучился надевать и снимать платье. Никита натягивает на его ноги носки, сапоги, помогает надевать брюки, накидывает ему на плечи летнюю шинель, служащую вместо халата. Александр Михайлович, не умываясь, садится пить чай.

Приносят литографированный приказ по полку, и Стебельков, прочитывая его от первой строчки до последней, с удовольствием видит, что его очередь идти в караул еще далеко. «А это еще что за новости?» — думает он, читая:

«В видах поддержания уровня знаний господ офицеров, предлагаю штабс-капитану Ермолину и поручику Петрову 2-му с будущей недели начать чтение лекций — первому по тактике, а второму по фортификации. О времени чтения, имеющего происходить в зале офицерского собрания, будет мною объявлено особым по полку приказом».

«Ну, вот уже это бог знает что: ходить слушать тактику да фортификацию! — думает Александр Михайлович.— Мало они в училище надоели! Да и ничего нового не скажут, будут читать по старым запискам...»

Прочитав приказ и кончив пить чай, Александр Михайлович приказывает Никите убрать самовар и садится набивать папиросы, продолжая бесконечные размышления о своем прошлом, настоящем и будущем, которое сулит ему если не генеральские, жирные, то по крайней мере штабс-офицерские, густые эполеты. А когда все папиросы набиты, он ложится на постель и читает «Ниву» за прошлый год, рассматривая давно уже пересмотренные картинки и не пропуская ни одной строчки текста. Наконец от долгого лежанья и чтенья «Нивы» у него начинает мутить в голове.

— Никита! — кричит он.

Никита вскакивает с постланной на полу передней у печки шинели, служащей ему постелью, и кидается к барину.

— Посмотри, который час... Нет, лучше дай мне сюда часы.

Никита бережно берет со стола серебряные часы с цепочкой из нового золота и, подав их барину, снова удаляется в переднюю на свою шинель...

«Половина второго... Не пора ли идти обедать?» — думает Стебельков, заводя часы бронзовым ключиком, кото-

рый он только что приобрел и в головке которого вставлена маленькая фотографическая картинка, видимая в увеличенном виде, если рассматривать ее на свет. Александр Михайлович смотрит картинку, прищурив левый глаз, и улыбается. «Какие славные штучки нынче делают, право! И как ухитряются... в таком маленьком виде? — приходит ему в голову.— Однако нужно идти...»

— Никита! — кричит он.

Никита появляется.

— Давай умываться.

Никита приносит в комнату некрашеный табурет с поставленной на нем лоханкой с рукомойником. Александр Михайлович начинает умываться. Чуть только касается его рук ледяная вода, он вскрикивает:

— Сколько раз я тебе, болван, говорил, чтобы ты оставлял воду на ночь в комнате! Ведь этак рожу заморозишь... дурак...

Никита молчит в полном сознании вины и усердно подливает воду на ладони рассердившегося господина.

— Сюртук вычистил?

— Точно так, ваше благородие, вычистил,— говорит Никита и подает барину висевший на спинке стула новенький сюртук с блестящими золотыми погонами, украшенными цифрой и одной серебряной звездочкой.

Прежде чем надеть его, Александр Михайлович внимательно рассматривает темно-зеленое сукно и находит пушинку.

— Это что такое? Это разве значит чистить? Так ты исполняешь свои обязанности? Пошел, дурак, почисть еще.

Никита идет в переднюю и начинает извлекать из щетки, при помощи сюртука, звуки, известные под названием шурханья. Стебельков при помощи складного зеркала в желтой деревянной оправе и pommade hongroise[1] начинает доводить свои усы до возможного совершенства. Наконец усы приведены в полный порядок, а шурханье в передней все еще продолжается.

— Давай сюртук, не до второго же пришествия будешь ты его чистить... Еще опоздаешь из-за тебя, дурак...

Он внимательно застегивает сюртук, потом надевает саблю, калоши, шинель и выходит на улицу, гремя ножнами по мерзлым доскам тротуара.

Остальная часть дня проходит в обеде, чтении «Русско-

---

[1] Венгерской помады (*фр.*).

го инвалида», разговорах с товарищами о службе, производстве, содержании; вечером Александр Михайлович отправляется в клуб и мчится «в вихре вальса» с майорской дочерью. Он возвращается домой поздно вечером, усталый, с легким опьянением от нескольких рюмочек, выпитых во время вечера, но довольный... Жизнь разнообразится только учениями, караулами, летом лагерями, иногда маневрами и редко лекциями по фортификации и тактике, которых нельзя не посещать. И тянется она годы, не оставляя на Стебелькове никаких следов; только цвет лица изменяется, да лысинка начинает пробиваться, да вместо одной звездочки на погонах появляются две, потом три, потом четыре...

Что же делает в это время Никита? А Никита большею частью лежит на своей шинельке у печки, вскакивая на беспрестанные требования барина. Утром у него довольно работы: нужно затопить печь, поставить самовар, принести воды, вычистить сапоги, платье, одеть барина, когда встанет, вымести комнату, прибрать ее. (Правда, последнее не требует много времени: вся мебель в комнате состоит из кровати, стола, трех стульев, этажерки и чемодана.) Все ж таки есть для Никиты хоть призрак дела. По уходе барина начинается бесконечный день, состоящий почти в обязательном ничегонеделанье, и прерывается только походом в казарму за обедом с ротной кухни. Живя еще в казарме, Никита научился немного чеботарить: класть заплатки, подкидывать подметки, набивать подборы; переселившись к Стебелькову, он вздумал было продолжать свое ремесло, пряча мешок за двери в сенях, как только раздавался стук в двери. Барин, несколько дней замечавший, что в передней сильно пахнет черным товаром, доискался причины запаха и задал Никите жестокую головомойку, после чего приказал, «чтобы этого никогда не было». Тогда Никите осталось только лежать на своей шинельке и думать. И он лежал на ней и думал целые вечера, засыпая под конец до той минуты, когда раздавался стук в двери, возвещавший приход барина; Никита раздевал его, и скоро маленькая квартирка погружалась во мрак; офицер и денщик спали.

Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снег в окно. И кажется он спящему прапорщику Стебелькову громом бальной музыки; видит он во сне ярко освещенную залу, такую, какой никогда не видал, полную незнакомого ему разодетого народа. Но он не чувствует себя смущенным,

а напротив — героем вечера. Тут и знакомое ему общество; оно относится к нему не так, как до сих пор, а с каким-то восторгом: полковник, вместо того чтобы подать ему два пальца, жмет ему руку обеими толстыми руками; майор Хлобущин, всегда косо смотревший на его ухаживанье за дочкой, сам подводит ее к нему, смиренно кланяясь. Что он сделал великого, за что его возносят, он не знает, но что-то он сделал, это несомненно. Он смотрит на свои плечи и видит на них генеральские эполеты. Музыка гремит, пары несутся, и он сам несется куда-то все дальше и дальше, все выше и выше. Блестящая зала далеко от него и кажется ему уже только маленькой светлой точкой. Вокруг него множество людей в разных мундирах; все спрашивают его приказаний. Он не знает, о чем они спрашивают; но отдает приказания, ординарцы мчатся к нему и от него. Гром пушек слышен вдали; звучат марши; полки идут за полками. Все движется куда-то вместе с ним; пушки гремят ближе, и Стебелькову становится страшно. «Убьют!» — думает он. И страшный крик раздается со всех сторон; бегут на него странные, уродливые и свирепые люди, каких он никогда не видывал. Они все ближе и ближе; сердце Стебелькова сжимается невыразимым ужасом, какой бывает только во сне, и он кричит: «Никита!»

Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снега в окно. И кажется он спящему Никите настоящим ветром, непогодою. Снится ему, что лежит он в своей избе один; около него нет ни жены, ни отца, никого из семьи. Он не знает, как он попал домой, и боится, не убежал ли он из полка. Чудится ему, что за ним наряжена погоня, и чувствует он, что она близка, и хочет он бежать и спрятаться куда-нибудь, но не может шевельнуть ни одним членом. Тогда он кричит, и вся изба наполняется людьми; всё деревенские знакомые, но лица у них какие-то чудные. «Здравствуй, Никита,— говорят ему.— Твоих, брат, никого нету, всех бог прибрал! Все померли. Вот они, глянь-ка сюда!» И Никита видит всю свою семью в толпе: и Иван, и жена, и тетка Парасковья, и ребятишки. И понимает он, что хотя они стоят вместе со всеми, но уже мертвые, и все деревенские тоже мертвые: оттого они так чудно и смеются. Идут они к нему, хватают его, но он вырывается и бежит по сугробам, спотыкаясь и падая; за ним гонятся

уже не мертвые, а прапорщик Стебельков с солдатами. И он бежит все дальше и дальше, а прапорщик кричит ему: «Никита, Никита, Никита!..»

— Никита! — действительно кричит Стебельков.

Проснувшийся Никита вскакивает и ощупью идет в комнату, шлепая босыми ногами.

— Что ты, черт тебя возьми, смеешься надо мной, что ли? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты клал около меня спички! И дрыхнет, как болван! Полчаса зову, не дозовусь. Дай огня!

Заспанный Никита шарит по столу и окнам и находит спички. Он зажигает свечу, вставленную в медный позеленевший подсвечник, и, щурясь, подает ее барину. Александр Михайлович выкуривает папироску, и через четверть часа офицер и денщик снова спят глубоким сном.

1880

То, чего не было

В один прекрасный июньский день,— а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру,— в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Все почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь, причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиные пятачки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зернышка; да и то петуху, должно быть,

приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во все горло кричал: «какой ска-ан-да-ал!!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним, повернутым к ним, гнедым ухом с торчащими изнутри темно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.

— По-моему,— говорил навозный жук,— порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве: он знает свое дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар — шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы сказать: «да, я сделал все, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

— Поди ты, братец, с своим трудом! — сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица.— И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или все равно для своих жученят; не все так счастливы... попробовал бы ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару,

Никто за это и спасиба не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, все трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..

— Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь,— возразил им кузнечик.— Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, что есть мир, а вы говорите о своем навозном шаре; это даже невежливо. Мир — мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нем есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с нею-то вижу, что миру нет конца.

— Верно,— глубокомысленно подтвердил гнедой.— Но всем вам все-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своем веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве,— это такой город, двадцать восемь верст отсюда,— так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом... А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже... Да только куда вам понять все это!.. Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да все-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это все равно что для человека семьдесят седьмой.

— Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними,— сказала улитка.— Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он все еще не кончается. А за этим лопухом есть еще лопух, а в том лопухе, наверно, сидит еще улитка. Вот вам и все. И прыгать никуда не нужно — все это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором си-

дишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит, и больше ничего.

— Нет, позвольте, отчего же? — перебил кузнечик.— Потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница...

— Ах нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! — жалобно воскликнула гусеница.— Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

— Для какой там еще будущей жизни? — спросил гнедой.

— Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?

Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.

— К твердым убеждениям нужно относиться с уважением,— затрещал наконец кузнечик.— Не желает ли кто сказать еще что-нибудь? Может быть, вы? — обратился он к мухам, и старшая из них ответила:

— Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

— Господа,— сказала ящерица,— я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны...

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле.

Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мухи улетели обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньем маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причем приговаривал: «ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой ответил только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколь-

ко времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

— Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.

И она была совершенно права.

1882

Из воспоминаний рядового Иванова

I

Четвертого мая тысяча восемьсот семьдесят седьмого года я приехал в Кишинев и через полчаса узнал, что через город проходит 56-я пехотная дивизия. Так как я приехал с целью поступить в какой-нибудь полк и побывать на войне, то седьмого мая, в четыре часа утра, я уже стоял на улице в серых рядах, выстроившихся перед квартирой полковника 222-го Старобельского пехотного полка. На мне была серая шинель с красными погонами и синими петлицами, кепи с синим околышем; за спиною ранец, на поясе патронные сумки, в руках тяжелая крынковская винтовка.

Музыка грянула: от полковника выносили знамена. Раздалась команда; полк беззвучно сделал на караул. Потом поднялся ужасный крик: скомандовал полковник, за ним батальонные и ротные командиры и взводные унтер-офицеры. Следствием всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движение серых шинелей, кончившееся тем, что полк вытянулся в длинную колонну и мерно зашагал под звуки полкового оркестра, гремевшего веселый марш. Шагал и я, стараясь попадать в ногу и идти наравне с соседом. Ранец тянул назад, тяжелые сумки — вперед, ружье соскакивало с плеча, воротник серой шинели тер шею; но, несмотря на все эти маленькие неприятности, музыка, стройное, тяжелое движение колонны, раннее свежее утро, вид щетины штыков, загорелых и суровых лиц настраивали душу твердо и спокойно.

У ворот домов, несмотря на раннее утро, толпился народ; из окон глядели полураздетые фигуры. Мы шли по длинной прямой улице, мимо базара, куда уже начали

съезжаться молдаване на своих воловьих возах; улица поднималась в гору и упиралась в городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывал дождик; деревья кладбища виднелись в тумане; из-за мокрых ворот и стены выглядывали верхушки памятников. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И казалось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоумении. «Зачем идти вам, тысячам, за тысячи верст умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть покойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами? Останьтесь!»

Но мы не остались. Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.

За кладбищем открылась широкая и глубокая долина, уходившая из глаз в туман. Дождь пошел сильнее; кое-где, далеко-далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч; тогда косые и прямые полосы дождя сверкали серебром. По зеленым склонам долины ползли туманы; сквозь них можно было различить длинные, вытянувшиеся колонны войск, шедших впереди нас. Изредка блестели кое-где штыки; орудие, попав в солнечный свет, горело несколько времени яркою звездочкою и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее; дождь шел чаще. Через час после выступления я почувствовал, как струйка холодной воды побежала у меня по спине.

Первый переход был невелик: от Кишинева до деревни Гаурени всего восемнадцать верст. Однако с непривычки нести на себе фунтов двадцать пять — тридцать груза я, добравшись до отведенной нам хаты, сначала даже сесть не мог: прислонился ранцем к стене, да так и стоял минут десять в полной амуниции и с ружьем в руках. Один из солдат, идя на кухню за обедом, сжалившись надо мной, взял и мой котелок; но когда он пришел, то застал меня спящим глубоким сном. Я проснулся только в четыре часа утра от нестерпимо резких звуков рожка, игравшего генерал-марш, и через пять минут снова шагал по грязной глинистой дороге под мелко сыпавшим, точно сквозь сито, дождиком. Передо мною двигалась чья-то се-

рая спина с навьюченным на нее бурым телячьим ранцем, побрякивавшим железным котелком и ружьем на плече; с боков и сзади тоже шли такие же серые фигуры. Первые дни я не мог отличить их друг от друга. 222-й пехотный полк, куда я попал, состоял большею частью из вятских (вячких, как они говорили) и костромских мужиков. Всё широкие, скуластые лица, побуревшие от холода; серые небольшие глаза, белокурые, бесцветные волосы и бороды. Хотя я и помнил несколько фамилий, но кому они принадлежат — не знал. Через две недели я не мог понять, как я мог смешивать двух своих соседей: одного, шедшего рядом со мною, и другого, шедшего рядом с обладателем серой спины, бывшей постоянно перед моими глазами. Я безразлично называл их Федоровым и Житковым и постоянно ошибался, а между тем они были совершенно не похожи друг на друга.

Федоров, ефрейтор, был молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, стройно, даже изящно сложенный. У него было правильное, будто выточенное лицо, с очень красиво очерченными носом, губами и подбородком, покрытым белокурой курчавой бородкой, и с веселыми голубыми глазами. Когда кричали: «песенники, вперед!», он бывал запевалой нашей роты и чисто выводил грудным тенором, на высоких нотах прибегая к высочайшему фальцету:

...Царя тре-е-буют в сенат!

Он был уроженец Владимирской губернии, с детства попавший в Петербург. Что редко случается, петербургская «образованность» не испортила его, но только отшлифовала, научив, между прочим, читать газеты и говорить всякие мудреные слова.

— Конечно, Владимир Михайлович,— говорил он мне,— я могу иметь рассуждения больше, чем дядя Житков, так как Питер оказал на меня свое влияние. В Питере цивилизация, а у них в деревне одно незнание и дикость. Но, однако, как они человек пожилой и, можно сказать, виды видевший и перенесший различные превратности судьбы, то я не могу на них орать, например. Ему сорок, а мне двадцать третий. Хотя я в роте и ефрейтор.

Дядя Житков — коренастый, необыкновенной силы мужик, всегда мрачного вида. Лицо у него было темное, скуластое, глаза маленькие, смотревшие исподлобья. Он никогда не улыбался и редко говорил. Он был плотник по

ремеслу и находился в бессрочном отпуску, когда мобилизировали нашу армию. До чистой отставки ему оставалось всего несколько месяцев; началась война, и Житков пошел в поход, оставив дома жену и пятерых ребятишек. Несмотря на непривлекательную наружность и вечную мрачность, в нем было что-то влекущее, доброе и сильное. Теперь мне кажется совершенно непонятным, как я мог смешивать этих соседей, но в первые два дня оба мне казались одинаковыми: серыми, навьюченными, уставшими и продрогшими.

Всю первую половину мая шли непрерывные дожди, а мы двигались без палаток. Бесконечная глинистая дорога подымалась на холм и спускалась в овраг чуть ли не на каждой версте. Идти было тяжело. На ногах комья грязи, серое небо низко повисло, и беспрерывно сеет на нас мелкий дождь. И нет ему конца, нет надежды, придя на ночлег, высушиться и отогреться: румыны не пускали нас в жилье, да им и негде было поместить такую массу народа. Мы проходили город или деревню и становились где-нибудь на выгоне.

— Стой... Составь!

И приходилось, поевши горячей похлебки, укладываться прямо в грязь. Снизу вода, сверху вода; казалось, и тело все пропитано водой. Дрожишь, кутаешься в шинель, понемногу начинаешь согреваться влажною теплотой и крепко засыпаешь опять до проклинаемого всеми генерал-марша. Снова серая колонна, серое небо, грязная дорога и печальные мокрые холмы и долины. Людям приходилось трудно.

— Растворились все хляби небесные,— со вздохом говорил наш полувзводный унтер-офицер Карпов, старый солдат, сделавший хивинский поход.— Мокнем, мокнем без конца.

— Высохнем, Василь Карпыч! Вот солнышко выглянет, всех высушит. Поход долог: поспеем и высохнуть и вымокнуть, пока дойдем. Михайлыч! — обращается сосед ко мне.— Далече ли до Дунаю-то?

— Недели три еще пройдем.

— Три недели! Да две идем вот...

— Идем к черту в лапы,— проворчал дядя Житков.

— Чего ты там, старый черт, ворчишь? Народ смущаешь! К какому черту в лапы? Почему ты такое произносишь?

— На праздник, что ли, идем? — огрызнулся Житков.

— Не на праздник, а как должны исполнять присягу!.. Ты что, когда присягал, говорил? «Не щадя живота!..» А! Старый дурак! Ты смотри у меня!

— Что ж я сказал, Василь Карпыч! Нешто не иду! Помирать так помирать... все одно...

— То-то! Поговори еще!

Житков молчит; лицо его становится еще мрачнее. Да и всем вообще не до разговоров: идти было слишком тяжело. Ноги скользят, и люди часто падают в липкую грязь. Крепкая ругань раздается по батальону. Один Федоров не вешает носа и без устали рассказывает мне историю за историей о Петербурге и деревне.

Однако всему бывает конец. Однажды, проснувшись утром на бивуаке около деревни, где была назначена дневка, я увидел голубое небо, белые мазанки и виноградники, ярко залитые утренним солнцем, услышал повеселевшие, живые голоса. Все уже встали, обсушились и отдыхали от тяжелого полуторанедельного похода под дождем без палаток. Во время дневки привезли и их. Солдаты тотчас же принялась натягивать их, и, устроив все как следует, забив колышки и натянув полотнища, почти все улеглись под тень.

— От дождя не помогли, от солнышка сберегут.

— Да, чтобы личико у барина не почернело,— пошутил Федоров, лукаво подмигивая в мою сторону.

II

В нашей роте было всего два офицера: ротный командир — капитан Заикин и субалтерн-офицер — прапорщик Стебельков. Ротный был человек средних лет, толстенький и добрый; Стебельков — юноша, только что выпущенный из училища. Жили они дружно; капитан приголубил прапорщика, поил и кормил его, а во время дождей даже прикрывал под своим единственным гуттаперчевым плащом. Когда роздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские палатки были просторны, то капитан решил поселить с собою и меня.

Утомленный бессонною ночью (накануне наша рота была назначена к обозу, и мы всю ночь вытаскивали его из рытвин и даже вывозили при помощи «Дубинушки» из разлившейся речки), я крепко уснул после обеда. Денщик ротного командира разбудил меня, осторожно трогая за плечо.

— Барин Иванов! Барин Иванов! — шептал он, как будто не хотел разбудить меня, а напротив, всеми силами старался не нарушить моего сна.

— Что вам?

— Ротный требуют. — И, видя, что я надеваю портупею со штыком, прибавил: — Они сказали: веди в чем есть.

В палатке Заикина собралась целая компания. Кроме хозяев было еще два офицера: полковой адъютант и командир стрелковой роты Венцель. В 1877 году батальон состоял не из четырех, как теперь, а из пяти рот; на походе стрелковая рота шла сзади, так что наша рота своими последними рядами соприкасалась с ее первыми. Мне приходилось идти почти между стрелками, и я уже несколько раз слышал от них самые дурные отзывы о штабс-капитане Венцеле. Все четверо сидели вокруг ящика, заменявшего стол и занятого самоваром, посудою и бутылкою, и пили чай.

— Господин Иванов! Пожалуйте, пожалуйте! — закричал капитан. — Никита! Чашку, кружку, стакан, что там у тебя есть! Подвинься, Венцель; пусть он присаживается.

Венцель встал и весьма любезно поклонился. Это был сухощавый, небольшого роста молодой человек, бледный и нервный.

«Какие у него беспокойные глаза и какие тонкие губы!» — пришло мне тогда в голову.

Адъютант, не вставая, протянул мне руку.

— Лукин, — коротко отрекомендовался он.

Мне было неловко. Офицеры молчали; Венцель прихлебывал чай с ромом; адъютант пыхтел коротенькой трубкой; прапорщик Стебельков, кивнув мне головою, продолжал читать растрепанный том какого-то переводного романа, совершившего в его чемодане поход из России за Дунай и вернувшегося впоследствии в еще более растрепанном виде в Россию. Хозяин налил большую глиняную кружку чаю и влил в него огромную порцию рому.

— Нате-ка, господин студент! Вы на меня не сердитесь: я человек простой. Да и все мы здесь, знаете, люди простые. А вы человек образованный; значит, должны нас извинить. Так, что ли?

И он своею огромною рукою схватил мою руку сверху, как хищная птица хватает добычу, и несколько раз потряс ее в воздухе, нежно смотря на меня выпученными и округлившимися маленькими глазами.

— Вы студент? — спросил Венцель.

— Да, бывший, господин капитан.

Он улыбнулся и поднял на меня свой беспокойный взор. Мне вспомнились солдатские рассказы, но в ту минуту я усомнился в их правдивости.

— Зачем это «господин капитан»? Здесь, в палатке, вы свой между своими. Здесь вы просто интеллигентный человек между такими же,— тихо сказал он.

— Интеллигентный, это верно! — закричал Заикин.— Студент! Люблю студентов, хоть они и бунтовщики. Сам был бы студентом, если бы не судьба.

— Какая ж такая у тебя особенная судьба, Иван Платоныч? — спросил адъютант.

— Да приготовиться никак не мог. Ну, математика еще туда-сюда, а уж насчет другого чего — не идет, да что хочешь. Словесность эта... Правописание... Так и в юнкерском училище писать не научился. Ей-богу!

— Знаете, господин студент,— сказал адъютант между двумя огромными выпущенными им клубами дыма,— как Иван Платоныч в слове «еще» четыре ошибки делает?

— Ну, ну, не ври, тетенька! — Заикин отмахнулся рукой.

— Право, не вру. «И», «эс», «ша», «о» — как это вам покажется?

И адъютант громко расхохотался.

— Дери глотку. Сам тоже... еще адъютант! «Стол» через ять пишет.

Адъютант совсем залился; прапорщик Стебельков, только что хлебнувший чаю, прыснул им на свой роман и потушил одну из двух свечей, освещавших палатку; я тоже не мог удержаться от смеха. Иван Платоныч, более всех довольный своей остротой, гремел раскатами басистого хохота. Один Венцель не смеялся.

— Так словесность, Иван Платоныч? — по-прежнему тихо спросил он.

— Словесность, словесность... Ну, и прочее. Знаете, как некто географию прошел до «экватора», а историю до «эры». Да нет! Это все ерунда, не в том дело. А просто деньжонки водились, ну и прожигал жизнь. Ведь я, Иванов... позвольте имя и отчество?..

— Владимир Михайлыч.

— Владимир Михайлыч! Ладно... Ведь я беспутная голова был смолоду. Чего только не выкидывал! Ну, знаете,

как в песне поется: «жил я, мальчик, веселился и имел свой капитал; капиталу, мальчик, я решился и в неволю жить попал». Поступил юнкером в сей славный, хотя глубоко армейский полк; послали в училище, кончил с грехом пополам, да вот и тяну лямку второй десяток лет. Теперь вот на турку прем. Выпьемте, господа, натурального. Стоит ли его чаем портить? Выпьем, господа «пушечное мясо».

— Chair à canon,— перевел Венцель.

— Пускай шер а канон, пускай по-французски. Капитан у нас умный, Владимир Михайлыч: языки знает и разные немецкие стишки наизусть долбит. Слушайте, юноша! Я вас затем позвал, чтобы предложить вам перебраться ко мне в палатку. Там ведь вам вшестером с солдатами тесно и скверно. Насекомые. Все-таки у нас лучше...

— Благодарю вас, только позвольте отказаться.

— Это отчего? Вздор! Никита! Тащи его ранец! Вы в которой палатке?

— Вторая с правой стороны. Только все-таки позвольте мне остаться там. Мне ведь с солдатами больше бывать приходится. Лучше уж совсем с ними.

Капитан внимательно посмотрел на меня, как будто бы хотел прочитать мои мысли. Подумав, он сказал:

— Вы что же, в дружбе с ними состоять хотите?

— Да, если это будет возможно.

— Верно. Не перебирайтесь. Уважаю.

И он сгреб своей ручищей мою руку и начал трясти ее в воздухе.

Немного времени спустя я распрощался с офицерами и вышел из палатки. Вечерело; люди одевались в шинели, приготовляясь к зоре. Роты выстроились на линейках, так что каждый батальон образовал замкнутый квадрат, внутри которого были палатки и ружья в козлах. В тот же день, благодаря дневке, собралась вся наша дивизия. Барабаны пробили зорю, откуда-то издалека послышались слова команды:

— Полки, на молитву, шапки долой!

И двенадцать тысяч человек обнажили головы. «Отче наш, иже еси на небеси»,— начала наша рота. Рядом тоже запели. Шестьдесят хоров, по двести человек в каждом, пели каждый сам по себе; выходили диссонансы, но мо-

литва все-таки звучала трогательно и торжественно. Понемногу начали затихать хоры; наконец далеко, в батальоне, стоявшем на конце лагеря, последняя рота пропела: «но избави нас от лукавого». Коротко пробили барабаны.

— Накройсь!

Солдаты укладывались спать. В нашей палатке, где, как и в других, помещалось шестеро на пространстве двух квадратных сажен, мое место было с краю. Я долго лежал, смотря на звезды, на костры далеких войск, слушая смутный и негромкий шум большого лагеря. В соседней палатке кто-то рассказывал сказку, беспрестанно повторяя слова «наконец того», произнося не «тово», а «того».

— Наконец того, приходит тот принц к своей супруге и начал ей про все говаривать. Наконец того, она... Лютиков, спишь, что ли?.. Ну, спи, Христос с тобой, господи, царица небесная... Преподобных отец наших...— шепчет рассказчик и стихает.

В офицерской палатке тоже говор. По освещенному изнутри полотну двигаются огромные и уродливые тени сидящих в палатке офицеров. Изредка слышен взрыв хохота: это заливается адъютант. По линейке ходит туда и сюда часовой с ружьем; напротив нас, на бивуаке недалеко стоящей артиллерии, тоже часовой, с обнаженной шашкой. Оттуда изредка слышен топот лошадей у коновязей, их фырканье, слышно, как они мирно жуют овес, с таким же добродушным шурханьем, какое мне случалось слышать не на войне, а где-нибудь на постоялом дворе на родине, в такую же тихую звездную ночь. Семь звезд Большой Медведицы блестели низко над горизонтом, гораздо ниже, чем у нас. Смотря на Полярную звезду, я думал, что именно в этом направлении должен быть Петербург, где я оставил мать, друзей и все дорогое. Над головою блестели знакомые созвездия; Млечный Путь не тускло светился, а сиял ясною, торжественно-спокойною полосою света. На юге какие-то большие звезды незнакомого, не видимого у нас созвездия горели, одна красным, другая зеленоватым огнем. Мне думалось: «Когда мы пойдем дальше, за Дунай, за Балканы, в Константинополь, увижу ли я тогда еще новые звезды? И какие они?»

Спать не хотелось; я встал и начал бродить по сырой траве между нашим батальоном и артиллерией. Темная

фигура поравнялась со мною, гремя саблею; по ее звуку я догадался, что это офицер, и вытянулся во фронт. Офицер подошел ко мне и оказался Венцелем.

— Не спится, Владимир Михайлыч? — спросил он мягким и тихим голосом.

— Не спится, господин капитан.

— Меня зовут Петр Николаевич... И мне тоже не спится. Сидел, сидел у вашего командира, надоело: засели за карты, да и перепились все... Ах, какая ночь!

Он пошел рядом со мною; дойдя до конца линейки, мы повернули назад и прошли несколько раз взад и вперед молча. Венцель начал первый.

— Скажите мне, вы пошли в поход по собственному желанию?

— Да.

— Что же влекло вас?

— Как вам сказать? — ответил я, не желая вдаваться в подробности.— Больше всего, конечно, желание поиспытать, посмотреть.

— И, вероятно, изучить народ в лице его представителя — солдата? — спросил Венцель.

Было темно, и я не видел выражения его лица, но слышал в голосе иронию.

— Куда уж тут изучать! До изучения ли, когда думаешь только о том, как бы дойти до привала да заснуть!

— Нет, без шуток. Скажите мне, отчего вы не перебрались к вашему командиру? Неужели вы дорожите мнением этого мужичья?

— Конечно, дорожу, как мнением всех, кого у меня нет причины не уважать.

— Не имею причины вам не верить. Да, впрочем, ведь теперь такая полоса нашла. И литература и та возводит мужика в какой-то перл творения.

— Кто говорит о перлах творения, Петр Николаевич! Признавали бы человека, и то ладно.

— Ах, полноте, пожалуйста, с жалкими словами! Кто его не признает? Человек? ну, пусть будет человек. Какой — это другой вопрос... Давайте поговорим о другом.

Мы действительно разговорились. Венцель, видимо, очень много читал и, как сказал Заикин, знал и языки. Замечание капитана о том, что он «стихи долбит», тоже оказалось верным: мы заговорили о французах, и Венцель, обругав натуралистов, перешел к сороковым и три-

дцатым годам и даже с чувством продекламировал «Декабрьскую ночь» Альфреда де Мюссе. Он читал хорошо: просто, и выразительно, и с хорошим французским выговором. Кончив, он помолчал и прибавил:

— Да, это хорошо; но все французы вместе не стоят десяти строк Шиллера, Гете и Шекспира.

Заведуя полковой библиотекой, пока не принял роту, он прилежно следил и за русской литературой. Говоря о ней, он строго осудил, как он выразился, «сиволапое направление». От этого замечания разговор вернулся к прежнему предмету. Венцель спорил горячо.

— Когда я, почти мальчиком, поступил в полк, я не думал того, что говорю вам теперь. Я старался действовать словом, я старался приобрести нравственное влияние. Но прошел год, и они вытянули из меня все жилы. Все, что осталось от так называемых хороших книжек, столкнувшись с действительностью, оказалось сентиментальным вздором. И теперь я думаю, что единственный способ быть понятным — вот!

Он сделал какой-то жест рукою. Было так темно, что я не понял его.

— Что ж это, Петр Николаич?

— Кулак! — отрезал он.— Прощайте, однако, пора спать.

Я сделал ему под козырек и побрел к своей палатке. Мне было и больно и противно.

В палатке, казалось, уже все спали; но минуты через две после того, как я лег, Федоров, спавший рядом со мною, тихо спросил:

— Михайлыч, спите?

— Нет, не сплю.

— С Венцелем ходили?

— С ним самым.

— Что ж, он с вами как? Смирный?

— Ничего, смирный, даже любезен.

— Ишь ты ведь! Что значит свой брат, барин! Не то что с нами.

— А что? Разве очень сердит?

— И-и-и... беда! Трещат скулы во второй стрелковой. Зверь!

И он сейчас же уснул, так что в ответ на мой следующий вопрос я услышал только его ровное и спокойное дыхание. Я завернулся в шинель; в голове все спуталось и исчезло в крепком сне.

III

За дождями наступили жары. Около этого времени мы вышли с проселка, где ноги вязли в расползавшейся почве, на большое шоссе, ведущее из Ясс в Бухарест. Первый наш переход по шоссе, от Текуча к Берладу, навсегда останется в памяти сделавших его. Было тридцать пять градусов в тени; переход был сорок восемь верст. Было тихо; мелкая известковая пыль, подымаемая тысячами ног, стояла над шоссе; она лезла в нос и рот, пудрила волосы, так что нельзя было разобрать их цвета; смешанная с пóтом, она покрывала все лица грязью и превратила всех в негров. Почему-то мы шли тогда не в рубахах, а в мундирах. Солнце нагревало черное сукно, невыносимо пекло головы сквозь черные кепи; ноги чувствовали сквозь подошву раскаленный щебень шоссе. Люди задыхались. На беду колодцы были редки, и в большей части их было так мало воды, что голова нашей колонны (шла целая дивизия) вычерпывала всю воду и нам после страшной давки и толкотни у колодцев доставалась только глинистая жидкость, скорее грязь, чем вода. Когда не хватало и ее, люди падали. В этот день в одном нашем батальоне упало на дороге около девяноста человек. Трое умерло от солнечного удара.

Я выносил эту пытку сравнительно с другими легко. Может быть, потому, что наш полк был набран большею частью из северян, а я с детства привык к степным жарам; а может быть, тут действовала и иная причина. Мне случалось заметить, что простые солдаты вообще принимают физические страдания ближе к сердцу, чем солдаты из так называемых привилегированных классов (говорю только о тех, кто пошел на войну по собственному желанию). Для них, простых солдат, физические беды были настоящим горем, способным наводить тоску и вообще мучить душу. Те же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдат из простых людей,— вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и проч.,— но душевно были спокойнее. Душевный мир их не мог быть нарушен избитыми в кровь ногами, невыносимым жаром и смертельною усталостью. Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды и шел под пули убивать людей.

Дико и странно может показаться все это, но я пишу одну правду.

Как бы то ни было, когда другие падали на дороге, я все-таки еще помнил себя. В Текуче я запасся огромною тыквенною кубышкою, в которую входило по крайней мере бутылки четыре. Дорогой мне пришлось не раз наполнять ее водой; половину этой воды я выливал в себя, другую раздавал соседям. Идет человек, перемогается, но жара берет свое: ноги начинают подгибаться, тело качается, как у пьяного; сквозь слой грязи и пыли видно, как багровеет лицо; рука судорожно стискивает винтовку. Глоток воды оживляет его на несколько минут, но в конце концов человек без памяти валится на пыльную и жесткую дорогу. «Дневальный!» — кричат хриплые голоса. Обязанность дневального — оттащить упавшего в сторону и помочь ему; но и сам дневальный почти в таком же состоянии. Канавы по сторонам шоссе усеяны лежащими людьми... Федоров и Житков идут рядом со мною и хотя видимо страдают, но крепятся. Жара произвела на них действие сообразно с их характерами, но только в обратную сторону: Федоров молчит и только иногда тяжело вздыхает, жалобно посматривая своими прекрасными, а теперь воспаленными от пыли глазами; дядя Житков ругается и резонерствует.

— Ишь, валится... Штыком заденешь, че-о-рт! — сердито кричит он, отклоняясь от штыка упавшего солдата, который чуть не попал ему острием в глаз.— Господи! Царица небесная! За что ты на нас посылаешь? Кабы не живодер этот, и сам бы, кажись, упал.

— Кто живодер, дядя? — спрашиваю я.

— Немцев, штабс-капитан. Нонче он дежурный, сзади идет. Лучше идти, а то так отработает... Места живого не оставит.

Я знал уже, что солдаты переделали фамилию «Венцель» в «Немцев». Выходило и похоже и по-русски.

Я вышел из рядов. В сторонке от шоссе идти было немного легче: не было такой пыли и толкотни. Сторонкой шли многие; в этот несчастный день никто не заботился о сохранении правильного строя. Понемногу я отстал от своей роты и очутился в хвосте колонны.

Венцель, измученный, задыхающийся, но возбужденный, догнал меня.

— Каково? — спросил он осипшим голосом.— Пройдемтесь стороною. Я совершенно измучен.

— Хотите воды?

Он жадно выпил несколько больших глотков из моей кубышки.

— Благодарю. Легче стало. Ну, денек!

Несколько времени мы шли рядом молча.

— Кстати,— сказал он,— вы так и не перебрались к Ивану Платонычу?

— Нет, не перебрался.

— Глупо. Извините за откровенность. До свиданья; мне надо в хвост колонны. Что-то уж очень много этих нежных созданий падает.

Пройдя несколько шагов и повернув голову назад, я увидел, что Венцель наклонился над упавшим солдатом и тащит его за плечо.

— Вставай, каналья! Вставай!

Я не узнал своего образованного собеседника. Он сыпал грубыми ругательствами без перерыва. Солдат был почти без чувств, но открыл глаза и с безнадежным выражением смотрел на взбешенного офицера. Губы его шептали что-то.

— Вставай! Сейчас же вставай! А! Ты не хочешь? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Венцель схватил свою саблю и начал наносить ее железными ножнами удар за ударом по измученным ранцем и ружьем плечам несчастного. Я не выдержал и подошел к нему.

— Петр Николаевич!

— Вставай!..— Рука с саблею еще раз поднялась для удара. Я успел крепко схватить ее.

— Бога ради, Петр Николаевич, оставьте его!

Он обернул ко мне разъяренное лицо. С выкатившимися глазами и с судорожно искривленным ртом, он был страшен. Резким движением он вырвал свою руку из моей. Я думал, что он разразится на меня грозой за мою дерзость (схватить офицера за руку действительно было крупною дерзостью), но он сдержал себя.

— Слушайте, Иванов, не делайте этого никогда! Если б на моем месте был какой-нибудь бурбон, вроде Щурова или Тимофеева, вы бы дорого заплатили за вашу шутку. Вы должны помнить, что вы рядовой и что вас за подобные вещи могут без дальних слов расстрелять!

— Все равно. Я не мог видеть и не вступиться.

— Это делает честь вашим нежным чувствам. Но прилагаете вы их не в том месте. Разве можно иначе с этими... (Его лицо выразило презрение, даже больше, какую-то ненависть.) Из этих десятков свалившихся, как бабы, может быть, только несколько человек действительно изнемогли. Я делаю это не из жестокости — во мне ее нет. Нужно поддерживать спайку, дисциплину. Если б с ними можно было говорить, я бы действовал словом. Слово для них — ничто. Они чувствуют только физическую боль.

Я не дослушал его и пустился догонять свою уже далеко ушедшую роту. Я догнал Федорова и Житкова, когда наш батальон свели с шоссе на поле и скомандовали остановиться.

— Что это вы, Михайлыч, с штабс-капитаном Венцелем говорили? — спросил Федоров, когда я в изнеможении упал возле него, едва успев поставить ружье.

— Говорил! — пробурчал Житков.— Нешто так говорят? Он его за руку схватил. Эх, барин Иванов, берегитесь Немцева, не смотрите, что он разговаривать с вами охоч, пропадете вы с ним ни за денежку!

IV

Поздно вечером мы добрались до Фокшан, прошли через неосвещенный безмолвный и пыльный городок и вышли куда-то в поле. Не было видно ни зги, кое-как поставили батальоны, и измученные люди уснули как убитые; никто почти не захотел есть приготовленного «обеда». Солдатская еда всегда «обед», случится ли она ранним утром, днем или ночью. Целую ночь подтягивались отсталые. На заре мы опять выступили, утешаясь тем, что через переход будет дневка.

Снова движущиеся ряды; ранец давит онемевшие плечи, снова болят истертые и налившиеся кровью ноги. Но первые десять верст почти ничего не сознаешь. Короткий сон не может уничтожить усталости вчерашнего дня, и люди шагают совсем сонные. Мне случалось спать на ходу до такой степени крепко, что, остановившись на привале, я не верил, что мы уже прошли десять верст, и не помнил ни одного места из пройденного пути. Только когда перед привалом колонны начинают подтягиваться и перестраиваться для остановки, просыпаешься и с радостью думаешь о целом часе отдыха, когда можно развью-

читься, вскипятить воду в котелке и полежать на свободе, попивая горячий чай. Как только ружья поставлены и ранцы сняты, большая часть людей принимается собирать топливо — почти всегда сухие стебли прошлогодней кукурузы. В землю втыкаются два штыка; на них кладется шомпол, а на него вешаются два или три котелка. Сухие рыхлые стебли горят ясно и весело; раскладывают их всегда с надветренной стороны; пламя лижет закопченные котелки, и через десять минут вода бьет ключом. Чай бросали прямо в кипяток и давали ему вывариться: получалась крепкая, почти черная жидкость, которую пили большею частью без сахара, так как казна, выдававшая очень много чая (его даже курили, когда не хватало табаку), давала очень мало сахара, и пили в огромном количестве. Котелок, в который входило семь стаканов, составляет обыкновенную порцию для одного.

Может быть, странным покажется, что я так распространяюсь о мелочах. Но солдатская походная жизнь так тяжела, в ней столько лишений и мучений, впереди так мало надежды на хороший исход, что и какой-нибудь чай или тому подобная маленькая роскошь составляли огромную радость. Нужно было видеть, с какими серьезными и довольными лицами загорелые, грубые и суровые солдаты, молодые и старые,— правда, старше сорока лет между нами почти не было,— точно дети, подкладывали под котелки палочки и стебельки, поправляли огонь и советовали друг другу:

— Ты, Лютиков, туды, туды, к краю ее суй! Так!.. пошла, пошла... занялась. Ну, сейчас закипит!

Чай, изредка, в холодную и дождливую погоду, чарка водки да трубка табаку — вот и вся солдатская отрада, не считая, конечно, всеисцеляющего сна, когда можно забыться и от телесных невзгод и от мыслей о темном, страшном будущем. Табак играл не последнюю роль среди этих благ жизни, возбуждая и поддерживая утомленные нервы. Туго набитая трубка обходила человек десять и возвращалась к хозяину, который затягивался в последний раз, выколачивал золу и важно прятал трубку за голенище. Помню, как огорчила меня потеря моей трубки одним из приятелей, которому я дал ее покурить, и как сам он был огорчен и пристыжен. Точно будто он потерял целое врученное ему состояние.

На большом привале (около полудня) мы отдыхали часа полтора-два. После чаепития обыкновенно все засы-

пало. На бивуаке тишина; только часовой у знамени ходит взад и вперед да не спит кое-кто из офицеров. Лежишь на земле, положив ранец под голову, и не то спишь, не то бодрствуешь; горячее солнце палит лицо и шею, мухи надоедливо кусают и не дают уснуть как следует. Грезы мешаются с действительностью; так недавно еще жил жизнью, совершенно непохожей на эту, что в полубессознательной дремоте все кажется, что вот-вот проснешься, очнешься дома в привычной обстановке и исчезнет эта степь, эта голая земля с колючками вместо травы, это безжалостное солнце и сухой ветер, эта тысяча странно одетых в белые запыленные рубахи людей, эти ружья в козлах. Все это так похоже на тяжелый, странный сон...

— Встава-а-ать! — протяжно и сурово командует сильным голосом наш маленький бородатый батальонный командир, майор Черноглазов.

И лежащая толпа белых рубах шевелится; кряхтя и потягиваясь, подымаются люди, надевают сумки и ранцы и выстраиваются в ряды.

— В ружье!

Мы разбираем ружья. До сих пор хорошо помню я свою винтовку № 18 635 с прикладом немного темнее, чем у других, и длинной царапиной по темному лаку. Еще команда — и батальон, вытягиваясь, поворачивает на дорогу. Впереди всех ведут коня командира, гнедого жеребца Ва́рвара; он выгибает шею, и играет, и бьет копытами; майор садится на него только в крайних случаях, постоянно шагая во главе батальона за своим Ва́рваром ровным шагом настоящего пехотинца. Он показывает солдатам, что и начальство тоже «старается», и солдаты любят его за это. Он всегда хладнокровен и спокоен, никогда не шутит и не улыбается; подымается утром раньше всех, ложится вечером последним; обращается с людьми твердо и сдержанно, не позволяя себе драться и кричать без толку. Говорят, что если бы не майор, то Венцель не то бы еще делал.

Сегодня жарко, но не так, как вчера. К тому же мы идем уже не по шоссе, а рядом с железной дорогой, по узкому проселку, так что бо́льшая часть движется по траве. Пыли нет; набегают тучи: нет-нет да и капнет редкая крупная капля. Мы смотрим на небо, выставляем руки, пробуя, не идет ли дождь. Даже вчерашние отсталые приободрились; идти уже недалеко, каких-нибудь десять верст, а там отдых, вожделенный отдых, в котором

пройдет не одна короткая ночь, а ночь, целый день и еще ночь. Развеселившимся людям хочется петь; Федоров заливается среди песенников; слышна знаменитая:

И было дело под Полтавой...

Пропев, как «вдруг одна злодейка-пуля в шляпу царскую впилась», он затягивает бессмысленную и непристойную, но самую популярную у солдат песню о том, как какая-то Лиза, пойдя в лес, нашла черного жука и что из этого вышло. Затем еще историческая песня про Петра, как его требуют в сенат. И в довершение всего доморощенная песня нашего полка:

Как приехал белый царь, Александра-государь.
Вы, ребята, подтянитесь, пред царем подбодритесь!
Мы приемы отхватали, благодарность получали,

. . . .

Батальонный командир, Черноглазов господин,
Он не спал, не дремал, батальон свой обучал,
Он на лошади сидел, никого знать не хотел.

И так далее, стихов пятьдесят.

— Федоров! — спросил я однажды,— зачем вы несете эту чепуху об Лизе? — Я назвал еще несколько песен, нелепых и циничных до такой степени, что самый цинизм их терял всякое значение и являлся в виде совершенно бессмысленных звуков.

— Повелось так, Владимир Михайлыч. Да что! Разве это пенье? Это так, вроде крику для моциону груди. Ну и идти веселей.

Устанут песенники, начнут играть музыканты. Под мерный, громкий и большею частью веселый марш идти гораздо легче; все, даже самые утомленные, приосанятся, отчетливо шагают в ногу, сохраняют равнение: батальон узнать нельзя. Помню, однажды мы прошли под музыку больше шести верст в один час, не замечая усталости; но когда измученные музыканты перестали играть, вызванное музыкою возбуждение исчезло, и я почувствовал, что вот-вот упаду, да и упал бы, не случись вовремя остановка на отдых.

Верст через пять после привала нам встретилось препятствие. Мы шли долиною какой-то речки; с одной стороны были горы, с другой — узкая и довольно высокая насыпь железной дороги. Недавно прошедшие дожди затопили долину, образовав на нашем пути большую лужу, сажен в тридцать шириною. Полотно железной дороги воз-

вышалось на ней плотиной, и нам пришлось проходить по нем. Будочник железной дороги пропустил первый батальон, который благополучно перебрался на ту сторону лужи, но затем объявил, что через пять минут пойдет поезд и что нам нужно ждать. Мы остановились и только что составили ружья, как на повороте дороги показалась знакомая коляска бригадного генерала.

Наш бригадный генерал был человек бравый. Горла, подобного тому, которым он владел, мне никогда не случалось встречать ни на оперных сценах, ни в архиерейских хорах. Раскаты его баса гремели в воздухе подобно трубному звуку, и его крупная, тучная фигура с красной толстой головой, сизыми огромными, развевающимися по ветру бакенбардами, с черными толстыми бровями над маленькими, блестевшими, как угли, глазами, когда он, сидя на коне, командовал бригадой, была самая внушительная. Однажды, на Ходынском поле в Москве, во время каких-то военных упражнений, он выказал себя до такой степени воинственным и бравым, что привел в совершенный восторг стоявшего в толпе старого мещанина, который при этом воскликнул:

— Молодчага! Нам таких и надо!

С тех пор за генералом навсегда утвердилось прозвание «молодчаги».

Он мечтал о подвигах. Несколько томиков по военной истории сопровождали его во весь поход. Любимым разговором его с офицерами была критика наполеоновских кампаний. Об этом я, конечно, знал только по слухам, так как очень редко видывал нашего генерала; большею частью он обгонял нас на середине перехода в своей коляске, запряженной хорошею тройкою, приезжал на место ночлега, занимал квартиру и оставался там до позднего утра, а днем снова обгонял нас, причем солдаты всегда обращали внимание на степень багровости его лица и большую или меньшую хриплость, с какою он оглушительно кричал нам:

— Здорово, старобельцы!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — отвечали солдаты и при этом прибавляли:

— Опохмеляться едет молодчага!

И генерал проезжал дальше иногда без всяких последствий, а иногда задав громоподобную головомойку какому-нибудь ротному командиру.

Завидев остановившийся батальон, генерал подлетел к

нам и выскочил из коляски так скоро, как только позволяла ему его тучность. Майор быстро подошел к нему.

— Что такое? Почему остановились? Кто позволил?

— Ваше превосходительство, залило дорогу, а по полотну сейчас должен пройти поезд.

— Залило дорогу? Поезд? Вздор! Вы приучаете солдат нежничать! Вы делаете из них баб! Без приказания не останавливаться! Я вас, милостивый государь, под арест...

— Ваше превосходительство...

— Не рассуждать!

Генерал грозно повел глазами и обратил свое внимание на другую жертву.

— Это что такое? Почему командир второй стрелковой роты не на месте? Штабс-капитан Венцель, пожалуйте сюда!

Венцель подошел. На него полился поток генеральского гнева. Я слышал, как он пробовал что-то ответить, возвысив голос, но генерал заглушил его, и можно было только догадаться, что Венцель сказал что-то непочтительное.

— Рассуждать?! Грубить?! — гремел генерал.— Молчать! Снимите с него саблю. К денежному ящику, под арест! Пример людям... Струсили лужи! Ребята, за мной! По-суворовски!

Генерал быстро прошел мимо батальона к воде неловкою походкой человека, долго ехавшего в экипаже.

— За мной, ребята! По-суворовски! — повторил он и пошел в своих лакированных ботфортах в воду. Майор с злобным выражением в лице оглянулся назад и пошел рядом с генералом. Батальон тронулся за ними. Воды сначала было по колено, потом по пояс, потом еще выше, высокий генерал шел свободно, но маленький майор уже барахтался руками. Солдаты, точно гурьба овец во время перегона через реку, толкались, вязли в размокшем дне, вырывая ноги, метались из стороны в сторону. Ротные командиры и батальонный адъютант, ехавшие верхом, которым можно было бы весьма удобно переехать через лужу, видя перед собой пример генерала, подъезжали к ней, спешивались и, ведя лошадей на поводу, вступали в грязную, взбудораженную сотнями солдатских ног воду. Наша рота, состоявшая из самых высоких в батальоне людей, переходила довольно удобно, но шедшая рядом с нами малорослая восьмая рота, где были всё люди двух —

четырех вершков, едва брела по уши в воде; некоторые даже захлебывались и хватались за нас. Маленький солдатик-цыган, с побледневшим лицом и широко раскрытыми черными глазами, ухватил дядю Житкова за шею обеими руками, бросив свое ружье; к счастью для цыгана, кто-то подхватил на лету казенное оружие и спас его от потопления. Сажен через десять лужа стала мельче, и все уже в безопасности спешили поскорее выбраться, толкались и ругались. У нас многие смеялись; солдатам восьмой роты было не до смеха: лица у многих посинели не от одного холода. Сзади напирали стрелки.

— Ну, карапузы, выбирайся! Потопли! — кричали они.

— Очень просто, что потонуть можно,— отзывались в восьмой роте.— Ему хорошо идти; ишь, только баки свои замочил. Ерой выискался! Тут народ перетопить можно.

— А ты бы ко мне в котелок сел. Сухоньким бы доставил.

— То-то и есть, братец, что не в догадку было,— благодушно отвечал на насмешку маленький солдатик.

Виновник всей этой суматохи, уже успевший вытащить ноги из вязкого дна и выйти из воды, величественно стоял на берегу, смотря на барахтавшуюся в воде массу людей. Он промок до последней нитки и действительно замочил себе и длинные баки. Вода текла по его одежде; полные воды лакированные голенища раздулись, а он все кричал, поощряя солдат:

— Вперед, ребята! По-суворовски!

Мокрые офицеры с мрачными лицами толпились вокруг него. Тут стоял и Венцель с искаженным лицом и уже без сабли. Между тем генеральский кучер, походив у берега и посовав в воду кнутовищем, сел на козлы и благополучно переехал через воду немного в стороне от того месте, где перешли мы; воды едва хватало по оси коляски.

— Вот где, ваше превосходительство, переходить нужно было,— спокойно сказал майор.— Прикажете людям обсушиться?

— Конечно, конечно, Сергей Николаич,— мирно ответил генерал. Холодная вода охладила его пыл. Он влез в коляску, сначала сел, потом опять встал и закричал во всю мочь своего богатырского голоса:

— Спасибо, старобельцы! Молодцами!

— Рады стараться, ваше превосходительство! — не-

стройно грянули солдаты. И мокрый генерал уехал вперед.

Солнце стояло еще высоко; идти оставалось только пять верст; майор сделал большой привал. Мы разделись, развели костры, обсушили платье, сапоги, ранцы, сумки, часа через два тронулись в путь, уже со смехом вспоминая купанье.

— А Венцеля-то молодчага под арест отправил! — сказал между прочим Федоров.

— Ничего, пущай его за денежным ящиком денька два походит,— отвечали сзади из стрелковой роты.

— Тебе-то что?

— Мне-то? Не то что мне, а всей роте легче. Хоть на два дня отдохнем. Мочи от него нет — вот мне что.

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— Терпеть надо, а атаманами-то уж разве на том свете будем,— проговорил Житков, по обыкновению, мрачным голосом.— Ежели турка подстрелит.

— А вы, дяденька, в отчаянность не впадайте. Вы то подумайте: вот мы с вами обсушились, сухонькие идем, а молодчага-то сырой катит,— сказал Федоров, и кругом все рассмеялись.

V

Мы шли всё рядом с железной дорогой; поезда, наполненные людьми, лошадьми и припасами, постоянно обгоняли нас. Солдаты с завистью смотрели на проносившиеся мимо нас товарные вагоны, из открытых дверей которых выглядывали лошадиные морды.

— Ишь ты, лошадям честь какая! А мы иди!

— Лошадь глупа, она с тела спадет,— резонерствовал на это Василий Карпыч.— А ты на то человек есть, чтобы себя соблюсти как следовает.

Однажды на привале к начальству прискакал казак с важным известием. Нас подняли и выстроили без ранцев и без оружия, в одних белых рубашках. Никто из нас не знал, зачем это делается. Офицеры осмотрели людей; Венцель, по обыкновению, кричал и ругался, дергая за дурно надетые кушаки и с пинками приказывая оправить рубахи. Потом нас повели к полотну железной дороги, и после довольно долгих построений полк вытянулся в две шеренги вдоль пути. На версту протянулась белая линия рубах.

— Ребята! — закричал майор.— Государь император проедет!

И мы начали ждать государя. Наша дивизия была довольно глухая, стоявшая вдали и от Петербурга и от Москвы. Из солдат разве только одна десятая часть видела царя, и все ждали царского поезда с нетерпением. Прошло полчаса; поезд не шел; людям позволили присесть. Начались рассказы и разговоры.

— Остановится? — спросил кто-то.

— Держи карман! Для каждого полка останавливаться! Поглядит на нас из окошечка, и то ладно.

— И не разберем, братцы, который: генералов-то с ним много едет.

— Я-то разберу. Я его на Ходынке в позапрошедшем году вот как видел.

И солдат протянул руку, чтобы показать, как близко он видел государя.

Наконец, после двухчасового ожидания, вдали показался дымок. Полк встал и выровнялся. Сначала прошел поезд с прислугою и кухнею. Повара и поваренки в белых колпаках выглядывали на нас из окон и чему-то смеялись. Саженях в двухстах шел царский поезд; машинист, видя выстроившийся полк, убавил хода, и вагоны, медленно громыхая, проходили перед глазами, жадно смотревшими на окна. Но все они были завешены: казак и офицер, стоявшие на площадке заднего вагона, были единственные люди на поезде, которых мы увидели. Мы посмотрели на уходивший быстрее и быстрее поезд, постояли еще минуты три и пошли на бивуак. Солдаты были разочарованы и выражали огорчение.

— В кои-то веки теперь его увидим!

Но мы увидели его скоро. Перед Плоешти нам сказали, что в этом городе нас будет смотреть государь.

Мы проходили перед ним, как были с похода, в тех же грязных белых рубахах и штанах, в тех же побуревших и запыленных сапогах, с теми же безобразно навьюченными ранцами, сухарными сумками и бутылками на веревочках. Солдат не имел в себе ничего щегольского, молодецкого или геройского; каждый был больше похож на простого мужика, только ружье да сумка с патронами показывали, что этот мужик собрался на войну. Нас построили в узкую колонну по четыре человека в шеренге: иначе нельзя было идти по узким улицам города. Я шел сбоку, старался больше всего не сбиться с ноги, держать равне-

ние и думал о том, что если государь со своей свитой будет стоять с моей стороны, то мне придется пройти перед его глазами и очень близко от него. Только взглянув на шедшего рядом со мною Житкова, на его лицо, как и всегда, суровое и мрачное, но взволнованное, я почувствовал, что и мне передается часть общего волнения, что сердце у меня забилось сильнее. И мне вдруг показалось, что от того, как посмотрит на нас государь, зависит для нас все. Когда мне впоследствии пришлось идти в первый раз под пули, я испытал чувство, близкое к этому.

Люди шли быстрее и быстрее; шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было приноравливаться к общему такту: усталость прошла. Точно крылья выросли и несли вперед, туда, где уже гремела музыка и раздавалось оглушительное «ура!». Не помню улиц, по которым мы шли, не помню, был ли народ на этих улицах, смотрел ли на нас; помню только волнение, охватившее душу, вместе с сознанием страшной силы массы, к которой принадлежал и которая увлекала тебя. Чувствовалось, что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и все уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды, и всякий хотел найти в слове этого одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. «Ты ведешь нас,— думал каждый,— тебе мы отдаем свою жизнь; смотри на нас и будь покоен: мы готовы умереть».

И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности. Он сидел на сером коне, недвижно стоявшем и насторожившем уши на музыку и бешеные крики восторга. Вокруг была пышная свита, но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо, истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми, блестящими каплями; помню судорожное

движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорящие что-то, должно быть, приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией, когда я, задыхаясь не от бега, а от нечеловеческого, яростного восторга, пробежал мимо него, подняв высоко винтовку одной рукой, а другой — махая над головой шапкой и крича оглушительное, но от общего вопля не слышное самому мне «ура!».

Все это промелькнуло и исчезло. Пыльные улицы, залитые палящим зноем; измученные возбуждением и почти беглым шагом на пространстве целой версты солдаты, изнемогающие от жажды; крик офицеров, требующих, чтобы все шли в строю и в ногу,— вот все, что я видел и слышал пять минут спустя. И когда мы прошли еще версты две душным городом и пришли на выгон, отведенный нам под бивуак, я бросился на землю, совершенно разбитый и телом и душою.

VI

Трудные переходы, пыль, жара, усталость, сбитые до крови ноги, коротенькие отдыхи днем, мертвый сон ночью, ненавистный рожок, будящий чуть свет. И всё поля, поля, непохожие на родные, покрытые высокою зеленою, громко шелестящею длинными шелковистыми листьями кукурузой или тучной пшеницей, уже начинавшей кое-где желтеть.

Те же лица, та же полковая походная жизнь, те же разговоры и рассказы о доме, о стоянке в губернском городе, пересуды об офицерах.

О будущем говорили редко и неохотно. Зачем шли на войну — знали смутно, несмотря на то, что целые полгода простояли недалеко от Кишинева, готовые к походу; в это время можно было бы объяснить людям значение готовящейся войны, но, должно быть, это не считалось нужным. Помню, раз спросил меня солдат:

— А что, Владимир Михайлыч, скоро ли в бухарскую землю придем?

Я подумал сначала, что ослышался, но когда он повторил вопрос, ответил, что бухарская земля за двумя морями, что до нее тысячи четыре верст и что вряд ли мы когда-нибудь попадем туда.

— Нет, Михайлыч, вы не так теперь говорите. Мне писарь сказывал. Перейдем, говорит, через Дунай, тут сейчас и будет бухарская земля.

— Так не бухарская — болгарская! — воскликнул я.

— Ну, бургарская, бухарская, как там ее по-вашему; не все одно, что ли?

И он замолчал, видимо, недовольный.

Знали мы только, что турку бить идем, потому что он много крови пролил. И хотели побить турку, но не столько за эту, неизвестно чью пролитую кровь, сколько за то, что он потревожил такое множество народа, что из-за него пришлось испытывать трудный поход («которую тысячу верст до него, поганого, тащимся!»), билетным солдатам побросать дома и семьи, а всем вместе идти куда-то под пули и ядра. Турка представлялся бунтовщиком, зачинщиком, которого нужно усмирить и покорить.

Гораздо больше, чем войной, мы занимались своими семейными — полковыми, батальонными и ротными — делами. В нашей роте все было тихо и спокойно; у стрелков дела шли хуже и хуже. Венцель не унимался; скрытое негодование росло и после одного случая, которого и теперь, через пять лет, я не могу вспомнить без тяжелого волнения, дошло до настоящей ненависти.

Мы только что прошли какой-то город и вышли на луг, где уже расположился шедший впереди нас первый полк. Местечко было хорошее: с одной стороны — река, с другой — старая чистая дубовая роща, вероятно, место гулянья для жителей города. Был хороший теплый вечер; солнце садилось. Полк стал; составили ружья. Мы с Житковым начали натягивать палатку; поставили столбики; я держал один край полы, а Житков палкой забивал колышек.

— Туже, туже держи, Михайлыч! (Он уже несколько дней тому назад начал говорить мне «ты».) Вот так, так.

Но в это время сзади послышались какие-то странные мерные, плескающие звуки. Я обернулся.

Стрелки стояли во фронте. Венцель, что-то хрипло крича, бил по лицу одного солдата. С помертвелым лицом, держа ружье у ноги и не смея уклоняться от ударов, солдат дрожал всем телом. Венцель изгибался своим худым и небольшим станом от собственных ударов, нанося их обеими руками то с правой, то с левой стороны. Кругом все молчали; только и было слышно плесканье да хриплое бормотанье разъяренного командира. У меня потемнело

в глазах, я сделал движение. Житков понял его и изо всех сил дернул за полотнище.

— Держи, черт безрукий! — закричал он и выругал меня самыми скверными словами.— Отсохли, что ли, руки-то? Куда смотришь? Чего не видал?

Удары сыпались. По верхней губе и подбородку солдата текла кровь. Наконец он упал. Венцель отвернулся, окинул глазами всю роту и закричал:

— Если еще кто-нибудь посмеет курить во фронте, хуже изобью каналью. Поднять его, обмыть рожу и положить в палатку. Пусть отлежится. Составь! — скомандовал он роте.

Руки у него тряслись, были красны, пухлы и в крови. Он вынул платок, вытер руки и пошел прочь от составлявших ружья в козлы и тяжело молчавших солдат. Несколько человек, глухо переговариваясь, возились около избитого и поднимали его. Венцель шел нервной, измученной походкой; он был бледен, глаза его блистали; по игравшим мускулам видно было, как он стискивал зубы. Он прошел мимо нас и, встретив мой упорный взгляд, неестественно насмешливо улыбнулся одними тонкими губами и, прошептав что-то, пошел дальше.

— Кровопивец! — с ненавистью в голосе сказал Житков.— А ты, барин, тоже!.. Чего лезть? Под расстрел угодить хочешь? Погоди, найдут и на него управу.

— Жаловаться пойдут? — спросил я.— Кому?

— Нет, не жаловаться. В действии тоже будем...

И он проворчал что-то почти про себя. Я боялся понять его. Федоров, уже успевший потолкаться между стрелками и расспросить, в чем дело, вернулся к нам.

— Ни за что людей терзает,— сказал он.— Как шли на походе, солдатик этот, Матюшкин, цигарку курил. Стали — он ружье взял к ноге, а цигарка между пальцами; забыл, видно, на свою голову. Венцель и доглядел.

— Зверь! — добавил он печально, укладываясь под готовую уже палатку.— И цигарка-то уж потухла; видно, что забыл, бедняга!

Через несколько дней мы пришли в Александрию, где собралось очень много войск. Еще сходя с высокой горы, мы видели огромное пространство, пестревшее белыми палатками, черными фигурами людей, длинными коновязями и блестевшими кое-где рядами медных пушек и зе-

леных лафетов и ящиков. По улице города ходили целые толпы офицеров и солдат.

Из открытых окон тесных и грязных гостиниц слышалась заунывная и удалая венгерская музыка, звон посуды и шумные разговоры; лавки были набиты русскими покупателями. Не понимающие друг друга наши солдаты, румыны, немцы и жиды громко кричали; спор из-за курса бумажного рубля слышался на каждом шагу.

— Ты что мне *«доу галаган»* [1], черномазый черт? Гривенник давай! Эй ты, *домнул!* [2]

— *Унде эште пошта?* [3] — преувеличенно вежливо, прикладывая руку к козырьку кепи, спрашивает щеголя румына офицер, вооруженный «военным переводчиком» — книжкой, которою тогда были снабжены войска. Румын объясняет ему; офицер перелистывает книжку, ища непонятных слов, и ничего не понимает, но вежливо благодарит.

— Тьфу, братцы, что за народ! И попы наши, и церкви наши, а понятия ни к чему у них нет! Руп серебряный хошь? — кричит что есть мочи солдат с рубахой в руках румыну, торгующему в открытой лавке.— За рубаху! *Патру франку?* Четыре франка?

Он вынимает монету, показывает ее, и дело кончается к общему удовольствию.

— Сторонись, сторонись, земляки, генерал идет!

Высокий молодой генерал, в щегольском сюртуке, высоких сапогах и с нагайкой на ремне через плечо, быстро проходит по улице. За ним в нескольких шагах идет ординарец, маленький азиат в цветном халате и чалме, с огромной шашкой и револьвером у пояса. Генерал, высоко держа голову и равнодушно-весело смотря на расступающихся и отдающих честь солдат, проходит в гостиницу. Здесь, в уголку, приютились и мы с Иваном Платонычем и Стебельковым, поглощая какое-то местное кушанье, состоящее из красного перца с мясом. Ободранная комната, уставленная столиками, полна народа. Звон посуды, хлопанье пробок, трезвые и пьяные голоса — все покрывается оркестром, приютившимся в чем-то вроде ниши, украшенной кумачными занавесками. Музыкантов пятеро: две скрипки пилят с остервенением, виолончель вторит одно-

---

[1] Две монеты.
[2] Господин.
[3] Где почта?

образными густыми нотами, контрабас ревет, но все эти инструменты составляют только фон для пятого. Черномазый кудрявый венгерец, почти мальчик, сидит впереди всех, за широкий воротник бархатной куртки у него всунут странный инструмент, древняя цевница, точно такая, с какою рисуют Пана и фавнов. Это ряд неравных деревянных трубочек, сложенных вместе так, что открытые концы их приходятся против губ артиста. Венгерец, вертя головой то в ту, то в другую сторону, дует в эти трубки и извлекает сильные мелодические звуки, непохожие ни на флейту, ни на кларнет. Самые хитрые и трудные пассажи проделывает он, тряся и вертя головой; черные жирные волосы прыгают на его голове и падают на лоб; лицо потно и красно, на шее надулись жилы. Видно было, что ему нелегко... На нестройном фоне струнных инструментов звуки цевницы вырисовывались резко, отчетливо и дико-красиво.

Генерал занял место за столом знакомых ему офицеров, поклонился всем вставшим при его приходе и громко сказал: «Садитесь, господа!», что относилось к нижним чинам. Мы молча кончили обед; Иван Платоныч приказал подать красного румынского вина и после второй бутылки, когда лицо у него повеселело и щеки и нос приняли яркий оттенок, обратился ко мне:

— Вы, юноша, скажите мне... Помните, большой переход был?

— Помню, Иван Платоныч.

— Вы тогда с Венцелем говорили?

— Говорил.

— Вы схватили его за руку? — спросил капитан неестественно серьезным тоном. И когда я ответил, что действительно схватил, испустил продолжительный и шумный вздох и беспокойно замигал глазами.

— Скверно вы сделали... Глупо вы сделали! Видите ли, я не выговор хочу вам делать. Вы сделали прекрасно... то есть противно дисциплине... Черт знает, что я несу! Вы меня извините...

Он замолчал, смотря в пол и отдуваясь. Я тоже молчал. Иван Платоныч отхлебнул полстакана и хлопнул меня по коленке.

— Дайте мне обещание, что больше не сделаете такой выходки. Я понимаю сам... Свежему человеку трудно. Ну что же вы с ним сделаете? Этакая бешеная собака этот Венцель! Ну, видите ли...

Иван Платоныч, видимо, не находил слов и, сделав долгую паузу, снова прибег к стакану.

— То есть, видите ли... он хороший человек в сущности. Это у него блажь какая-то, черт ее знает. Вы сами видели, я тоже недавно ткнул солдата. Легонько. Ну, если дурак не понимает своей собственной пакости, знаете, дерево этакое... Но ведь я, Владимир Михайлыч, как отец. Ей-богу, без злобы, хоть и распалишься иногда. А тот — в систему возвел. Эй, ты! — крикнул он румыну-лакею,— *оште вин негру!* Еще вина! — И когда-нибудь под суд попадет; а то еще хуже будет: обозлятся люди и в первом же деле... Жаль будет, потому что все-таки человек, знаете, хороший. И даже теплый человек.

— Ну! — протянул Стебельков.— Какой теплый человек будет так драться!

— Вы посмотрели бы, Иван Платоныч, что ваш теплый человек недавно наделал.

И я рассказал капитану, как Венцель избил солдата за цигарку.

— Ну, вот, вот... всегда так! — Иван Платоныч краснел, пыхтел, останавливался и снова начинал говорить.— Но все-таки он не зверь. У кого люди лучше всех накормлены? У Венцеля. У кого лучше выучены? У Венцеля. У кого почти нет штрафованных? Кто никогда не отдаст под суд — разве уж очень крупную пакость солдат сделает? Все он же. Право, если бы не эта несчастная слабость, его солдаты на руках бы носили.

— Говорили вы с ним об этом, Иван Платоныч?

— Говорил и ссорился десять раз. Что с ним поделаешь! «Или, говорит, войско или милиция». Фразы все какие-то глупые выдумывает. «Война, говорит, такая жестокость, что если я жесток с солдатами, то это капля в море... Они, говорит, стоят на такой низкой степени развития...» Одним словом, черт знает что такое! А между тем прекрасный человек. Не пьет, в картишки не играет, дело ведет добросовестно, старику отцу и сестре помогает, товарищ прекрасный! И образованный человек! Другого такого в полку нет. И попомните мое слово: или под суд попадет, или те (он кивнул головой к окну) рассудят. Скверно. Так-то, любезнейший мой рядовой.

Иван Платоныч ласково потрепал меня по погону; потом полез в карман, достал табачницу и начал свертывать толстейшую папиросу. Вложив ее в огромный мундштук с янтарем и надписью чернью по серебру: «Кав-каз», а

мундштук в рот, он молча сунул табачницу мне. Мы закурили все трое, и капитан начал снова:

— Иногда, точно, бывает: нельзя не потрепать. Ведь они вроде детей. Балунова знаете?

Стебельков вдруг расхохотался.

— Ну, ну, чего, Стебелек! — проворчал Иван Платоныч.— Старый солдат, штрафованный. Он двадцатый год служит: все за разные провинности не отпускают. Ну, так вот он, шельма... Вас еще не было тогда: перед Кишиневым раз выходили мы из деревни. Приказало начальство осмотреть у всех вторые пары сапог. Выстроил я их, хожу сзади и смотрю, торчат ли из ранцев головки. У Балунова нет. «Где сапоги?» — «В ранец для сохранения вложил, ваше благородие».— «Врешь!» — «Никак нет, ваше благородие: чтоб не мокли, в ранце находятся!» Бойко так отвечает, бестия. «Снимай ранец, расстегивай». Вижу, не расстегивает и тащит голенищи из-под крышки. «Расстегивай!» — «Я, ваше благородие, и так выну». Однако заставил я его расстегнуть. Что ж вы думаете? Тащит из ранца за уши поросенка живого! И рыльце веревочкой завязано, чтобы не визжал! Правой рукой под козырек, рожу этакую почтительную скорчил, а левой поросенка держит. Стащил, подлец, у молдаванки. Ну, конечно, я его тут легонько ткнул!

Стебельков покатывался от хохота и едва выговорил:

— Да чем!.. Ткнул-то, Иванов, поросенком. Ох-хо-хо!.. Выхватил поросенка да им!..

— Неужели без этого нельзя обойтись, Иван Платоныч?

— Ах, вы! Досадно, право, слушать. Не под суд же мне его было отдавать!

VII

Ночью с 14 на 15 июня Федоров разбудил меня.

— Михайлыч, слышите?

— Что такое?

— Пальба. Дунай переходят.

Я начал прислушиваться. Дул сильный ветер, гнавший низкие черные тучи, заслонявшие месяц; он налетал на полотно, с шумом шлепал его, гудел в веревках и тонко высвистывал где-то в ружейных козлах. Сквозь эти звуки иногда слышались глухие удары.

— Народу-то теперь что валится...— вздохнув, про-

шептал Федоров.— Нас поведут или нет? Как полагаете? Ухает-то как! Будто гром!

— Может быть, и в самом деле гроза?

— Нет! Какая гроза! Очень уж правильно. Слышите? Одна за одной, одна за одной.

Удары действительно раздавались правильно, через известные промежутки времени. Я вылез из-под палатки и стал смотреть по направлению выстрелов. Вспышек огня не было видно. Иногда напряженным глазам мерещился свет в той стороне, откуда гремели пушки, но это только обман.

«Вот оно наконец!» — подумалось мне.

И я старался представить себе, что делается там, в темноте. Мне чудилась широкая черная река с обрывистыми берегами, совершенно непохожая на настоящий Дунай, каким я его увидел потом. Плывут сотни лодок; эти мерные частые выстрелы — по ним. Много ли уцелеет их? Холодная дрожь пробежала у меня по телу. «Хотел бы ты быть там?» — невольно спросил я сам себя.

Я посмотрел на спящий лагерь; все было спокойно; между далеким громом орудий и шумом ветра слышалось мирное храпение людей. И страстно захотелось мне вдруг, чтобы всего *этого* не было, чтобы поход протянулся еще, чтобы этим спокойно спящим, а вместе с ними и мне не пришлось идти туда, откуда гремели выстрелы.

Иногда канонада становилась сильнее; иногда мне смутно слышался менее громкий, глухой шум. «Это стреляют ружейными залпами»,— думал я, не зная, что до Дуная еще двадцать верст и что болезненно настроенный слух сам создавал эти глухие звуки. Но, хотя и мнимые, они все-таки заставляли воображение работать и рисовать страшные картины. Чудились крики и стоны, представлялись тысячи валящихся людей, отчаянное хриплое «ура!», атака в штыки, резня. А если отобьют и все это даром?

Темный восток посерел; ветер стал утихать. Тучи разошлись; умирающие звезды виднелись кое-где на побледневшем зеленоватом небе. Начало светать; в лагере кое-кто проснулся, и услышавшие звуки сражения будили других. Говорили мало и тихо. Неизвестность близко подошла к людям: никто не знал, что будет завтра, и не хотел ни думать, ни говорить об этом завтрашнем дне.

Я заснул на рассвете и проснулся довольно поздно. Пушки продолжали глухо греметь, и хотя никаких изве-

стий с Дуная не было, между нами ходили слухи один другого невероятнее. Одни говорили, что наши уже перешли и гонят турок, другие — что переправа не удалась, что уничтожены целые полки.

— Которых потопили, которых перестреляли,— заговорил кто-то.

— А ты ври больше,— оборвал его Василий Карпыч.

— Зачем мне врать, ежели правда.

— Правда! Тебе кто сказал?

— Чего?

— Правду-то? Откедова слышал? Мы все знаем: пальба идет, и больше ничего.

— Все говорят. К генералу казак...

— Казак! Ты видел казака-то? Какой он из себя есть, казак-то твой?..

— Казак, обыкновенно... какой казак должон быть.

— То-то должон! Язык-то у тебя — бабья балаболка. Сидел бы да молчал. Никого не было, неоткуда и знать.

Я пошел к Ивану Платонычу. Офицеры сидели совсем готовые, застегнутые и с револьверами на поясе. Иван Платоныч был, как и всегда, красен, пыхтел, отдувался и вытирал шею грязным платком. Стебельков волновался, сиял и для чего-то нафабрил свои прежде висевшие вниз усики, так что они торчали острыми кончиками.

— Вот прапорщик-то наш! Расфрантился перед делом,— сказал Иван Платоныч, подмигивая на него.— Ах, Стебелечек, Стебелечек! Жаль мне тебя! Не будет у нас в собрании таких усиков! Сломают тебя, Стебелечек,— говорил капитан шутливо-жалобным тоном.— Ну что, не трусишь?

— Постараюсь не струсить,— бодрым голосом сказал Стебельков.

— Ну а вам, воитель, страшно?

— Сам не знаю, Иван Платоныч... Оттуда ничего не слышно?

— Ничего. Господь знает, что там делается.— Иван Платоныч тяжко вздохнул.— В час выступаем,— добавил он, помолчав.

Пола палатки откинулась: адъютант Лукин просунул свое лицо, на этот раз серьезное и бледное.

— Вы здесь, Иванов? Приказано привести вас к присяге... Не сейчас, когда будем выступать. Иван Платоныч! Пятую пачку патронов людям.

Он отказался войти посидеть, говоря, что много дела, и побежал куда-то. Я тоже вышел.

Часам к двенадцати поспел обед. Люди ели плохо. После обеда приказали снять надульники (кожаные чехольчики) с ружей и роздали добавочные патроны. Солдаты, готовясь к бою, начали осматривать свои ранцы и выбрасывать все лишнее. Бросали порванные рубахи и штаны, разные тряпки, старые сапоги, щетки, засаленные солдатские книжки; некоторые, как оказалось, донесли до Дуная в ранцах множество ненужных вещей. Я видел на земле брошенный «щелкун», то есть деревянную чурку, которою в мирное время перед парадами и смотрами разглаживают ремни амуниции, тяжелые каменные банки из-под помады, какие-то коробочки и дощечки и даже целую сапожную колодку.

— Бросай боле, ребята! Все легче в действие идти. Завтра уж не нужно будет.

— Пятьсот верст тащил... и на что мне она? — рассуждал солдат Лютиков, рассматривая какую-то тряпицу.— С собой не унесешь...

Выбрасывать вещи, очищать ранец в тот день вошло в моду. Когда мы сошли с места, на котором стояли, оно представлялось на темном фоне степи правильным четырехугольником, пестрым от множества тряпок и других вещей.

Перед походом, когда полк, уже совсем готовый, стоял и ждал команды, впереди собралось несколько офицеров и наш молоденький полковой священник. Из фронта вызвали меня и четырех вольноопределяющихся из других батальонов; все поступили в полк на походе. Оставив ружья соседям, мы вышли вперед и стали около знамени; незнакомые мне товарищи были взволнованы, да и у меня сердце билось сильнее, чем всегда.

— Возьмитесь за знамя,— сказал батальонный командир. Знаменщик наклонил знамя; его ассистенты сняли чехол. Старая, полинявшая зеленая шелковая ткань забилась по ветру. Мы стали вокруг и, держа одной рукой древко, а другую подняв вверх, повторяли слова священника, который читал с листа старинную петровскую военную присягу. Вспомнились мне слова Василия Карпыча на первом переходе. «Где же это?» — думал я. И после долгого перечисления случаев и мест службы его императорского величества: походов, наступлений, авангардий и арриергардий, крепостей, караулов и обозов — я услы-

шал эти слова. «Не щадя живота»,— громко повторили все пятеро в один голос, и, глядя на ряды сумрачных, готовых к бою людей, я чувствовал, что это не пустые слова.

Мы вернулись в ряды; полк дрогнул, зашевелился и, вытянувшись в длинную колонну, форсированным шагом пошел к Дунаю. Выстрелы, доносившиеся оттуда, смолкли.

Как сквозь сон помню этот переход; пыль, поднимаемую обгонявшими нас на рысях казачьими полками; широкую степь, спускавшуюся к Дунаю; другой синевший берег которого мы увидели верст за пятнадцать; усталость, жару, свалку и драку у встретившегося нам уже под Зимницею колодца; грязный маленький городок, наполненный войсками, каких-то генералов, махавших нам с балкона фуражками и кричавших «ура!», на что мы отвечали тем же.

— Перешли! Перешли! — гудели вокруг голоса.

— Двести убитых, пятьсот раненых!

VIII

Уже было темно, когда мы, сойдя с берега, перешли проток Дуная по небольшому мосту и пошли по низкому песчаному острову, еще мокрому от только что спавшей с него воды. Помню резкий лязг штыков сталкивавшихся в темноте солдат, глухое дребезжание обгонявшей нас артиллерии, черную массу широкой реки, огоньки на другом берегу, куда мы должны были переправиться завтра и где, я думал, завтра же будет новый бой.

«Лучше не думать, а уснуть»,— решил я и улегся в пропитаный водой песок.

Солнце было уже высоко, когда я открыл глаза. На песчаном берегу толпились войска, обозы и парки; у самой воды уже успели выкопать батареи и ровики для стрелков; за Дунаем, на крутом берегу, можно было рассмотреть сады и виноградники, в которых копошились наши войска; за ними поднимались все выше и выше возвышенности, резко ограничивая горизонт. Вправо, версты за три от них, белело на холмах своими домами и минаретами Систово. Пароход с баркой на буксире перевозил батальон за батальоном на ту сторону. У нашего берега шипел парами маленький миноносный катер.

— С благополучным переходом, Владимир Михайлыч! — весело поздравил меня Федоров.

— И вас также. Да только мы-то ведь еще не перешли?

— А вот сейчас пароход придет, заберет. Монитор турецкий, говорят, недалеко; вон этот самоварчик на него приготовлен.— Он показал на миноноску.— Побито народа что, господи! — продолжал он, изменив голос.— Уж возили-возили с той стороны...

И он рассказал мне всем известные подробности систовского боя.

— Теперь наш черед. Перейдем на тот бок — турки навалятся... Ну, все-таки вышла отсрочка: мы-то живы, а вот те...— Он кивнул на стоявшую недалеко кучку солдат и офицеров, столпившихся вокруг невидимого предмета, на который все они смотрели.

— Что это такое?

— Убитых наших оттуда привезли. Подите посмотрите, Михайлыч, страсть-то какая.

Я подошел к кучке. Все молча и сняв шапки смотрели на лежавшие рядом на песке тела. Иван Платоныч, Стебельков и Венцель тоже были здесь. Иван Платоныч сердито нахмурился, кряхтел и отдувался; Стебельков с наивным ужасом вытягивал из-за его плеча тонкую шею; Венцель стоял, глубоко задумавшись.

Лежавших на песке было двое. Один — рослый, красивый гвардеец Финляндского полка, из сборной гвардейской полуроты, той самой, которая потеряла во время атаки половину людей. Он был ранен в живот и, должно быть, долго мучился до смерти. Тонкий отпечаток чего-то одухотворенного, изящного и нежно-жалобного оставило страдание на его лице. Глаза были закрыты, руки сложены на груди. Сам ли он перед смертью принял это положение или товарищи позаботились о нем? Его вид не возбуждал ужаса и отвращения, а только бесконечную жалость к погибшей, бившей ключом жизни.

Иван Платоныч нагнулся к трупу и, взяв фуражку, лежавшую около головы, прочел на козырьке: «Иван Журенко, третьей роты».

— Хохол был, бедняга! — тихо сказал он.

И представилась мне родина, жаркий ветер в степи, слобода по оврагу, левады, заросшие вербами, беленькая мазанка с красными ставнями... Кто ждет там тебя?

Другой был армеец Волынского полка. Смерть заста-

ла его внезапно. Он бежал, разъяренный, в атаку, задыхаясь от крика; пуля ударила его в переносье, пронзила голову, оставив по себе черную зияющую рану. Так и лежал он с широко раскрытыми, теперь уже застывшими глазами, с открытым ртом и с искривленным яростью, посинелым лицом.

— Рассчитались,— сказал Иван Платоныч.— Вчистую. Ничего им больше не нужно.

Он повернулся; солдаты торопливо расступились, чтобы пропустить его. Мы с Стебельковым пошли за ним. Венцель догнал нас.

— Вот, Иванов,— сказал он.— Видели?

— Видел, Петр Николаевич,— отвечал я.

— Что ж вы думали, глядя на них? — сумрачно спросил он.

И во мне вдруг вспыхнула злоба против этого злого человека и желание сказать ему что-нибудь тяжелое.

— Много. И больше всего о том, что они уже не пушечное мясо. Для них уже не нужно спайки и дисциплины; и никто не будет истязать их ради этой спайки. Они не солдаты, не подчиненные! — говорил я дрожащим голосом.— Они — люди!

Венцель блеснул глазами. Звук вылетел из его горла и прервался: должно быть, он хотел ответить мне, но сдержал себя и на этот раз. Он шел рядом со мной потупив голову и через несколько шагов, не смотря на меня, сказал:

— Да, Иванов, вы правы. Они люди... Мертвые люди.

IX

Нас перевезли через Дунай; несколько дней мы стояли около Систова, ожидая турок; потом войска потянулись в глубь страны. Пошли и мы. Нас долго посылали то туда, то сюда: были мы и около Тырнова и недалеко от Плевны; но прошло три недели, а нам все еще не довелось драться. Наконец мы попали в особый отряд, обязанность которого была — сдерживать наступление большой турецкой армии. Сорок тысяч русских было растянуто на семьдесят верст; около ста тысяч турок стояло против них, и только осторожные действия нашего начальника, не рисковавшего людьми, а довольствовавшегося отпором наступающего неприятеля, да вялость турецкого паши позволили нам ис-

полнить нашу задачу: не дать туркам прорваться и отрезать нашу главную армию от Дуная.

Нас было мало, линия наша была велика; поэтому нам редко приходилось отдыхать. Мы обошли множество деревень, являясь то там, то здесь, чтобы встретить предполагаемое нападение; мы забирались в такую глушь Болгарии, что нас не находили транспорты с провиантом и нам приходилось голодать, растягивая двухдневную порцию сухарей на пять и более дней. Голодавшие люди молотили недозрелую пшеницу палками на растянутых палатках, варили из нее и из кислых лесных яблок отвратительную похлебку без соли (потому что и ее было взять негде) и заболевали от нее. Батальоны таяли, хотя и не были в деле.

В половине июля наша бригада, с несколькими эскадронами кавалерии и двумя батареями пушек, пришла в брошенную жителями, разоренную и полувыжженную турецкую деревню. Наш лагерь раскинулся на высокой, обрывистой горе; деревня была внизу, в глубине долины, по которой извивалась узенькая речка. Крутые, высокие скалы возвышались на другой стороне долины. То была, как мы думали, турецкая сторона, однако турок близко не было. Мы простояли несколько дней на нашей горе почти без хлеба, с трудом доставая воду, за которой нужно было спускаться далеко вниз к ключу, бившему внизу из скалы. Мы были совершенно отделены от армии и не знали, что делается на белом свете. Верст за пятнадцать впереди нас казаки содержали разъезды; две или три сотни их были растянуты на двадцать верст. Турок не было и там.

Несмотря на то, что мы не могли открыть неприятеля, наш маленький отряд принимал все меры осторожности. Днем и ночью стояла кругом лагеря густая аванпостная цепь. По условиям местности ее линия была очень длинна, и каждый день несколько рот были заняты этой бездеятельной, но очень утомительной службой. Бездействие, почти постоянный голод, неизвестность положения дурно действовали на людей.

Околотки (полковые лазареты) были переполнены; каждый день отправляли ослабевших и измученных лихорадкою и кровавым поносом людей куда-то в дивизионный лазарет. В ротах было налицо от половины до двух третей полного состава. Все были мрачны, и всем хотелось идти в дело. Все-таки это был исход.

Наконец он наступил. От командира казачьей сотни прискакал казак с известием, что турки начали наступать и что он, командир, должен был стянуть своих людей и отступить на пять верст. Потом оказалось, что турки вернулись, не думая продолжать наступление, что нам можно было спокойно оставаться на месте, тем более что нам никто не велел наступать. Но командовавший тогда нами генерал, незадолго до того приехавший из Петербурга, чувствовал то же, что и все люди отряда. А людям было невыносимо сидеть сложа руки или стоять по целым суткам на часах против невидимого и, как все были убеждены, несуществовавшего неприятеля, питаться скверною пищею и ждать своей очереди заболеть. Всем хотелось идти драться. И генерал приказал нападение.

Мы оставили половину отряда в лагере. Положение дел было настолько малоизвестно, что можно было ждать атаки с других сторон. Четырнадцать рот, гусары и четыре пушки после полудня двинулись в поход. Никогда мы не шли так скоро и бодро, кроме того дня, когда проходили перед государем.

Мы шли долиною, проходя одну за другою брошенные турецкие и болгарские деревни. В узких переулках, обнесенных высокими, выше человеческого роста, плетнями, не встречалось ни человека, ни скотины, ни собаки; только куры, клохтая, разлетались от нас по плетням и крышам да гуси с криком тяжело поднимались на воздух и старались улететь. Из садиков выглядывали ветви, точно облепленные спелыми сливами всевозможных сортов. В последней деревне, за пять верст от того места, где предполагались турки, нам дали полчаса отдыха. В это время полуголодные солдаты натрясли множество слив, наелись и набили ими свои сухарные мешки. Некоторые, правда немногие, позаботились наловить и нарезать кур и гусей, ощипали их и взяли с собой. Мне вспомнилось, как те же солдаты, перед систовской переправой, в ожидании боя выбрасывали из ранцев все свои вещи, и я сказал об этом Житкову, который в это время ощипывал огромного гуся.

— Что ж, Михайлыч, хотя в действии не были, а ждать привыкли. Все сдается, будто так только проходишь. Вничью сыграешь. А ежели и попадешь в действие — запас есть не просит. Ну как не убьют? Закусить-то и есть чем.

— Страшно вам? — невольно спросил я его.

— Да, может, ничего и не будет,— не скоро ответил он, щурясь и старательно выщипывая оставшийся белый пушок.

— А если будет?

— Ежели будет — страшно, не страшно, все одно идти надо. Нашего брата не спросят. Иди себе с богом. Дай-ка ножа; у тебя нож важный.— Я дал ему свой большой охотничий нож. Он разрубил гуся вдоль и половину протянул мне.— Возьми-ка себе на случай. А об этом самом, страшно ли, не страшно, не думай, барин, лучше. Все от бога. От него никуда не уйдешь.

— Ежели уж летит в тебя пуля или там граната, куда ж уйти! — подтвердил Федоров, лежавший около нас.— Я так полагаю, Владимир Михайлыч, что даже опасности больше есть в бегстве. Потому пуля по траектории должна лететь этак вот (он показал пальцем), и самая что ни на есть жарня в тылу образуется.

— Да,— сказал я,— особенно с турками. Говорят, они высоко целят.

— Ну, ученый! — сказал Житков Федорову.— Разговаривай больше! Там тебе такую траекторию покажут! Оно конечно,— прибавил он, подумав,— что лучше уж впереди...

— Куда начальство,— сказал Федоров.— А наш вперед пойдет, не струсит.

— Пойдет. Наш не струсит. И Немцев тоже пойдет.

— Дядя Житков,— спросил Федоров,— как скажешь: быть ему сегодня живу или нет?

Житков потупил глаза.

— Ты про что это говоришь? — спросил он.

— Да полно! Видел его? Так вот все в нем и ходит.

Житков стал еще угрюмее.

— Пустое ты болтаешь,— глухо проговорил он.

— А до Дунаю-то что говорили? — сказал Федоров.

— До Дунаю!.. Обозлившись, с сердцов всякое несли. Известно, невтерпеж было. Ты что думаешь, разбойники, что ли? — сказал Житков, обернувшись и смотря Федорову прямо в лицо.— Бога, что ли, в них нет? Не знают, куда идут! Может, которым сегодня господу богу ответ держать, а им об таком деле думать? До Дунаю! Да я до Дунаю-то и сам раз барину сказал (он кивнул на меня). Точно, что сказал, потому и смотреть-то тошно было. Эка вспомнил, до Дунаю!

Он полез в голенище за кисетом и долго еще ворчал,

набивая трубку и закуривая ее. Потом, спрятав кисет, уселся поудобнее, охватив колени руками, и погрузился в какую-то тяжелую думу.

Через полчаса мы вышли из деревни и начали подниматься из долины в гору. За возвышенностью, которую нам нужно было перейти, были турки. Мы вышли на гору; перед нами открылось широкое, холмистое, постепенно понижавшееся пространство, покрытое то нивами пшеницы, то кукурузными полями, то огромными зарослями карагача и кизила. В двух местах белели минареты деревень, скрытых между зелеными холмами. Мы должны были взять правую из них. За нею, на краю горизонта, чуть виднелась беловатая полоска: то было шоссе, прежде занятое нашими казаками. Скоро все это скрылось из вида: мы вступили в густую заросль, изредка прерываемую небольшими полянками.

Я плохо помню начало боя. Когда мы вышли на открытое место, на вершину холма, откуда турки могли ясно видеть, как наши роты, выходя из кустов, строились и расходились в цепь, одиноко загремел пушечный выстрел. Это они пустили гранату. Люди дрогнули; глаза всех устремились на уже расплывавшееся, тихо скатывавшееся с холма белое облачко дыма. И в тот же миг приближающийся звонкий, скрежещущий звук снаряда, летевшего, как казалось, над самыми нашими головами, заставил всех пригнуться. Граната, перелетев через нас, ударилась в землю около шедшей позади роты; помню глухой удар ее разрыва и вслед за тем чей-то жалобный крик. Осколок оторвал ногу фельдфебелю. Я узнал это после; тогда я не мог понять этого крика: ухо слышало его, и только. Тогда все слилось в том смутном и не выразимом словами чувстве, какое овладевает вступающим в первый раз в огонь. Говорят, что нет никого, кто бы не боялся в бою; всякий нехвастливый и прямой человек на вопрос, страшно ли ему, ответит: страшно. Но не было того физического страха, какой овладевает человеком ночью, в глухом переулке, при встрече с грабителем; было полное, ясное сознание неизбежности и близости смерти. И — дико и странно звучат эти слова — это сознание не останавливало людей, не заставляло их думать о бегстве, а вело вперед. Не проснулись кровожадные инстинкты, не хотелось идти вперед, чтобы убить когонибудь, но было неотвратимое побуждение идти вперед во что бы то ни стало, и мысль о том, что́ нужно делать

во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорее: нужно умереть.

Пока мы переходили через поляну, турки успели сделать несколько выстрелов. Нас отделяла от них только последняя большая заросль, медленно поднимавшаяся к деревне. Мы вошли в кусты. Все смолкло.

Идти было трудно: густые, часто колючие кусты разрослись густо и нужно было обходить их или пробираться через них. Шедшие впереди стрелки уже рассыпались цепью и изредка тихо перекликались между собою, чтобы не разойтись. Мы пока держались всей ротой вместе. Глубокое молчание царило в лесу.

И вот раздался первый, негромкий, похожий на удар топора дровосека, ружейный выстрел. Турки наугад начали пускать в нас пули. Они свистели высоко в воздухе разными тонами, с шумом пролетали сквозь кусты, отрывая ветви, но не попадали в людей. Звук рубки леса становился все чаще и наконец слился в однообразную трескотню. Отдельных взвизгов и свиста не стало слышно; свистел и выл весь воздух. Мы торопливо шли вперед, все около меня были целы, и я сам был цел. Это очень удивляло меня.

Вдруг мы вышли из кустов. Дорогу пересекал глубокий овраг с ручейком. Люди отдохнули минуту и напились воды.

Отсюда роты развели в разные стороны, чтобы охватить турок с флангов; нашу роту оставили в резерве в овраге. Стрелки должны были идти прямо и, пройдя через кусты, ворваться в деревню. Турецкие выстрелы трещали по-прежнему часто, без умолку, но гораздо громче.

Выбравшись на другой берег оврага, Венцель выстроил свою роту. Он сказал людям что-то, чего я не слышал.

— Постараемся, постараемся! — раздались голоса стрелков.

Я смотрел на него снизу: он был бледен и, как мне показалось, печален, но довольно спокоен. Увидев Ивана Платоныча и Стебелькова, он махнул им платком, потом стал искать чего-то глазами в нашей толпе. Я догадался, что ему хочется проститься и со мной, и встал, чтобы он заметил меня. Венцель улыбнулся, кивнул мне несколько раз головою и скомандовал роте идти в цепь. Кучки по четыре человека расходились вправо и влево, растянулись в длинную цепь и разом исчезли в кустах, кроме одного, который вдруг рванулся всем телом, поднял руки и тя-

жело рухнулся на землю. Двое из наших выскочили из оврага и принесли тело.

Томительно прошло полчаса неизвестности.

Бой разгорался. Ружейный огонь учащался и перешел в сплошной грозный вой. На правом фланге загремели пушки. Из кустов начали показываться идущие и ползущие окровавленные люди; сначала их было мало, но с каждой минутой становилось все больше и больше. Наши помогали им спускаться в овраг, поили водой и укладывали в ожидании санитаров с носилками. Стрелок с раздробленной кистью руки, страшно охая и закатывая глаза, с посиневшим от потери крови и боли лицом пришел сам и сел у ручья. Ему затянули руку, уложили на шинель; кровь остановилась. Его била лихорадка; губы дрожали, он всхлипывал, нервно и судорожно рыдая.

— Братцы, братцы!.. земляки милые!..

— Много побили?

— Так и валятся.

— Ротный цел?

— Цел пока. Кабы не он, отбили бы. Возьмут. С ним возьмут,— слабым голосом говорил раненый.— Три раза водил, отбивали. В четвертый повел. В буераке сидят; патронов у них — так и сеют, так и сеют... Да нет! — вдруг злобно закричал раненый, привстав и махая больной рукой.— Шалишь! Шалишь, проклятый!..

И он, вращая исступленными глазами, выкрикнул страшное, грубое ругательство и повалился без чувств.

На берегу оврага показался Лукин.

— Иван Платоныч! — закричал он не своим голосом.— Ведите!

. . . .

Дым, треск, стоны, бешеное «ура!». Запах крови и пороха. Закутанные дымом странные чужие люди с бледными лицами. Дикая, нечеловеческая свалка. Благодарение богу за то, что такие минуты помнятся только как в тумане.

. . . .

Когда мы подоспели, Венцель в пятый раз вел остаток своей роты на турок, засыпа́вших его свинцом. На этот раз стрелки ворвались в деревню. Немногие из защищавших ее в этом месте турок успели убежать. Вторая стрелковая рота потеряла в два часа боя *пятьдесят два* человека из ста с небольшим. Наша рота, мало принимавшая участия в деле,— несколько человек.

Мы не остались на отбитой позиции, хотя турки были сбиты повсюду. Когда наш генерал увидел, что из деревни выходят на шоссе батальон за батальоном, двигаются массы кавалерии и тянутся длинные вереницы пушек, он ужаснулся. Очевидно, турки не знали наших сил, скрытых кустами: если бы им было известно, что всего только четырнадцать рот выбили их из глубоких дорог, рытвин и плетней, окружавших деревню, они вернулись бы и раздавили нас. Их было втрое больше.

Вечером мы были уже на старом месте. Иван Платоныч позвал меня пить чай.

— Венцеля видели? — спросил он.

— Нет еще.

— Подите к нему в палатку, позовите к нам. Убивается человек. «Пятьдесят два! Пятьдесят два!» — только и слышно. Подите к нему.

Тонкий огарок слабо освещал палатку Венцеля. Прижавшись к уголку палатки и опустив голову на какой-то ящик, он глухо рыдал.

1882

Красный цветок

(Памяти Ивана Сергеевича Тургенева)

I

— Именем его императорского величества государя императора Петра Первого объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!

Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не удержался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись: они едва держались на ногах после двух суток, проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился; где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. Так привезли его в город, так доставили и в больницу.

Он был страшен. Сверх изорванного во время припадка в клочья серого платья куртка из грубой парусины с ши-

роким вырезом обтягивала его стан; длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб; он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья и изредка взглядывая на своих спутников.

— Сведите его в отделение. Направо.

— Я знаю, знаю. Я был уже здесь с вами в прошлом году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будет трудно обмануть,— сказал больной.

Он повернулся к двери. Сторож растворил ее перед ним; тою же быстрою, тяжелою и решительною походкою, высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним.

— Позвони. Я не могу. Вы связали мне руки.

Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу.

Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. Два больших зала, один — столовая, другой — общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянною дверью, выходившей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж; тут же были устроены две темные комнаты, одна — обитая тюфяками, другая — досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами — ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот. В небольших каморках было по четыре и по пяти кроватей; зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно.

Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовала тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним сделанным в углу окном; стены и своды

были выкрашены темно-красною масляною краскою; в почерневшем от грязи полу, в уровень с ним, были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачною физиономиею увеличивал впечатление.

И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно с системой лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло наконец в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С удвоенною от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол; наконец четверо повалили его и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представление, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и наконец тихо, с горячими слезами проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью:

— Святой великомученик Георгий! В руки твои предаю тело мое. А дух — нет, о нет!..

Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился, Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его, почти бесчувственного, вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало.

— За что? За что? — кричал он.— Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О-о-о! О господи! О вы, мучимые раньше меня! Вас молю, избавьте...

Жгущее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать.

— Ничего не поделаешь,— сказал производивший операцию солдат.— Нужно стереть.

Эти простые слова привели больного в содрогание. «Стереть!.. Что стереть? Кого стереть? Меня!» — подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку и верхний слой кожи и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его нагое тело покатилось по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон.

II

Он очнулся ночью. Все было тихо; из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным, странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату, да сверху, из женского отделения, хриплый контральто пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах; шея его сильно болела.

— Где я? Что со мной? — пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенною яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом.

— Но это кончено, слава богу, это кончено! — прошептал он и снова уснул.

Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закоулок между большими зданиями и каменной оградой; в этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветшею в то время года... За кустами, прямо против окна, темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее. Справа подыма-

лось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками; слева — белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна вовнутрь комнаты, на пол, и освещал часть постели и измученное, бледное лицо больного с закрытыми глазами; теперь в нем не было ничего безумного. Это был глубокий, тяжелый сон измученного человека, без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания. На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, затем, чтобы утром встать с постели прежним безумцем.

III

— Как вы себя чувствуете? — спросил его на другой день доктор.

Больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом.

— Отлично! — отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат.— Прекрасно! только одно: вот!

Он показал себе на затылок.

— Я не могу повернуть шеи без боли. Но это ничего. Все хорошо, если его понимаешь; а я понимаю.

— Вы знаете, где вы?

— Конечно, доктор! Я в сумасшедшем доме. Но ведь, если понимаешь, это решительно все равно. Решительно все равно.

Доктор пристально смотрел ему в глаза. Его красивое холеное лицо с превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотревшими сквозь золотые очки, было неподвижно и непроницаемо. Он наблюдал.

— Что вы так пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что у меня в душе,— продолжал больной,— а я ясно читаю в вашей! Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно: я все понимаю и спокоен; но они? К чему эти мученья? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить... Ведь так?

— Может быть,— отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлепая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халата из бумажной

материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавшие доктора фельдшер и надзиратель продолжали стоять навытяжку у дверей.

— И у меня она есть! — воскликнул больной.— И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает, как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время — суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я заметил, что тут есть еще несколько таких же. Но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно...

— Вы сказали,— перебил его доктор,— что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь,— доктор вынул часы,— половина одиннадцатого, 6-го мая 18** года. Что вы думаете об этом?

— Ничего. Мне все равно, где ни быть и когда ни жить. Если *мне* все равно, не значит ли это, что *я* везде и всегда?

Доктор усмехнулся.

— Редкая логика,— сказал он, вставая.— Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли вы сигарку?

— Благодарю вас.— Он остановился, взял сигару и нервно откусил ее кончик.— Это помогает думать,— сказал он.— Это мир, микрокосм. На одном конце щелочи, на другом — кислоты... Таково равновесие и мира, в котором нейтрализуются противоположные начала. Прощайте, доктор!

Доктор отправился дальше. Большая часть больных ожидала его, вытянувшись у своих коек. Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных.

А больной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай; он, не присаживаясь, в два приема опорожнил большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов, не останавливаясь, ходил своею быстрою и тяжелой походкой из конца в конец всего здания. День был дождли-

вый, и больных не выпускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора; он стоял здесь, прильнувши лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок, один из видов мака.

— Пожалуйте взвеситься,— сказал фельдшер, трогая его за плечо.

И когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге: столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах. Но, увидав фельдшера, он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет; больной сам встал на платформу небольших десятичных весов: фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени 109 фунтов. На другой день было 107, на третий 106.

— Если так пойдет дальше, он не выживет,— сказал доктор и приказал кормить его как можно лучше.

Но, несмотря на это и на необыкновенный аппетит больного, он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении.

IV

Он сознавал, что он в сумасшедшем доме; он сознавал даже, что он болен. Иногда, как в первую ночь, он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения, чувствуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине и полусвете, может быть, слабая работа мозга только что проснувшегося человека делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день; вместе со светом и пробуждением жизни в больнице его снова волною охватывали впечатления; больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странною смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он

знал прежде или о котором читал или слыхал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей; видел в вещах всю их историю; большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого; здание, действительно построенное довольно давно, он считал постройкой Петра Великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху Полтавской битвы. Он прочел это на стенах, на обвалившейся штукатурке, на кусках кирпича и изразцов, находимых им в саду; вся история дома и сада была написана на них. Он населил маленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце, выходившее из ее подвала в уголок сада, видя в неровном отражении света в старом радужном и грязном стекле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах.

Между тем наступила ясная, хорошая погода; больные целые дни проводили на воздухе в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно, засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех сколько-нибудь способных к труду; целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. Угол сада зарос густым вишняком; вдоль него тянулись аллеи из вязов; посредине, на небольшой искусственной горке, был разведен самый красивый цветник во всем саду; яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним, и можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все

дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы; он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенною яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь.

Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступень крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два; случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их.

Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сторож и давал каждому из них толстый белый, вязанный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе. Но больной, само собой разумеется, придавал этому красному кресту особое, таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче.

— Он побеждает,— сказал больной,— но мы посмотрим.

И он сошел с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание. Голова его закружилась; он сделал последнее отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его.

— Нельзя рвать,— сказал старик хохол.— И на грядку не ходи. Тут много вас, сумасшедших, найдется: каждый по цветку, весь сад разнесут,— убедительно сказал он, все держа его за плечо.

Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. «О несчастные! — думал он.— Вы не видите, вы ослепли до такой

степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно...»

Он гулял по саду до самого вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо-таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим и к концу дня еще более убедился, что «все готово», как он сказал сам себе. Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте. Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой потемневшей и уже начинавшей роситься траве точно два красных уголька. Тогда больной отстал от толпы и, став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие, росистые листья коснулись его тела, он побледнел как смерть и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу.

В больнице зажгли лампы; в ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели, кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам. Больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом: казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанное на ней растение. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. «Не подходите, не подходите!» — кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимание. И он ходил все скорее и скорее, делал шаги все больше и больше, ходил час, два с каким-то остервенением.

— Я утомлю тебя. Я задушу тебя! — глухо и злобно говорил он.

Иногда он скрежетал зубами.

В столовую подали ужинать. На большие столы без скатертей поставили по нескольку деревянных крашеных и золоченых мисок с жидкою пшенною кашицею; больные уселись на лавки; им роздали по ломтю черного хлеба. Ели деревянными ложками человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив

свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую.

— Позвольте мне сесть здесь,— сказал он надзирателю.

— Разве вы не ужинали? — спросил надзиратель, разливая добавочные порции каши в миски.

— Я очень голоден. И мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище; вы знаете, что я совсем не сплю.

— Кушайте, милый, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба.

Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши.

— Ну, довольно, довольно,— сказал наконец надзиратель, когда все кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь.— Объедитесь.

— Эх, если бы вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил! Прощайте, Николай Николаевич,— сказал больной, вставая из-за стола и крепко сжимая руку надзирателя: — Прощайте.

— Куда же вы? — спросил с улыбкой надзиратель.

— Я? Никуда. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту.

И он еще раз крепко пожал руку надзирателю. Голос его дрожал, на глазах выступили слезы.

— Успокойтесь, милый, успокойтесь,— отвечал надзиратель.— К чему такие мрачные мысли? Подите лягте да засните хорошенько. Вам больше спать следует; если будете спать хорошо, скоро и поправитесь.

Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожу поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате. Он дрожал как в лихорадке и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслыханно смертельным ядом.

V

Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь

алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что́ именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало,— нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит — тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира.

— Они не видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть.

И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но все-таки изнемогая. Утром фельдшер застал его чуть живым. Но, несмотря на это, через несколько времени возбуждение взяло верх, он вскочил с постели и попрежнему забегал по больнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад; доктор, видя, что вес его уменьшается, а он все не спит и все ходит и ходит, приказал впрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся: к счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул; бешеное движение прекратилось, и постоянно сопутствовавший ему, создавшийся из такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать.

Однако он сорвал его через три дня на глазах у старика, не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди.

— Ты зачем цветы рвешь? — спросил прибежавший за

ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него забытый им в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змей, ползучими потоками извивается зло; они опутывали его, сжимали и сдавливали члены и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветок завял. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную. Бросив бесформенный комочек зелени в раскаленную каменным углем печь, он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и наконец превратился в нежный, снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло.

На другой день больному стало хуже. Страшно бледный, с ввалившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он уже шатающеюся походкой и часто спотыкаясь продолжал свою бешеную ходьбу и говорил, говорил без конца.

— Мне не хотелось бы прибегать к насилию,— сказал своему помощнику старший доктор.

— Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем 93 фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через два дня.

Старший доктор задумался.

— Морфий? Хлорал? — сказал он полувопросительно.

— Вчера морфий уже не действовал.

— Прикажите связать его. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел.

VI

И больного связали. Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху, на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут. Наконец однажды, сильно рванувшись, он разорвал одну из повязок, освободил ноги и, выскользнув из-под других, начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие, непонятные речи.

— О щоб тоби!..— закричал вошедший сторож.— Якии тоби бис помогае! Грицко! Иван! Идите швидче, бо вин развязавсь.

Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил. Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего.

— Вы не понимаете, что вы делаете! — кричал больной, задыхаясь.— Вы погибаете! Я видел третий, едва распустившийся. Теперь он уже готов. Дайте мне кончить дело! Нужно убить его, убить! убить! Тогда все будет кончено, все спасено. Я послал бы вас, но это могу сделать только один я. Вы умерли бы от одного прикосновения.

— Молчите, паныч, молчите! — сказал старик сторож, оставшийся дежурить около постели.

Больной вдруг замолчал. Он решился обмануть сторожей. Его продержали связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином, сторож постлал что-то около постели и улегся. Через минуту он спал крепким сном, а больной принялся за работу.

Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладины постели, и, нащупав ее спрятанной в длинном рукаве сумасшедшей рубахи кистью руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая парусина подалась, и он высвободил указательный палец. Тогда дело пошло скорее. С совершенно невероятной для здорового человека ловкостью и гибкостью он развязал сзади себя узел, стягивавший рукава, расшнуровал рубаху и после этого долго прислушивался к храпению сторожа. Но старик спал крепко. Больной снял рубаху и отвязался от кровати. Он был свободен. Он попробовал дверь: она была заперта изнутри, и ключ, вероятно, лежал в кармане у сторожа. Боясь разбудить его, он не посмел обыскивать карманы и решился уйти из комнаты через окно.

Была тихая, теплая и темная ночь; окно было открыто; звезды блестели на черном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия и радуясь тому, что они, как ему казалось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решетки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться че-

рез высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после — хоть смерть.

Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не подавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшей рубахи веревку, он зацепил ею за выкованное на конце прута копье и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остаток его сил, копье согнулось; узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени, пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной. Все было тихо; огни ночников слабо освещали изнутри окна огромного здания; в них не было видно никого. Никто не заметит его; старик, дежуривший у его постели, вероятно, спит крепким сном. Звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца.

— Я иду к вам,— прошептал он, глядя на небо.

Оборвавшись после первой попытки, с оборванными ногтями, окровавленными руками и коленями, он стал искать удобного места. Там, где ограда сходилась со стеной мертвецкой, из нее и из стены выпало несколько кирпичей. Больной нащупал эти впадины и воспользовался ими. Он влез на ограду, ухватился за ветки вяза, росшего по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю.

Он кинулся к знакомому месту около крыльца. Цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на росистой траве.

— Последний! — прошептал больной.— Последний! Сегодня победа или смерть. Но это для меня уже все равно. Погодите,— сказал он, глядя на небо,— я скоро буду с вами.

Он вырвал растение, истерзал его, смял и, держа его в руке, вернулся прежним путем в свою комнату. Старик спал. Больной, едва дойдя до постели, рухнул на нее без чувств.

Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу.

1883

Медведи

На степной речке Рохле приютился город Бельск. В этом месте она делает несколько крутых излучин, соединенных протоками; все сплетение, если смотреть в ясный летний день с высокого правого берега долины реки, кажется целым бантом из голубых лент. Этот высокий берег подымается над уровнем Рохли сажен на пятьдесят и точно срезан огромным ножом так круто, что взобраться от воды наверх, туда, где начинается бесконечная степь, можно, только хватаясь за кусты бересклета, дерезы и орешника, густо покрывающих склон. Оттуда, сверху, открывается вид верст на сорок кругом. Направо к югу и налево на север тянутся холмы правого берега Рохли, круто спускающиеся в долину, как тот, с которого мы смотрим, или отлогие; некоторые из них белеют своими обнаженными от почвы меловыми вершинами и скатами; другие покрыты по большей части чахлой и низкой травой. Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то желтая от сенокосов, на которых густо разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-черная от поднятой недавно целины, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется ровною, и только привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии отлогих, невидимых, глубоких лощин и оврагов, да кое-где виднеется небольшим возвышением старый, распаханный и вросший в землю курган, уже без каменной бабы, которая, может быть, украшает в качестве скифского памятника двор Харьковского университета, а может быть, увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины.

Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется с севера на юг, то отходя от высокого берега в степь, то приближаясь и протекая под самою кручею. Она окаймлена кустами лозняка, кое-где сосною, а около города выгонами и садами. В некотором расстоянии от берега, в сторону степи, тянутся сплошной полосой почти по всему течению Рохли сыпучие пески, едва сдерживаемые красною и черною лозою и густым ковром душистого лилового чабреца. В этих песках, верстах в двух от города, приютилось и городское кладбище; с высоты оно кажется маленьким оазисом с возвышающеюся над ним деревянной колоколенкой кладбищенской церкви. Сам город не представляет собою ничего особенно выдающегося и очень похож на все

уездные города; впрочем, он выгодно отличается от своих собратий удивительною чистотою улиц, происходящею не столько от заботливости городского управления, сколько от песчаной почвы, на которой выстроен город; почва эта всасывает решительно всякое количество влаги, какое может произвести разгневанное небо, и тем приводит в большое затруднение городских свиней, которые должны отыскивать себе удобное помещение по крайней мере за две версты от города, в грязных, илистых берегах реки.

В сентябре 1875 года Бельск был необыкновенно взволнован. Обычная тишина жизни нарушилась; повсюду — в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах — происходили шумные разговоры. Можно было бы подумать, что происходившее в это время земское собрание с выборами заставило так волноваться жителей, но бывали и прежде земские собрания — и с выборами, и со скандалами — и не производили никакого особенного впечатления на бельчан. Иногда только встретившиеся на улице граждане обменяются короткими фразами:

— Были? — спросит один, указывая взорами на дом, где помещалась земская управа.

— Был! — ответит другой и при этом махнет рукою. А привыкший к способу выражения мыслей собеседник поймет без слов, в чем дело, и промолвит:

— Кто?

— Иван Петрович!

— Кого?

— Ивана Парфеныча.

Посмеются и разойдутся.

Но теперь было не то. Город шумел, как во время ярмарки. Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону и назад; солидные люди в широких летних парусинных и сырцовых шелковых костюмах направлялись туда же. Городские барышни с зонтиками, в разноцветных «панье» (тогда их носили) занимали собой всю ширину улицы, так что катавшийся в кабриолете на сером в яблоках не коне, а звере молодой купец Рогачов должен был натягивать вожжи и почти прижиматься к мазаным стенам домов. Барышень сопровождали местные кавалеры в сереньких пальто, с черными бархатными воротниками, с тросточками, в соломенных шляпах и — у кого были — в фуражках с кокардами. Братья Изотовы, коноводы всех общественных увеселений, умевшие во время кадрили

кричать «гранрон!» и «оребур!», неизменно присутствовали здесь, если не бегали по городу, сообщая знакомым дамам свежие новости.

— Из Валуйского уезда пришли! Полвыгона заняли, до самой реки,— говорил старший, Леонид.

— Я обозревал вид с вершины *пристена*,— прибавил младший, Константин, любивший выражаться изысканно.— Картина замечательная!

Пристеном назывался тот самый холм, откуда открывается вид на город и окрестности.

— Ах какая мысль! Представьте! Знаете что: прикажем заложить линейку и поедем на пристен. Это будет вроде пикника. И посмотрим оттуда.

Это предложение первой дамы Бельска, жены брата казначея (почти весь город звал ее мужа, Павла Ивановича, братом казначея), дамы, приехавшей лет восемь тому назад из Петербурга и потому владычицы мод и хорошего тона, встретило общее сочувствие. Заложили толстого гнедого в экипаж, который попадается только в уездных городах и состоит из длинных дрог с двумя длинными подножками, так что едущие помещаются в два ряда, по шести-семи человек в каждом, и сидят друг к другу спиной; компания человек в двенадцать уселась на него и поехала по городу, обгоняя отряды мальчишек, ряды барышень и толпы всякого иного народа, подвигавшиеся к выгону. Линейка, проехав по песчаным улицам города, переехала через мост и направилась к высокому правому берегу реки. Гнедой упорным шагом, морща лоснившуюся шкуру своих ляжек, взобрался на двухверстный подъем, и через полчаса путешественники сидели на краю заросшего кустами пятидесятисаженного крутого склона и смотрели на знакомый вид. Внизу, под их ногами, под самой стеной, тихо текла подошедшая в этом месте река, а за нею расстилался выгон, на который и было устремлено общее внимание.

Он пестрел, как огромный ковер из лоскутьев. Видны были грязно-белые палатки, множество повозок, толпа пестрого народа: темные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные рубахи, яркие желтые и красные одежды женщин; толпа народа окружала все собравшиеся таборы цыган. Был чудный, немного жаркий и совершенно тихий день; на высоту, где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы, тяжелые удары молота о мягкое железо, конское ржанье и рев десятков приведенных из несколь-

ких уездов цыганских поильцев и кормильцев — ручных медведей.

Ольга Павловна смотрела на эту пестроту в бинокль и восхищалась.

— Ах как это интересно! Какой большой! Посмотрите, Леонид, какой большой медведь там, направо. И рядом с ним молодой цыган — совершенный Адонис.

Она передала бинокль молодому человеку, и он увидел фигуру стройного и очень грязного юноши, который стоял около зверя, переваливавшегося с лапы на лапу, и ласкал его.

— Позвольте и мне,— сказал толстый бритый господин в парусине и соломенной шляпе. Он внимательно смотрел несколько времени и, обернувшись к Ольге Павловне, сказал с тяжелым вздохом:

— Да-с, Ольга Павловна, Адонис. Но какой, я вам доложу, из этого Адониса конокрад выйдет — первый сорт.

— Mon Dieu![1] вы непременно стараетесь перевести на прозу всякую поэзию. Почему конокрад? Я не хочу этому верить. Он так хорош.

— Хорош-то хорош... но как ему прикажете поддерживать свое прекрасное тело без этого медведя? Вот перебьют их завтра, и из этой тысячи цыган половина пойдет по миру.

— Они могут ковать, предсказывать...

— Предсказывать! Был у меня вчера Илья-коновал: вот поговорите с ним. «Хороши, говорит, у вас, Фома Фомич, серые, да только берегите от нашего брата».— «А что, говорю, не ты ли стащишь?» Ухмыляется, каналья! Предсказывать! Вот у него прорицания какие!

От линейки отвязали большую корзину, из которой появились яства и пития, и общество начало насыщаться, весело болтая и почти не обращая внимания на расстилавшуюся у их ног картину. Солнце садилось, огромная тень от холма быстро бежала на выгон, на город, на степь; очертания сглаживались, и, как это бывает на юге, день быстро сменился ночью. Далекие извивы реки заблестели холодным лунным светом; в городе показались огоньки; в цыганском таборе зажгли костры, красневшие сквозь туман, подымавшийся с уснувшей реки под пристеном. А наверху Константин и Леонид наперерыв рассказывали смешные анекдоты; Ольга Павловна изредка снисходи-

---

[1] Боже мой! (*фр.*).

тельно улыбалась; барышни громко хихикали и иногда прыскали. Зажгли свечи в стеклянных колпаках; кучер и горничная раздували в кустах самовар, причем последняя по временам отчего-то взвизгивала, впрочем, весьма осторожно. Толстый Фома Фомич долго молчал и наконец перебил анекдот Леонида на самом интересном месте.

— Когда же наконец назначена эта медвежья казнь? — спросил он.

— В среду утром,— разом ответили братья Изотовы.

С четырех уездов сошлись несчастные цыгане со всем своим скарбом, с лошадьми и медведями. Больше сотни косолапых зверей, от маленьких медвежат до огромных стариков в поседевших и выцветших шкурах, было собрано на городском выгоне. Цыгане с ужасом ждали решительного дня. Многие пришедшие первыми жили на городском выгоне уже недели две; начальство ждало прихода всех переписанных к тому времени цыган, чтобы устроить разом большую казнь. Им было дано пять лет льготы после выхода закона, прекратившего промысел ручными медведями, и теперь срок этой льготы истек: цыгане должны были явиться в назначенные для сбора пункты и сами перебить своих кормильцев.

Они в последний раз совершали свой поход по деревням с знаменитою козою и ее барабанщиком, непременными спутниками медведей. В последний раз, завидев, как они спускаются со степи в яр, где обыкновенно расположены украинские слободы, толпа мальчишек и девчонок бежала к ним за версту навстречу и с ликованьем возвращалась вместе с их нестройной толпой вниз, в слободу, где начиналось самое торжество.

Да, это было торжество! Они останавливались у кабака или у какой-нибудь хаты побогаче, а где была помещичья усадьба, то перед панским домом, и начиналось представление, лечение, торговля и мена, гаданье, ковка лошадей и починка телег; и чего-чего тут не было в долгий летний день до самого вечера, когда цыгане уходили за слободу, на толбку, растягивали там свои палатки или просто натягивали холстину на оглобли, зажигали костры и готовили себе ужин. И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная толпа.

— Ну, пора, пора,— говорит мне, маленькому мальчику, отец.

— Еще немножечко, еще немножечко!..

И отцу самому не хотелось уезжать. Мы сидели с ним на беговых дрожках; старый мерин Васька, повернув голову к огням и насторожив уши на медведей, стоял смирно, изредка фыркая; огни табора бросали дрожащий красный свет и неопределенные, колеблющиеся тени; легкий туман поднимался из лощины сбоку нас, а за табором расстилалась степь. Темные крылья ветряной мельницы рисовались на небе; за нею уходило безграничное таинственное пространство, окутанное серебристо-серым сумраком. Шум табора не заглушал тихих и чистых звуков степной ночи: то донесется из далекого пруда торжественный, звонкий хор лягушек, то звенящим треском раздастся мерный и торопливый крик дергача, то перепелы начнут кричать свое «пить пойдем! пить пойдем!», то откуда-то долетят непонятные, неведомые звуки, слабые и гармоничные: что это? звук ли далекого колокола, принесенный легким ветерком, или голос природы, языка которой мы не понимаем?..

Но в лагере все успокаивается; понемногу тушат ненужные огни; медведи, ворочаясь, звякают своими цепями и изредка глухо урчат под телегами, к которым прикованы; цыгане укладываются спать. Один из них отошел в сторону и горловым тенором запел странную песню на родном языке, непохожую на песни московских цыган и опереточных певиц, своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, донесшуюся откуда-то из неизвестной темноты... Никто не знает, когда сложена она, какие степи, леса и горы породили ее; она осталась живым свидетелем старины, забытой и тем, кто поет ее теперь под чужим, горящим звездами небом, в чужих степях...

— Поедем,— говорит отец. Застоявшийся Васька бодро трогается с места, и дрожки катятся по извилистой дороге вниз, в лощину; легкая пыль слабо взвивается из-под колес и тут же, будто сонная, падает на слегка росистую траву.

— Папа, знает ли кто-нибудь по-цыгански?

— Сами они, конечно, знают, а из других я не видел никого, кто умел бы говорить с ними.

— Я хотел бы научиться. Я хотел бы знать, что он пел... Папа, они язычники? Может быть, он пел про своих богов: как они жили, как воевали...

Мы возвратились домой, и я лежу под одеялом, а во-

ображение все еще работает и создает странные образы в маленькой голове, уже склонившейся на подушку.

Теперь по деревням уже не водят медведей. Да и цыгане стали редко бродить: большей частью они живут в тех местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопченное полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкою лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным дощатым балаганам. Это было в губернском городе: недалеко от больницы и базарной площади, на клочке еще не застроенной земли, рядом с почтовой дорогой, цыгане устроили целый маленький городок. Только смуглые глазастые лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчин, грязные яркие тряпки женщин и нагие бронзовые ребятишки напоминали мне былую картину вольного цыганского табора. Из балаганов слышался лязг железа; я заглянул в один из них: какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой, взявший заказ и работающий, чтобы поскорее кончить его и навалить на себя новый. Он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в кучу в углу балагана; он работал с мрачным, сосредоточенным видом, сильно торопясь; это было днем; проходя уже довольно поздно вечером, я подошел к балагану и увидел старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно было видеть цыганский табор почти внутри города, между земской больницей, базаром, острогом и каким-то плацем, где учились солдаты и поминутно раздавалось: «На плечо! На краул!» — рядом с дорогой, с которой ветер поднимал тучи пыли, заносся ею и дощатые балаганы, и костры с котелками, в которых закутанные пестрыми платками цыганки варили какую-то кашицу, и самих цыган, и их голых ребятишек.

Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое артистическое искусство: плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая баба; в последний раз они получали угощение в виде стаканчика водки, который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался и выражал свое удо-

вольствие тихим ревом, полным каких-то странных вздохов. В последний раз к цыганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным, испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы, и лежал, пока цыган не считал сеанса уже достаточно продолжительным. В последний раз их вводили в хаты, причем, если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол и сажали там, и радовались его согласию как доброму знаку; а если он, несмотря на все уговоры и ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а соседи говорили:

— Шось такѐ е! Бо вин зна!

Большая часть цыган пришла из западных уездов, так что им приходилось спускаться к Бельску двухверстным спуском, и, завидев издали место своего несчастия, этот городок с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи из сочувствия, а может быть,— кто знает? — поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь, что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать волов и лошадей, а сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые возы, туда, где хохлы привязывают дегтярную *мазныцю с квачем*.

У ворот бельского исправника собралось несколько стариков цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были черные или синие суконные бешметы с наборными серебряными с чернью поясами, шелковые рубахи с узеньким галуном по воротнику, плисовые шаровары, большие сапоги, у некоторых с расшитыми и прорезанными узором голенищами, и большей частью барашковые шапки. Это убранство надевалось только в самых торжественных случаях.

— Спит? — спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости цыган выходившего из двора городового, одного из одиннадцати, обязанных охранять порядок в городе Бельске.

— Встает, одевается. Сейчас позовут вас,— отвечал городовой.

Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие,

зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старший вынул что-то из кармана шаровар; все окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его руках.

— Ничего не будет,— сказал он наконец.— Разве он что может? Разве это от него? Это из Петербурга, сам министр приказал. По всем местам медведей бьют.

— Попробуем, Иван, может, как-нибудь...— ответил другой старик.

— Попробовать можно,— отвечал уныло Иван.— Только и денежки он наши возьмет и ничем не поможет.

Их позвали к исправнику. Они вошли толпою в переднюю, и, когда к ним вышел усатый человек в расстегнутом полицейском мундире, из-под которого была видна красная канаусовая рубашка, старики упали ему в ноги. Они просили его, предлагая ему деньги. Многие плакали.

— Ваше высокоблагородие,— говорил Иван,— сами посудите, куда мы теперь подадимся? Были у нас медведи — жили мы смирно, никого не обижали... Есть у нас молодцы, что и лихим делом промышляют; да, ваше высокоблагородие, разве конокрадов и русских мало? Никому от наших зверей обиды не было, всем утеха. Теперь же что будет? По миру должны мы идти, а не то ворами, бродягами быть. Отцы наши и деды медведей водили; земли мы пахать не умеем; кузнецы мы все, да ведь хорошо было кузнецами быть, за работой по всей земле ходя, а теперь работа к нам сама не пойдет. И будут наши молодцы ворами-конокрадами: некуда больше податься, ваше высокоблагородие. Как перед богом говорю, не скрываюсь: большое зло сделали и нам и всем добрым людям, медведей у нас отнявши. Может, вы нам поможете; бог вам за это пошлет, господин добрый!

Старик упал на колени и в ноги поклонился исправнику. Остальные сделали то же. Майор стоял с мрачным видом, поглаживая длинные усы и засунув другую руку в карман синих рейтуз. Старик достал довольно толстый кожаный бумажник и подал его.

— Не возьму,— мрачно сказал исправник.— Ничего не могу сделать.

— Да вы бы взяли, ваше высокоблагородие,— раздалось в толпе.— Может, что-нибудь... Вы бы написали.

— Не возьму,— громче прежнего сказал исправник.— Не за что. Ничего нельзя. Это закон... Вам пять лет льготы было дано... Что уж тут делать?..

И он развел руками.

Старики молчали. Исправник продолжал:

— Я сам знаю, какая это беда и вам и нам,— теперь только смотри за лошадьми; да что ж я могу поделать? Ты, дед, спрячь деньги: я даром денег не беру. Вот попадутся мне ваши ребята с конями — не прогневайтесь, но брать даром не в моих правилах. Спрячь, спрячь, старик: вам деньги пригодятся.

— Ваше высокоблагородие,— сказал Иван, все держа бумажник в руках,— дозвольте еще слово выговорить. Позвольте завтра... (его голос задрожал) — позвольте завтра покончить. Истомились мы, измучились. Две недели я вот пришел со своими, прожились вовсе...

— Еще одной партии, старик, нет; надо подождать. У меня с вами тут и так весь город с ума сошел. Надо разом.

— Да пришли уже, ваше высокоблагородие: как мы к вам пошли — с горы спускались. Сделай такую милость, господин! Не томи ты нас.

— Ну, если пришли, так завтра, часов в десять, я к вам приеду. Ружья у вас есть?

— Есть ружья, да не у всех.

— Хорошо, я попрошу полковника дать из команды. С богом! Жаль мне вас, очень жаль.

Старики пошли к двери, но исправник окликнул их:

— Постойте, эй вы! Вот я вам что скажу: вы пойдите к аптекарю Фоме Фомичу,— знаете аптеку подле собора? — пойдите, скажите, что я вас послал. Он у вас все сало медвежье скупит: ему оно в мазь пойдет. И шкуры, может быть. Хорошую цену даст; не пропадать же им так, в самом деле.

Цыгане поблагодарили и толпою отправились в аптеку. Разрывались их сердца; почти без торга продали они смертные останки своих друзей. Фома Фомич скупил все сало по четырнадцати копеек, а о шкурах обещал поговорить после. Случившийся тут же купец Рогачов, надеясь сделать хорошую аферу, сторговал все медвежьи окорока по пятачку за фунт.

Вечером того же дня братья Изотовы прибежали, запыхавшись, к казначееву брату.

— Ольга Павловна, Ольга Павловна, назначили на завтра! Все пришли! Уже и ружья полковник дал,— говорили они наперерыв.— Фома Фомич купил все сало по четырнадцати копеек фунт. Рогачов окорока...

— Постойте, постойте, Леонид,— перебила Ольга Павловна,— зачем Фоме Фомичу медвежье сало?

— Для мазей; превосходная помада для рощения волос.

И при этом Константин рассказал интересный анекдот о том, как некоторый лысый господин, намазывая себе голову медвежьим жиром, вырастил себе волосы на руках.

— И должен был брить их каждые два дня,— заключил Леонид, причем оба брата разразились хохотом.

Ольга Павловна улыбнулась и задумалась. Она уже давно носила шиньон, и сведения о медвежьем сале пришлись ей по сердцу; и когда вечером аптекарь Фома Фомич пришел сыграть пульку с ее мужем и казначеем, она издалека завела разговор и ловко вынудила у него обещание прислать ей медвежьей помады.

— Непременно-с, непременное-с, Ольга Павловна. Даже с духами. Вы что предпочитаете — пачули или иланг-иланг?

Настало пасмурное, холодное, настоящее сентябрьское утро. Изредка накрапывал мелкий дождь, но, несмотря на него, множество зрителей обоего пола и всех возрастов пришли на луг посмотреть интересное зрелище. Город почти опустел. Все наличные экипажи: одна имевшаяся в городе карета, несколько фаэтонов, дрожек и линеек — были заняты перевозкой любопытных; они доставляли их к табору и возвращались в город за новыми партиями. К десяти часам все уже собрались.

Цыгане потеряли всякую надежду. В лагере не было большого шума: женщины забились в шатры вместе с малыми ребятишками, чтобы не видеть казни, и только изредка из которого-нибудь из них вырывался отчаянный вопль; мужчины лихорадочно делали последние приготовления. Они откатывали к краю становища телеги и привязывали к ним зверей.

Исправник с Фомой Фомичом прошлись вдоль ряда осужденных. Медведи были не совсем спокойны: необыкновенная обстановка, странные приготовления, огромная толпа, большое скопление их самих в одном месте — все приводило их в возбужденное состояние; они порывисто метались на своих цепях или грызли их, глухо рыча. Старый Иван стоял возле своего огромного кривого медведя.

Его сын, пожилой цыган, уже с серебристой проседью в черных волосах, и внук, тот самый юноша — Адонис, на которого обратила свое внимание Ольга Павловна, с помертвевшими лицами и горящими глазами торопливо привязывали медведя.

Исправник поравнялся с ними.

— Ну, старик,— сказал он,— прикажи ребятам, чтоб начинали.

Толпа зрителей заволновалась, поднялся говор, крики, но скоро все стихло, и среди мертвой тишины раздался негромкий, но важный голос. Это говорил старик Иван.

— Дозволь, господин добрый, сказать мне слово. Прошу вас, братья, дайте мне первому покончить. Старше я всех вас: девяносто лет через год мне стукнет, а медведей вожу я сызмала. И во всем таборе нету зверя старше моего.

Он опустил седую курчавую голову на грудь, горько покачал ею и вытер кулаком глаза. Потом он выпрямился, поднял голову и продолжал громче и тверже прежнего:

— Потому и хочу я первый покончить. Думал я, что не доживу до такого горя, думал, и медведь мой любимый не доживет, да, видно, не судьба: своей рукой должен я убить его, кормильца своего и благодетеля. Отвяжите его, пустите на волю. Никуда не пойдет он: нам с ним, старикам, от смерти не бегать. Отвяжи его, Вася: не хочу убивать его, как скота на привязи. Не бойтесь,— сказал он зашумевшей толпе,— не тронет он никого.

Юноша отвязал огромного зверя и отвел немного от телеги. Медведь уселся на задние лапы, спустив передние вниз, и раскачивался из стороны в сторону, тяжело вздыхая и хрипя. Он был действительно очень стар; его зубы были желты, шкура порыжела и вылезла; он дружелюбно и печально смотрел на своего старого хозяина единственным маленьким глазом. Кругом была мертвая тишина. Слышно было только, как звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы заряжаемых винтовок.

— Дайте ружье,— твердо сказал старик.

Сын подал ему винтовку. Он взял ее и, прижимая к груди, начал говорить снова, обращаясь к медведю:

— Убью я тебя сейчас, Потап. Дай боже, чтоб старая рука моя не дрожала, чтобы попала тебе пуля в самое сердце. Не хочу я мучить тебя, не того ты заслужил, медведь мой старый, товарищ мой добрый. Взял я тебя маленьким медвежонком, глаз у тебя был выколот, нос от

кольца гнил, болел ты и чах; я за тобой, как за сыном, ходил и жалел тебя, и вырос ты большим и сильным медведем; нет другого такого во всех таборах, что здесь собрались. И вырос ты и не забыл добра моего: между людьми у меня друга такого, как ты, не было. Ты добр и смирен был, и понятлив, и всему выучился, и не видел я зверя добрее и понятливее. Что я был без тебя? Твоею работою вся семья моя жива. Ты справил мне две тройки коней, ты мне хату на зиму выстроил. Больше еще сделал ты: сына моего от солдатчины избавил. Большая наша семья, и всех, от старого до малого младенца, ты в ней до сих пор кормил и берег. И любил я тебя крепко и не бил больно, а если виноват в чем перед тобою, прости меня, в ноги тебе кланяюсь.

Он повалился медведю в ноги. Зверь тихо и жалобно зарычал. Старик рыдал, вздрагивая всем телом.

— Бей, батюшка! — сказал ему сын.— Не рви нам сердце.

Иван поднялся. Слезы больше не текли из его глаз. Он отвел со лба упавшую на него свою седую гриву и продолжал твердым и звонким голосом:

— И вот теперь я убить тебя должен... Приказали мне, старик, застрелить тебя своей рукой; нельзя тебе больше жить на свете. Что же? Пусть бог на небе рассудит нас с ними.

Он взвел курок и твердой еще рукой прицелился в зверя, в грудь, под левую лапу. И медведь понял. Из его пасти вырвался жалобный, отчаянный рев; он встал на дыбы, подняв передние лапы и как будто закрывая ими себе глаза, чтобы не видеть страшного ружья. Вопль раздался между цыганами; в толпе многие плакали; старик с рыданием бросил ружье о землю и бессильно повалился на него. Сын бросился подымать его, а внук схватил ружье.

— Будет! — закричал он диким, исступленным голосом, сверкая глазами.— Довольно. Бей, братцы, один конец!

И, подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху и выстрелил. Медведь рухнул безжизненной массой; только лапы его судорожно вздрогнули, и пасть раскрылась, как будто зевая. По всему табору затрещали выстрелы, заглушаемые отчаянным воем женщин и детей. Легкий ветер относил дым к реке.

— Сорвался! сорвался! — раздалось в толпе. Как стадо испуганных овец, все кинулись врассыпную. Исправник, толстый Фома Фомич, мальчишки, Леонид и Константин, барышни — все бежало в паническом страхе, натыкаясь на шатры, на повозки, падая друг на друга и крича. Ольга Павловна едва не упала в обморок, но страх придал ей сил, и она, подняв платье, бежала по лугу, не думая о беспорядке в костюме, причиненном поспешным бегством. Лошади, запряженные в ожидавшие господ экипажи, начали беситься и понеслись в разные стороны. Но опасность была вовсе не так велика. Обезумевший от ужаса зверь, не старый еще темно-бурый медведь, с обрывком цепи на шее, бежал с удивительной легкостью; перед ним все расступалось, и он мчался как ветер прямо к городу. Несколько цыган с ружьями бежали за ним. Попадавшиеся на улице немногие пешеходы прижимались к стенам, если не успевали спрятаться в ворота. Ставни запирались; все живое попряталось; исчезли даже собаки.

Медведь несся мимо собора по главной улице, иногда кидаясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спрятаться, но все было заперто. Он промчался мимо лавок, встреченный неистовым криком приказчиков, которые хотели его испугать, пролетел мимо банка, прогимназии, казармы уездной команды на другой конец города, выбежал на дорогу на берег реки и остановился. Преследователи отстали, но скоро из улицы показалась толпа уже не одних цыган. Исправник и полковник ехали на дрожках с ружьями в руках; цыгане и взвод солдат поспевали за ними бегом. У самых дрожек бежали Леонид и Константин.

— Вот он, вот он! — закричал исправник.— Жарь, катай его!

Раздались выстрелы. Одна из пуль задела зверя; в смертельном страхе он побежал быстрее прежнего. За версту от города, вверх по Рохле, куда бежал он, находится большая водяная мельница, со всех сторон окруженная небольшим, но густым лесом; зверь направлялся туда. Но, запутавшись в рукавах реки и плотинах, он сбился с дороги; широкое пространство воды отделяло его от густой дубовой заросли, где он, может быть, мог бы найти если не спасение, то отсрочку. Но он не решился плыть. На этой стороне густо разросся странный кустарник, растущий только в южной России, так называемый люциум. Его длинные, гибкие, неветвистые стебли растут так густо,

что человеку почти невозможно пройти сквозь заросль; но у корней есть щели и прогалины, в которые могут пролезать собаки, а так как они часто ходят туда спасаться от жары и понемногу расширяют проход своими боками, то в густой заросли образуется со временем целый лабиринт ходов. Туда и кинулся медведь. Мукосеи, смотревшие на него из верхнего этажа мельницы, видели это, и когда прибежала запыхавшаяся и измученная погоня, исправник приказал оцепить место, где скрылся зверь.

Несчастный забился в самую глубину кустов; рана его от пули, сидевшей у него в ляжке, сильно болела; он свернулся в комок, уткнув морду в лапы, и лежал неподвижно, оглушенный, обезумевший от страха, лишавшего его возможности защищаться. Солдаты стреляли в кусты, думая задеть его и заставить зареветь, но попасть наугад было трудно.

Его убили уже поздно вечером, выгнав из убежища огнем. Всякий, у кого было ружье, считал долгом всадить пулю в издыхающего зверя, и когда с него сняли шкуру, она никуда не годилась.

Недавно мне случилось побывать в Бельске. Город почти не изменился: только банк лопнул да прогимназия превратилась в гимназию. Исправника сменили, дав ему за распорядительность место частного пристава в губернском городе; братья Изотовы по-прежнему кричат «гранрон» и «оребур» и бегают по городу с рассказами о самых свежих новостях; аптекарь Фома Фомич потолстел еще больше и, несмотря на то, что сделал выгодное дело, скупив медвежье сало по четырнадцати копеек, а продав его по восьми гривен фунт, что дало в целом немалую сумму, до сих пор с большим неудовольствием говорит об избиении медведей.

— Говорил я вот тогда Ольге Павловне, какой из этого Адониса конокрад выйдет... Ну и что же? Недели не прошло — свел мою пару серых, мерзавец.

— А вы знаете, что это он? — спросил я.

— Как же не он? Ведь его судили в прошлом году за конокрадство и разбой. На каторгу пошел.

— Ах как мне было его жаль! — грустно сказала Ольга Павловна.

Бедная дама порядочно постарела за эти годы, и, несмотря на то, что, по словам Фомы Фомича (который ска-

зал мне это по секрету), она вымазала на свою голову фунта четыре медвежьей помады, волосы ее не только не стали гуще, но даже поредели. Впрочем, шиньон так хорошо закрывает их, что решительно ничего не заметно.

1883

Сказка о жабе и розе

Жили на свете роза и жаба.

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего ее тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле

плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был ее словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.

— Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? — спрашивает из окна сестра.— Может быть, ты с ним побегаешь?

— Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед тол-

стым, окруженным мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам — травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.

— Вася, милый, иди домой, сыро становится,— громко сказала сестра.

И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар.

Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

— Маша! — вдруг шепчет он сестре.

— Что, милый?

— Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.

— Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

— Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце; он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Ее заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

— Постой,— прохрипела она,— я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда — не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

— Я тебя слопаю! — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к розе.

— Я тебя слопаю! — повторяла она, все глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные

липкие лапы цепляются за ветки куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

— Господи! — молилась она.— Хоть бы умереть другою смертью!

А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок...

— Я сказала, что я тебя слопаю! — повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень, роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поет для нее, а может быть, это была и правда. Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх — и вдруг среди звонкого и нежного рокота соловья роза услышала знакомое хрипение:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает...

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

— Маша,— вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

— Что, милый?

— Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне... одну?

— Можно, голубчик, можно! — Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.

— Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе ее сюда на столик в стакане? Да?

— Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.

— Ах какая гадость! — вскрикнула она. И схватив ветку, она сильно тряхнула ее: жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.

— Дай ее мне,— прошептал он.— Я понюхаю.

Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

— Ах как хорошо...

Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал... навсегда.

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю.

1884

Надежда Николаевна

I

Я давно хотел начать свои записки. Странная причина заставляет меня взяться за перо: иные пишут свои мемуары потому, что в них много интересного в историческом отношении; другие потому, что им еще раз хочется пережить счастливые молодые годы; третьи затем, чтобы покляузничать и поклеветать на давно умерших людей и оправдаться перед давно забытыми обвинениями. Ни одной из этих причин у меня нет. Я еще молодой человек; истории не делал и не видел, как она делается; клеветать на людей незачем и оправдываться мне не в чем. Еще раз пережить счастье? Оно было так коротко, и конец его был так ужасен, что воспоминания о нем не доставят мне отрады, о нет!

Зачем же точно неведомый голос нашептывает мне их на ухо, зачем, когда я просыпаюсь ночью, передо мною в темноте проходят знакомые картины и образы и зачем, когда является один бледный образ, лицо мое пылает, и руки сжимаются, и ужас и ярость захватывают дыхание, как в тот день, когда я стоял лицом к лицу с своим смертельным врагом?

Я не могу отделаться от своих воспоминаний, и странная мысль пришла мне в голову. Может быть, если я изложу их на бумаге, я этим покончу все свои счеты с ними... Может быть, они оставят меня и дадут спокойно умереть. Вот странная причина, заставляющая меня взять-

ся за перо. Может быть, эта тетрадка будет прочтена кем-нибудь, может быть — нет. Это мало занимает меня. Поэтому я могу и не извиняться перед своими будущими читателями ни в выборе темы для своего писания, темы, нисколько не интересной людям, привыкшим заниматься если не мировыми, то общественными вопросами, ни в форме изложения. Правда, мне хочется, чтобы эти строки прочел один человек, но этот человек не осудит меня. Ему дорого все, что меня касается. Этот человек моя сестра.

Отчего она сегодня так долго не идет? Вот уже три месяца, как я пришел в себя после того дня. Первое лицо, которое я увидел, было лицо Сони. И с тех пор она проводит со мной каждый вечер. Это сделалось для нее какой-то службой. Она сидит у моей постели или у большого кресла, когда я в силах сидеть, разговаривает со мною, читает вслух газеты и книги. Ее очень огорчает, что я равнодушен к выбору чтения и предоставляю его ей.

— Вот, Андрей, в «Вестнике Европы» новый роман: «Она думала, что это не так».

— Хорошо, голубчик, будем читать «Она думала, что это не так».

— Роман миссис Гей.

— Хорошо, хорошо...

И она начинает читать длинную историю о каком-то мистере Скрипле и мисс Гордон и после первых двух страниц обращает на меня свои большие добрые глаза и говорит:

— Это недолго: «Вестник Европы» всегда сокращает романы.

— Хорошо, хорошо. Я буду слушать.

Она продолжала читать обстоятельную историю, выдуманную госпожою Гей, а я смотрю на ее опущенное лицо и не слушаю назидательной истории. И иногда в тех местах романа, где по замыслу госпожи Гей нужно бы было смеяться, горькие слезы душат мне горло. Она оставляет книгу и, посмотрев на меня проницательным и боязливым взглядом, кладет мне на лоб свою руку.

— Андрей, милый, опять... Ну, будет, будет. Не плачь. Все пройдет, все забудется...— говорит она тем тоном, каким мать утешает ребенка, набившего себе на лбу шишку. И хотя моя шишка пройдет только с жизнью, которая — я чувствую — понемногу уходит из моего тела, я все-таки успокаиваюсь.

О моя дорогая сестра! Как я чувствую цену этой жен-

ской ласки! Да благословит тебя бог, и пусть черные страницы начала твоей жизни, страницы, на которых вписано мое имя, сменятся радостной повестью счастья! Только пусть эта повесть не будет похожа на утомительное повествование миссис Гей.

Звонок! Наконец-то! Это она; она придет, внесет в мою темную и душную комнату запах свежести, нарушит ее молчание тихою, ласковою речью и осветит ее своею красотою.

II

Я не помню своей матери, а отец умер, когда мне было четырнадцать лет. Мой опекун, дальний родственник, перевел меня в одну из петербургских гимназий; через четыре года я кончил в ней курс. Я был совершенно свободен; опекун, человек, занятый своими огромными делами, в своих заботах обо мне ограничивался только выдачей мне денег в количестве, по его мнению, необходимом для того, чтобы я не бедствовал. Это был не очень большой доход, но совершенно избавлявший меня от забот о куске хлеба и позволивший мне выбрать себе дорогу.

Выбор был сделан давно. Лет четырех я любил больше всего на свете возиться с карандашами и красками, а к концу курса в гимназии рисовал уже очень порядочно, так что без всяких затруднений поступил в Академию художеств.

Был ли у меня талант? Теперь, когда я уже никогда не подойду к холсту, я, кажется, могу беспристрастно взглянуть на себя как на художника. Да, у меня был талант. Я думаю так не по отзывам товарищей и знатоков, не по быстроте, с какою я прошел курс академии, а по тому жившему во мне чувству, которое являлось всякий раз, когда я начинал работать. Тот, кто не художник, не может испытать тяжелого и сладкого волнения, с каким первый раз приступаешь к новому холсту, чтобы начертить на нем свое создание. Тот, кто не художник, не может испытать забвения всего окружающего, когда дух погружен в образы... Да, у меня был талант, и я вышел бы недюжинным живописцем.

Вот они висят по стенам — мои холсты, этюды и эскизы, неоконченные, начатые картины. Вот и она... Нужно попросить сестру, чтобы ее убрали в другую комнату. Или нет, нужно повесить ее как раз в ногах моей постели, что-

бы она всегда смотрела на меня своим грустным, как будто чующим казнь взором. В синем платье, в нарядном белом чепчике с большой трехцветной кокардой сбоку, с выбившимися из-под его белой оборки густыми волнующимися прядями темно-каштановых волос, она смотрит на меня как живая. О Шарлотта, Шарлотта! Благословлять или проклинать тот час, когда мне пришла в голову мысль написать тебя?

А Бессонов был всегда против этого. Когда я в первый раз сказал ему о своем намерении, он пожал плечами и недовольно усмехнулся.

— Шальные вы люди, господа российские живописцы,— сказал он.— Мало у нас своего! Шарлотта Корде! Какое вам дело до Шарлотты? Разве вы можете перенести себя в то время, в ту обстановку?

Может быть, он был и прав... Но только образ французской героини так занимал меня, что я не мог не приняться за картину. Я задумал написать ее во весь рост, одну, стоящую прямо перед зрителями, с глазами, устремленными перед собой; она уже решилась на свой подвиг-преступление, и это написано только на ее лице: рука, которая несет смертельный удар, пока еще висит бессильно и нежно выделяется своею белизною на темно-синем суконном платье; кружевная пелеринка, завязанная накрест, оттеняет нежную шею, по которой завтра пройдет кровавая черта... Я помню, как ее образ создался в моей душе... Я прочел ее историю в одной сентиментальной и, может быть, лживой книге, у Ламартина; из ложного пафоса болтливого и любующегося своим языком и манерой француза для меня ясно и отчетливо вышла чистая фигура девушки — фанатика добра. Я перечитал о ней все, что мог достать, пересмотрел несколько ее портретов и решился написать картину.

Первая картина, как первая любовь, овладевает душою вполне. Я носил в себе этот слагавшийся образ, я обдумывал мельчайшие подробности и дошел наконец до того, что, закрыв глаза, мог ясно представить себе свою Шарлотту.

Но, начав картину со счастливым страхом и радостным волнением, я сразу встретил нежданное и трудно одолимое препятствие: у меня не было натурщицы.

То есть они, собственно говоря, были. Я выбрал, как мне показалось, наиболее подходящую из нескольких особ, занимающихся этим делом в Петербурге, и начал

усердно работать. Но, боже мой, как не похожа была эта Анна Ивановна на взлелеянное мною создание, так ясно представлявшееся моим закрытым глазам! Она позировала прекрасно, она не шевелилась по часу и добросовестно зарабатывала свой рубль, чувствуя большое удовольствие от того, что ей можно было стоять на натуре в платье и не обнажать своего тела.

— Так хорошо это в платье позировать! А то другие уж смотрят, смотрят, всю-то глазами обыщут...— сказала она мне со вздохом и легкой краской на лице на первом сеансе.

Она сделалась натурщицей всего только месяца два и не могла еще привыкнуть к своему ремеслу. Русские девушки, кажется, и никогда не могут к нему привыкнуть.

Я написал ее руки, плечи и стан, но когда принялся за лицо, отчаяние овладело мною. Пухленькое молодое лицо с немного вздернутым носом, добродушными серыми глазками, доверчиво и довольно жалобно смотревшими из-под совершенно круглых бровей, заслонило мою мечту. Я не мог пересоздать эти неопределенные и мелкие черты в то лицо. Я бился с своей Анной Ивановной три или четыре дня и наконец оставил ее в покое. Другой натурщицы не было, и я решился сделать то, чего во всяком случае делать не следовало: писать лицо без натуры, из головы, «от себя», как говорят художники. Я решился на это потому, что видел в голове свою героиню так ясно, как будто бы я видел ее перед собой живою. Но когда началась работа, кисти полетели в угол. Вместо живого лица у меня вышла какая-то схема. Идее недоставало плоти и крови.

Я снял холст с мольберта и поставил его в угол лицом к стене. Неудача сильно поразила меня. Помню, что я даже схватил себя за волосы. Мне казалось, что и жить-то не стоит, задумав такую прекрасную картину (а как она была хороша в моем воображении!) и не будучи в состоянии написать ее. Я бросился на кровать и с горя и досады старался заснуть.

Помню, что, когда я уже забывался, позвонили: почтальон принес письмо от кузины Сони. Она радовалась тому, что я задумал большую и трудную работу, и жалела, что так трудно найти натурщицу. «Не пригожусь ли я, когда кончу институт? Подожди полгода, Андрей,— писала она,— я приеду к тебе в Петербург, и ты можешь писать с меня хоть десять Шарлотт Корде... если только

во мне есть хоть капля сходства с тою, которая, как ты пишешь, теперь владеет твоею душой».

Соня совсем не похожа на Шарлотту. Она не способна наносить раны. Она любит больше лечить их и чудесно делает это.

И меня бы она вылечила... если бы это было возможно.

III

Вечером я пошел к Бессонову.

Я вошел к нему, когда он сидел, согнувшись над своим заваленным книгами, рукописями и вырезками из газет письменным столом. Рука его быстро ходила по бумаге: он писал очень скоро, без помарок мелким и ровным кудреватым почерком. Он мельком взглянул на меня и продолжал писать; упорная мысль, видимо, владела им в эту минуту, и он не хотел оторваться от работы, не передав ее бумаге. Я сел на широкий, низкий и очень потертый диван (он спал на нем), стоявший в тени, и минут пять смотрел на него. Его правильный, холодный профиль мне был хорошо знаком: не раз я зачерчивал его в свой альбом, однажды даже написал с него этюд красками. Этого этюда у меня нет: он послал его матери. Но в этот вечер, потому ли, что я уселся в тени, а он был хорошо освещен ярко падавшим на него светом лампы с зеленым стеклянным абажуром, или потому, что нервы у меня были расстроены, его лицо как-то особенно привлекало мое внимание. Я смотрел на него и разбирал его голову по деталям, исследовал малейшие черты, до сих пор ускользавшие от меня. Его голова была бесспорно головой сильного человека. Может быть, не очень талантливого, но сильного.

Четвероугольный череп, почти без изгиба переходивший в широкий и мощный затылок; круто спускавшийся и выпуклый лоб; брови, опущенные на середине и сжимавшие кожу в вертикальную складку, сильные челюсти и тонкие губы — все это казалось мне сегодня чем-то новым.

— Что вы на меня так смотрите? — вдруг спросил он, положив перо и оборачиваясь ко мне лицом.

— Почему вы узнали?

— Я чувствовал. Кажется, это не предрассудок; мне не раз приходилось испытывать подобное.

— Я смотрел на ваше лицо как на модель. У вас преоригинальная голова, Сергей Васильевич.

— Право? — сказал он с усмешкою.— Ну и пусть ее.

— Нет, серьезно. Вы на кого-то похожи... из знаменитых....

— Мошенников или убийц? — спросил он меня, не дав кончить.— Я в Лафатера не верю... Ну, что вы? По лицу вижу, что плохо. Не выходит?

— Да, не совсем хорошо. Бросил, совсем бросил...— ответил я отчаянным голосом.

— Я так и думал. Что ж, у вас, должно быть, натуры нет?

— Нет, нет и нет. Вы знаете, Сергей Васильевич, как я искал. Но все это до такой степени не то, что просто хоть в отчаяние приходи. Особенно эта Анна Ивановна; она меня совсем измучила. Она стерла своей плоской физиономией решительно все. Право, даже кажется, что и в голове-то у меня теперь тот образ не так ясен.

— А был ясен?

— О да, совершенно! Если бы можно было писать с зажмуренными глазами — право, кажется, ничего лучшего не нужно. С закрытыми глазами — она здесь, вот она.

И я, должно быть пресмешным образом, зажмурился, потому что Бессонов расхохотался.

— Не смейтесь; я серьезно огорчен,— сказал я.

Он вдруг оборвал свой смех.

— Огорчены, так не буду. Но, право, с вами смех и горе. Не я ли вам говорил: бросьте этот сюжет!

— Я и бросил.

— А сколько работы, траты нервной силы, сколько напрасного огорчения теперь! Я знал, что это так выйдет. И не потому, чтобы я предвидел, что вы не найдете модели, а потому, что сюжет-то неподходящий. Надо это в своей крови иметь. Надо быть потомком тех людей, что пережили и Марата, и Шарлотту Корде, и все это время. А вы что? Мягчайший русский интеллигент, вялый, слабый! Надо быть самому способным на такой поступок. А вы? Можете ли вы, когда нужно, бросить кисть и, выражаясь высоким слогом, взять кинжал? Ведь это для вас нечто вроде путешествия на Юпитер...

— Я не раз с вами спорил об этом, Сергей Васильевич, и, кажется, ни мне вас, ни вам меня не убедить. Художник на то и художник, чтобы уметь поставить в

себя вместо своего «я» — чужое. Разве Рафаэлю нужно было быть богородицей, чтобы написать Мадонну? Ведь это абсурд, Сергей Васильевич. Впрочем, я себе противоречу: я не хочу с вами спорить, а сам начинаю.

Он хотел что-то сказать мне, но махнул рукой.

— Ну, бог с вами! — сказал он, встал и начал ходить по комнате из угла в угол, мягко ступая войлочными туфлями.— Не будем спорить. Не будем растравлять мы язвы сердца тайной, как сказал кто-то и где-то.

— Кажется, никто и нигде.

— А и то может быть. Стихи я обыкновенно перевираю... Для утешения не приказать ли самоварчик? Пора ведь.

Он подошел к двери и громко крикнул, как кричат на ратном ученье:

— Чаю!

Я не люблю его за эту манеру обращаться с прислугой. Мы долго молчали. Я сидел, откинувшись на подушки дивана, а он все ходил и ходил. Казалось, он думал что-то... И наконец, остановившись передо мною, он спросил деловым тоном:

— А если бы у вас была натура, вы бы попробовали еще раз?

— Еще бы! — уныло проговорил я.— Да где ее возьмешь?

Он опять походил немного.

— Видите ли, Андрей Николаевич... Есть тут одна... особа...

— Если важная, то она не станет позировать.

— Нет, не важная, очень не важная. Но... очень, очень большое имею я при этом «но».

— Да какие тут «но», Сергей Васильевич? Если вы не шутите?

— Шучу, шучу, этого нельзя...

— Сергей Васильевич...— сказал я умоляющим тоном.

— Послушайте, что я вам скажу. Знаете, что я ценю в вас? — начал он, остановившись передо мной.— Мы с вами почти ровесники, я старше года на два. Но я изжил и переиспытал столько, сколько вам придется изжить и переиспытать, вероятно, еще в десять лет. Я не чистый человек, злой и... развратный (он резко отчеканил это слово). Есть многие развратнее меня, но я считаю себя виновнее. Я ненавижу себя за то, что не могу быть таким чистым, каким бы я хотел быть... как вы, например.

— О каком разврате и о какой чистоте говорите вы? — спросил я.

— Я называю вещи их собственными именами. Я часто завидую вам, вашему спокойствию и чистой совести; я завидую тому, что у вас есть... Ну, да это все равно! Нельзя и нельзя! — перебил он сам себя злым голосом.— Не будем говорить об этом.

— Если нельзя, то хоть объясните, что или кто у меня есть? — спросил я.

— Ничего... Никого... Да, впрочем, я скажу: сестра ваша, Софья Михайловна. Ведь она сестра не очень близкая по родству?

— Троюродная,— отвечал я.

— Да, троюродная. Она ваша невеста,— сказал он утвердительным голосом.

— Вы почему знаете? — воскликнул я.

— Знаю. Догадывался сначала, а теперь знаю. Узнал от матери, недавно она мне писала,— а она там как-то... Разве в губернском городе не все известно всем? Ведь правда? Невеста?

— Ну, положим.

— И с детства? Родители решили?

— Да, родители решили. Сначала для меня это было шуткой, а теперь я вижу, что так оно, кажется, и будет. Я не хотел, чтобы это сделалось известным кому-нибудь, но не особенно горюю, что это узнали вы.

— Я завидую тому, что у вас есть невеста,— тихо сказал он, устремив глаза куда-то вдаль, и глубоко вздохнул.

— Не ждал я от вас такой сентиментальности, Сергей Васильевич.

— Да, я завидую тому, что у вас есть невеста,— продолжал он, не слушая меня.— Завидую чистоте вашей, вашим надеждам, вашему будущему счастью, нерастраченной нежности и любви, выросшей с детства.

Он взял меня за руку, заставил сойти с дивана и подвел к зеркалу.

— Посмотрите на меня и на себя,— сказал он.— Ведь что вы?

Гиперион перед сатиром козлоногим.

Сатир козлоногий — это я. А ведь я крепче вас; кости шире, и здоровье крепче от природы. А сравните: видите вот это? (он слегка коснулся пальцами начинавших ре-

деть на лбу волос). Да, батюшка, все это «жар души, растраченный в пустыне»! Да и какой там жар души! Просто свинство...

— Сергей Васильевич, не вернемся ли мы к прежнему? Почему вы отказываетесь познакомить меня с моделью?

— Да потому, что она в этой растрате участие принимала. Я сказал вам: не важная особа, и действительно не важная. На нижней ступеньке человеческой лестницы. Ниже — пропасть, куда она, быть может, скоро и свалится. Пропасть окончательной гибели. Да она и так окончательно погибла.

— Я начинаю вас понимать, Сергей Васильевич.

— То-то. Видите, какое у меня есть «но»?

— Вы можете оставить это «но» при себе. Почему вы считаете долгом меня опекать и оберегать?

— Я сказал, за что я вас люблю. За то, что вы чистый. Не вы один, вы оба. Вы представляете собой такое редкое явление: что-то веющее свежестью, благоухающее. Я завидую вам, но дорожу тем, что хоть со стороны могу посмотреть. И вы хотите, чтобы я все это испортил? Нет, не ждите.

— Что же это такое, наконец, Сергей Васильевич? Мало вы надеетесь на мою вами открытую чистоту, если боитесь таких ужасных вещей от одного знакомства с этой женщиной.

— Слушайте! Я могу вам дать или не дать ее. Я поступаю согласно своему желанию. Я не хочу вам дать ее. Я не даю. Dixi [1].

Теперь он сидел, а я в волнении ходил по ковру.

— А вы думаете, что она подходит?

— Очень. Впрочем, нет не очень,— резко оборвал он,— совсем не подходит. Будет о ней.

Я просил его, сердился, представлял всю нелепость взятой им на себя задачи охранять мою нравственность, и ничего не добился. Он решительно отказал мне и в заключение сказал:

— Я никогда не говорил два раза «dixi».

— С чем вас и поздравляю,— ответил я ему с досадой.

Мы поговорили за чаем о каких-то пустяках и разошлись.

---

[1] Я сказал (*лат.*).

IV

Я целых две недели ничего не делал. Ходил только в академию писать свою программу на ужаснейшую библейскую тему: обращение жены Лота в соляной столб. Все у меня уже было готово — и Лот и домочадцы его, но столба придумать я никак не мог. Сделать что-нибудь вроде могильного памятника или просто статую Лотовой супруги из каменной соли?

Жизнь шла вяло. Получил два письма от Сони. Получил, прочел ее милую болтовню об институтских порядках, о том, что́ она читает потихоньку от аргусовских очей классных дам, и присоединил к пачке прежних писем, обвязанных розовой ленточкой. Я завел эту ленточку еще лет пятнадцати и до сих пор не мог решиться выбросить ее. Да и зачем было выбрасывать? Кому она мешала? Но что сказал бы Бессонов, увидя это доказательство моей сентиментальности? Умилился бы еще раз перед моей «чистотой» или начал бы издеваться?

Однако он не на шутку огорчил меня. Что делать? Бросить картину или опять искать натуру?

Неожиданный случай помог мне. Однажды, когда я лежал на диване с каким-то глупым переводным французским романом и долежался до головной боли и отупения от разных моргов, полицейских сыщиков и воскресений людей, которых смерти хватило бы на двадцать человек, отворилась дверь и вошел Гельфрейх.

Представьте себе тощие кривые ножки, огромное туловище, задавленное двумя горбами, длинные худые руки, высоко вздернутые плечи, как будто выражающие вечное сомнение, молодое бледное, слегка опухшее, но миловидное лицо на откинутой назад голове. Он был художник. Любители очень хорошо знают его картинки, писанные по большей части на один и тот же, слегка измененный сюжет. Его герои — кошки; были у него коты спящие, коты с птичками, коты, выгибающие спину; даже пьяного кота с веселыми глазами за бокалом вина изобразил однажды Гельфрейх. В котах он дошел до возможного совершенства, но больше ни за что не брался. Если в картинке кроме кошек были еще какие-нибудь аксессуары — зелень, откуда должны были выглядывать розовый носик и золотистые глазки с узкими зрачками, какая-нибудь драпировка, корзинка, в которой поместилось целое семейство котят с огромными прозрачными ушами, — то он

обращался ко мне. Он и на этот раз вошел с чем-то завернутым в синюю бумажку. Протянув мне свою белую и костлявую руку, он положил сверток на стол и стал развязывать его.

— Опять кот? — спросил я.

— Опять... Нужно, видишь ли, тут коврик немножко... а на другом кусок дивана...

Он развернул бумагу и показал мне две небольшие, в пол-аршина, картинки; фигурки кошек были совсем окончены, но были написаны на фоне из белого полотна.

— Или не диван, так что-нибудь... Ты сочини уж. Надоело мне.

— Скоро ты бросишь этих котов, Семен Иваныч?

— Да нужно бы бросить, мешают мне они, очень мешают. Да что же ты поделаешь? Деньги! Ведь вот этакая дрянь — двести рублей.

И он, расставив тонкие ноги, пожал своими и так уже вечно сжатыми плечами и развел руками, как будто хотел выразить изумление, как такая дрянь может находить себе покупателя.

Своими кошками он в два года добился известности. Ни прежде, ни после (разве только на одной картинке покойного Гуна) я не видал такого мастерства в изображении котов всевозможных возрастов, мастей и положений. Но, обратив на них свое исключительное внимание, Гельфрейх забросил все остальное.

— Деньги, деньги...— задумчиво повторял он.— И на что мне, горбатому черту, столько денег? А между тем я чувствую, что приняться за настоящую работу мне становится все труднее и труднее. Я завидую тебе, Андрей. Я два года, кроме этих тварей, ничего не пишу... Конечно, я очень люблю их, особенно живых. Но я чувствую, как меня засасывает все глубже и глубже... А ведь я талантливее тебя, Андрей, как ты думаешь? — спросил он меня добродушным и деликатным тоном.

— Я не думаю,— ответил я, улыбнувшись,— а *уверен* в этом.

— Что твоя Шарлотта?

Я махнул рукой.

— Плохо? — спросил он.— Покажи...

И видя, что я, не сходя с места, сделал отрицательное движение головой, он сам пошел рыться в куче старых холстов, поставленных в углу. Потом надел на лампу рефлектор, поставил мою неоконченную картину на мольберт

и осветил ее. Он долго молчал.

— Я понимаю тебя,— сказал он.— Тут может выйти хорошее. Только все-таки это Анна Ивановна. Знаешь, зачем я пришел к тебе? Пойдем со мной.

— Куда?

— Куда-нибудь. На улицу. Тоска, Андрей. Боюсь, как бы опять не впасть в грех.

— Ну вот еще, вздор!

— Нет, не вздор. Чувствую, как что-то уже сосет здесь (он показал «под ложечку»). «Я б хотел забыться и заснуть»,— неожиданно пропел он жиденьким тенорком.— Я и пришел к тебе, чтобы не быть одному, а то ведь начнешь — на две недели затянется. Потом болезнь. Да, наконец, и вредно это очень... при таком торсе.

Он повернулся два раза на каблуках, чтобы показать мне оба свои горба.

— Знаешь что? — предложил я.— Переезжай ко мне. Я удержу тебя.

— Это бы хорошо было. Я подумаю. А теперь пойдем.

Я оделся, и мы вышли.

Мы долго блуждали по петербургской слякоти. Была осень. Дул сильный ветер с моря. Поднималась вода. Мы побывали на Дворцовой набережной. Разъяренная река пенилась и охлестывала волнами гранитные парапеты набережной. Из черной пропасти, в которой исчезал другой берег, иногда блестела молния, и спустя четверть минуты раздавался тяжелый удар: в крепости палили из пушек. Вода прибывала.

— Я хотел бы, чтобы она еще поднялась. Я не видел наводнения, а это ведь интересно,— сказал Гельфрейх.

Мы долго сидели на набережной, молча вглядываясь в бушующий мрак.

— Она больше не прибудет,— сказал наконец Гельфрейх.— Ветер, кажется, стихает. Мне жаль! Я не видел наводнения... Пойдем.

— Куда?

— Куда глаза глядят... Пойдем со мной. Я сведу тебя в одно место. Меня пугает эта природа с ее чепухой. Бог с ней! Лучше посмотрим человеческую чепуху.

— Где же это, Сенечка?

— Да уж я знаю... Извозчик! — закричал он.

Мы сели и поехали. На Фонтанке, против деревянных, изукрашенных резьбой и пестро расписанных масляной краской ворот, Гельфрейх остановил извозчика.

Мы прошли через грязный двор, между двумя длинными двухэтажными корпусами старинной постройки. Два сильных рефлектора кидали нам в лицо потоки яркого света; они были повешены по сторонам крыльца, старинного, но тоже обильно украшенного пестрою деревянною резьбою в так называемом русском вкусе. Впереди нас и сзади нас шли люди, направлявшиеся туда же, куда и мы,— мужчины в меховых пальто, женщины в длинных дипломатах и пальмерстонах из претендующей на роскошь материи: шелковые цветы по плисовому полю, с боа на шеях и в белых шелковых платках на головах; все это входило в подъезд и, поднявшись на несколько ступенек лестницы, раздевалось, обнаруживая по большей части жалко-роскошные туалеты, где шелк заменяла наполовину бумага, золото — бронза, бриллианты — шлифованное стекло, а свежесть лица и блеск глаз — цинковые белила, кармин и тердесьен.

Мы взяли в кассе билеты и вступили в целую анфиладу комнат, уставленных маленькими столиками. Душный воздух, пропитанный какими-то странными испарениями, охватил меня. Табачный дым, вместе с запахом пива и дешевой помады, носился в воздухе. Толпа шумела. Иные бесцельно бродили, иные сидели за бутылками у столиков; тут были мужчины и женщины, и странно было выражение их лиц. Все притворялись веселыми и говорили о чем-то: о чем — бог весть! Мы подсели к одному из столиков. Гельфрейх спросил чаю. Я мешал его ложечкой и слушал, как рядом со мною низенькая полная брюнетка с цыганским типом лица медленно и с достоинством, с сильным немецким акцентом и с каким-то оттенком гордости в голосе, отвечала своему кавалеру на его вопрос, часто ли она здесь бывает:

— Я бываю здесь один раз в неделю. Я не могу часто бывать, потому что нужно в другое место. Вот как: третий день я была в Немецком клубе, вчера в Орфеуме, сегодня здесь, завтра в Большой театр, послезавтра в Приказчичий, потом в оперетту, потом Шато-де-флер... Да, я каждый день где-нибудь бываю: так и проходит die ganze Woche[1].

И она гордо посмотрела на своего собеседника, который даже съежился, услышав столь пышную программу

---

[1] Вся неделя (*нем.*).

удовольствий. Это был белобрысый человек лет двадцати пяти, с узким лбом, с нависшею на него гривкою, с бронзовою цепочкой. Он вздохнул, робко глядя на свою великолепную даму. Увы, где ему, скромному апраксинскому приказчику, преследовать ее изо дня в день по клубам и кафешантанам?

Мы встали и пошли бродить по комнатам. В конце анфилады их широкая дверь вела в зал, назначенный для танцев. Желтые шелковые занавески на окнах и расписанный потолок, ряды венских стульев по стенам, в углу залы большая белая ниша в форме раковины, где сидел оркестр из пятнадцати человек. Женщины, по большей части обнявшись, парами ходили по зале; мужчины сидели по стенам и наблюдали их. Музыканты настраивали инструменты. Лицо первой скрипки показалось мне немного знакомым.

— Вы ли это, Федор Карлович? — спросил я, трогая его за плечо.

Федор Карлович обернулся ко мне. Боже мой, как он обрюзг, опух и поседел!

— Да, я — Федор Карлович. И что же вам угодно?

— А помните, в гимназии?.. Вы приходили со скрипкой на уроки танцев.

— А! Я и теперь сижу там, на табуреточке, в углу залы. Я помню вас... Вы вальсировали очень ловко...

— Давно вы здесь?

— Вот третий год.

— Вы помните, как один раз вы пришли рано и в пустой зале сыграли элегию Эрнста? Я слышал.

Музыкант блеснул своими заплывшими глазами.

— Вы слышали? Вы слышали? Я думал, что меня никто не слышит. Да, я иногда играл... Теперь не могу... Теперь здесь; на масленой, на пасхе — день в балаганах, вечер здесь... (Он помолчал.) У меня четыре сына и одна дочь,— промолвил он тихо.— И один мальчик в этом году кончает Annen-Schule и поступает в университет... Я не могу играть элегии Эрнста.

Капельмейстер взмахнул смычком несколько раз; оглушительно дернул тощий и громкий оркестр какую-то польку. Капельмейстер, помахав такта три-четыре, сам присоединил свою визгливую скрипку к общему хору. Пары завертелись, оркестр гремел.

— Пойдем, Сеня,— сказал я.— Тоска... Поедем домой, напьемся чаю и поболтаем о хорошем.

— О хорошем? — спросил он с улыбкою.— Ну ладно, поедем.

Мы стали проталкиваться к выходу. Вдруг Гельфрейх остановился.

— Смотри,— сказал он,— Бессонов...

Я оглянулся и увидел Бессонова. Он сидел за мраморным столиком, на котором стояла бутылка вина, рюмки и еще что-то такое. Низко нагнувшись, с блестящими глазами, он оживленно шептал что-то сидевшей за тем же столом женщине в черном шелковом платье, лица которой нам не было видно. Я заметил только ее стройную фигуру, тонкие руки и шею и черные волосы, гладко зачесанные с затылка вверх.

— Благодари судьбу,— сказал мне Гельфрейх.— Ты знаешь ли, кто эта особа? Радуйся, это она, твоя Шарлотта Корде.

— Она? Здесь?

V

Бессонов, держа в руке рюмку с вином, поднял на меня свои оживившиеся и покрасневшие глаза, и на лице его ясно выразилось неудовольствие.

Он встал с места и подошел к нам.

— Вы здесь? Какими судьбами?

— Приехали посмотреть на вас,— ответил я, улыбаясь.—И я не жалею, потому что...

Он поймал мой взор, скользнувший по его подруге, и резко перебил меня:

— Не надейтесь... Этот Гельфрейх уже сказал вам... Но из этого ничего не выйдет. Я не допущу. Я увезу ее...

И быстро подойдя к ней, он громко сказал:

— Надежда Николаевна, поедемте отсюда.

Она повернула голову, и я увидел в первый раз ее удивленное лицо.

Да, я увидел ее в первый раз в этом вертепе. Она сидела здесь с этим человеком, иногда спускавшимся из своей эгоистически деятельной и высокомерной жизни до разгула; она сидела за опорожненной бутылкой вина; глаза ее были немного красны, бледное лицо измято, костюм небрежен и резок. Вокруг нас теснилась толпа праздношатающихся гуляк, купцов, отчаявшихся в возможности жить не напиваясь, несчастных приказчиков, проводящих жизнь за прилавками и отводящих свою убо-

гую душу только в таких притонах, падших женщин и девушек, только-только прикоснувшихся губами к гнусной чаше, разных модисток, магазинных девочек... Я видел, что она уже падает в ту бездну, о которой говорил мне Бессонов, если уже совсем не упала туда.

— Поедем же, поедем, Надежда Николаевна! — торопил Бессонов.

Она встала и, смотря на него с удивлением, спросила:

— Зачем? Куда?

— Я не хочу оставаться здесь...

— И можете ехать... Это, кажется, ваш знакомый и Гельфрейх?

— Послушай, Надя...— резко сказал Бессонов.

Она нахмурила брови и бросила на него гневный взгляд.

— Кто вам дал право так обращаться ко мне? Сенечка, милый мой, здравствуйте!

Семен поймал ее руки и крепко жал их.

— Послушай, Бессонов,— сказал он,— полно дурить. Поезжай домой, если хочешь, или оставайся, а Надежда Николаевна останется с нами. У нас есть к ней дело, и очень важное. Надежда Николаевна, позвольте вам представить: Лопатин, мой друг и его (он указал на нахмурившегося Бессонова) также друг, художник.

— Как она картины любит, Андрей! — вдруг радостно сказал он мне.— В прошлом году я водил ее по выставке. И твои этюды видели. Помните?

— Помню,— ответила она.

— Надежда Николаевна! — еще раз сказал Бессонов.

— Оставьте меня... Поезжайте куда вам угодно. Я остаюсь с Сеней и вот с... m-r Лопатиным. Я хочу душу отвести... от вас! — вдруг вскрикнула она, видя, что Бессонов хочет сказать еще что-то.— Вы опротивели мне. Оставьте, уезжайте...

Он резко отвернулся и вышел, не простясь ни с кем.

— Так лучше... без него...— сказала Надежда Николаевна и тяжело вздохнула.

— Отчего вы вздыхаете, Надежда Николаевна? — спросил Сенечка.

— Отчего? Оттого, что то, что позволено всем этим калекам (она движением головы показала на теснившуюся вокруг нас толпу), то не должен позволять себе он... Ну да все равно, тоска, надоело все это. Нет, не надоело,

хуже. Слова не подберешь. Сенечка, давайте пить?

Семен жалобно взглянул на меня.

— Вот видите ли, Надежда Николаевна, и рад бы, да нельзя; вот он...

— Что же он? И он с нами выпьет.

— Он не станет.

— Ну, так вы.

— Он не позволит.

— Это скверно... Кто же вам может не позволить?

— Я дал слово, что буду его слушаться.

Надежда Николаевна внимательно посмотрела на меня.

— Вот как! — сказала она.— Ну, вольному воля, спасенному рай. Если не хотите, не нужно. Я буду одна...

— Надежда Николаевна,— начал я,— простите, что при первом знакомстве...

Я почувствовал, что румянец заливает мне щеки. Она, улыбаясь, смотрела на меня.

— Ну, что вам?

— При первом же знакомстве я просил бы вас... не делать этого, не держать себя так... Я хотел просить вас еще об одном одолжении.

Лицо ее подернулось грустью.

— Не держать себя так? — сказала она.— Боюсь, что я уже не могу держать себя иначе: отвыкла. Ну, хорошо; чтобы сделать вам приятное, попробую. А одолжение?

Я, заикаясь, путаясь в словах и конфузясь, рассказал ей, в чем дело. Она внимательно слушала, уставив свои серые глаза прямо на меня. Напряженное ли внимание, с каким она вникала в мои слова, или что-то другое придавало ее взору суровое и немного жестокое выражение.

— Хорошо,— сказала она наконец.— Я понимаю, что́ вам нужно! Я и лицо себе такое состроюю.

— Можно без этого обойтись, Надежда Николаевна, лишь бы ваше лицо..

— Хорошо, хорошо. Когда же мне быть у вас?

— Завтра, в одиннадцать часов, если можно.

— Так рано? Ну, так, значит, надо ехать спать ложиться. Сенечка, вы проводите меня?

— Надежда Николаевна,— сказал я,— мы не условились еще об одной вещи: это ведь даром не делается.

— Что ж, вы мне платить будете, что ли? — сказала она, и я почувствовал, что в ее голосе звенит что-то гордое и оскорбленное.

— Да, платить; иначе я не хочу,— решительно сказал я.

Она окинула меня высокомерным, даже дерзким взглядом, но почти тотчас же лицо ее приняло задумчивое выражение. Мы молчали. Мне было неловко. Слабая краска показалась на ее щеках, и глаза вспыхнули.

— Хорошо,— сказала она,— платите. Сколько другим натурщицам, столько и мне. Сколько я получу за всю Шарлотту, Сенечка?

— Рублей шестьдесят, я думаю,— ответил он.

— А сколько времени вы будете ее писать?

— Месяц.

— Хорошо, очень хорошо! — оживленно сказала она.— Я попробую брать с вас деньги. Спасибо вам!

Она протянула мне свою тонкую руку и крепко пожала мою.

— Он у вас ночует? — спросила она, оборачиваясь ко мне.

— У меня, у меня.

— Я сейчас отпущу его. Только пусть довезет.

Через полчаса я был дома, а через пять минут после меня вернулся Гельфрейх. Мы разделись, легли и потушили свечи. Я начинал уже засыпать.

— Ты спишь, Лопатин? — вдруг раздался в темноте Сенечкин голос.

— Нет, а что?

— Вот что: я сейчас же дал бы отрубить себе левую руку, чтобы этой женщине было хорошо и чисто,— сказал он взволнованным голосом.

— Отчего же не правую? — спросил я, засыпая.

— Глупый! А писать-то чем я буду? — серьезно спросил Сенечка.

VI

Когда я проснулся на другой день, в окно уже глядело серое утро.

Посмотрев на слабо освещенное бледное миловидное лицо Гельфрейха, спавшего на диване, вспомнив вчерашний вечер и то, что у меня будет натурщица для картины, я повернулся на другой бок и снова заснул чутким утренним сном.

— Лопатин! — раздался голос.

Я слышал его во сне. Он совпал с моим сновидением,

и я не просыпался, но кто-то трогал меня за плечо.

— Лопатин, проснитесь,— говорил голос.

Я вскочил на ноги и увидел Бессонова.

— Это вы, Сергей Васильевич?

— Я... Не ждали так рано? — тихо сказал он.— Говорите тише: я не хотел бы разбудить горбуна.

— Что вам нужно?

— Оденьтесь, умойтесь; я скажу. Пойдемте в другую комнату. Пусть он спит.

Я забрал под мышку платье и сапоги и вышел одеваться в мастерскую. Бессонов был очень бледен.

— Вы, кажется, не спали эту ночь? — спросил я.

— Нет, спал. Встал очень рано и работал. Скажите, чтобы нам дали чаю, и поговорим. Кстати, покажите вашу картину.

— Не стоит теперь, Сергей Васильевич. Вот погодите, скоро кончу ее в исправленном и настоящем виде. Может быть, вам неприятно, что я поступил против вашего желания, но вы не поверите, как я рад, что кончу, что это так случилось. Лучше Надежды Николаевны я и ожидать для себя ничего не мог.

— Я не допущу того, чтобы вы писали с нее,— глухо сказал он.

— Сергей Васильевич, вы, кажется, пришли ссориться со мной?

— Я не допущу ее бывать у вас каждый день, проводить с вами целые часы... Я не позволю ей.

— Есть ли у вас такая власть? Как вы можете не позволить ей? Как вы можете не позволить мне? — спрашивал я, чувствуя, что начинаю раздражаться.

— Власть... Власть... Нескольких слов будет довольно. Я напомню ей, что такое она. Я скажу ей, что такое вы. Я скажу ей о вашей сестре, Софье Михайловне...

— Я не позволю вам заикаться о моей сестре. Если есть у вас право на эту женщину,— пусть правда то, что вы мне говорили о ней, пусть она пала, пусть десятки людей имеют на нее такие же права, как вы,— у вас есть право на нее, но у вас нет прав на мою сестру. Я запрещаю вам говорить ей что-нибудь о сестре! Слышите?

Я чувствовал, что голос мой зазвенел угрозой. Он начинал выводить меня из себя.

— Так вот как! Вы показываете когти! Я не знал, что они у вас есть. Хорошо, вы правы: на Софью Михайловну

я не имею никаких прав. Я не осмелюсь поминать имя ее всуе. Но эта... эта...

Он в волнении несколько раз прошелся из угла в угол комнаты. Я видел, что он взволнован серьезно. Я не понимал, что с ним делается. В прошлый наш разговор он и словами и тоном своим выразил такое нескрываемое презрение к этой женщине, а теперь... Неужели?..

— Сергей Васильевич,— сказал я,— вы любите ее!

Он остановился, взглянул на меня странным взглядом и отрывисто промолвил:

— Нет.

— Что же вас точит? Из-за чего вы подняли всю эту бурю? Не могу же я поверить, что вы печетесь о спасении моей души из когтей этого воображаемого дьявола.

— Это мое дело,— сказал он.— Но помните, что каким бы то ни было путем, а я помешаю вам... Я не позволю! Слышите? — задорно крикнул он.

Я почувствовал, что кровь бросилась мне в голову. В том углу, где я стоял в это время спиною к стене, был навален разный хлам: холсты, кисти, сломанный мольберт. Тут же стояла палка с острым железным наконечником, к которой во время летних работ привинчивается большой зонт. Случайно я взял в руки это копье, и когда Бессонов сказал мне свое «не позволю», я со всего размаха вонзил острие в пол. Четырехгранное железо ушло в доски на вершок.

Я не сказал ни слова, но Бессонов взглянул на меня изумленными и даже, как мне показалось, испуганными глазами.

— Прощайте,— сказал он.— Я ухожу. Вы чересчур раздражены.

Я уже успел успокоиться.

— Постойте,— сказал я.— Останьтесь.

— Нет, не нужно. До свидания!

Он ушел. Я с усилием вытащил копье из пола и помню, что коснулся пальцем слегка нагревшегося блестящего железа. Мне в первый раз пришло в голову, что это — страшное оружие, которым легко положить человека на месте.

Гельфрейх ушел в академию, я не без волнения ожидал свою натурщицу. Я поставил совсем новый холст и приготовил все нужное.

Я не могу сказать, чтобы я думал тогда только о своей картине. Я вспоминал вчерашний вечер с его странной,

еще не виданной мною обстановкой, неожиданную и счастливую для меня встречу, эту странную женщину, падшую женщину, которая сразу привлекла все мои симпатии, странное поведение Бессонова... Что ему нужно от меня? Не любит ли он ее в самом деле? Зачем тогда это презрительное отношение к ней? Разве не мог бы он спасти ее?

Я думал обо всем этом, а рука с углем ходила по холсту; я делал наброски позы, в которой хотел представить Надежду Николаевну, и стирал их один за другим.

Ровно в одиннадцать часов зазвенел колокольчик. Через минуту она в первый раз показалась на пороге моей комнаты. О как я помню ее бледное лицо, когда она, волнуясь и стыдясь (да, стыд сменил ее вчерашнее выражение), молча стояла в дверях! Она точно не смела войти в эту комнату, где нашла потом свое счастье, единственную свою светлую полосу жизни и... гибель. Не ту гибель, о которой говорил Бессонов... Я не могу писать об этом. Я подожду и успокоюсь.

VII

Соня не знает, что я пишу эти горькие страницы. По-прежнему каждый день она сидит у моей постели или кресла. Часто заходит ко мне и мой друг, мой бедный горбатый. Он очень похудел и осунулся и большею частью молчит. Соня говорит, что он упорно работает... Дай бог ему счастья и успеха!

Она пришла, как обещала, ровно в одиннадцать часов. Она вошла робко, застенчиво ответив на мое приветствие, и молча села на кресло, стоявшее в углу мастерской.

— Вы очень точны, Надежда Николаевна,— сказал я, накладывая краски на палитру.

Она взглянула на меня и ничего не ответила.

— Я не знаю, как благодарить вас за ваше согласие...— продолжал я, чувствуя, что краснею от смущения. Я хотел сказать ей что-то совсем другое.— Я так долго не мог найти натурщицы, что совсем было бросил картину.

— Разве у вас при академии их нет? — спросила она.

— Есть, но они мне не годились. Посмотрите вот это лицо.

Я достал из лежавшей на столе кучи всякого хлама

карточку Анны Ивановны и подал ей. Она взглянула и слабо улыбнулась.

— Да, это вам не годится,— сказала она.— Это не Шарлотта Корде.

— Вы знаете историю Шарлотты Корде? — спросил я.

Она взглянула на меня с странным выражением удивления, смешанного с каким-то горьким чувством.

— Почему же мне не знать? — спросила она.— Я кое-чему училась. Я забыла теперь многое, ведя эту жизнь, и все-таки кое-что помню. А *таких* вещей забыть нельзя...

— Где вы учились, Надежда Николаевна?

— Зачем вам знать это? Если можно, будем начинать.

Тон ее вдруг изменился: она проговорила эти слова отрывисто и мрачно, как говорила вчера Бессонову.

Я замолчал. Достав из шкафа давно уже сшитое мною синее платье, чепчик и все принадлежности костюма Шарлотты, я попросил ее выйти в другую комнату и переодеться. Я едва успел приготовить все, что мне было нужно для работы, как она уже вернулась.

Передо мной стояла моя картина.

— Ах, боже мой! Боже мой! — заговорил я с восторгом.— Как это хорошо, как это хорошо! Скажите, Надежда Николаевна, не виделись ли мы прежде? Иначе это невозможно объяснить. Я представлял себе свою картину именно такой, как вы теперь. Я думаю, что я вас видел где-нибудь. Ваше лицо, может быть, бессознательно запечатлелось в моей памяти... Скажите, где я видел вас?

— Где вы могли видеть меня? — переспросила она.— Не знаю. Я не встречалась с вами до вчерашнего дня. Начинайте, пожалуйста. Поставьте меня, как нужно, и пишите.

Я попросил ее стать на место, поправил складки платья, слегка коснулся ее рук, придав им то беспомощное положение, какое всегда представлял себе, и отошел к мольберту.

Она стояла передо мною... Она стоит передо мною и теперь, вот тут, на этом холсте... Она, как живая, смотрит на меня. У нее то же печальное и задумчивое выражение, та же черта смерти на бледном лице, какие были в то утро.

Я стер все начерченное углем на холсте и быстро набросал Надежду Николаевну. Потом я стал писать. Никогда — ни прежде, ни после — мне не удавалось работать так быстро и успешно. Время летело незаметно, и только

через час я, взглянув на лицо своей модели, увидел, что она сейчас упадет от усталости.

— Простите, простите меня...— сказал я, сводя ее с возвышения, на котором она стояла, и усаживая в кресло.— Я совсем измучил вас.

— Ничего,— ответила она, бледная, но улыбающаяся.— Уж если зарабатывать себе хлеб, то нужно пострадать немножко. Я рада, что вы так увлеклись. Можно посмотреть? — сказала она, кивнув головой на картину, лица которой она не видела.

— Конечно, конечно!

— Ах какая мазня! — вскрикнула она.— Я никогда еще не видела начала работы художника. И как это интересно!.. И знаете, уже в этой мазне я вижу то, что должно быть... Вы задумали хорошую картину, Андрей Николаевич... Я постараюсь сделать все, чтобы она вышла... насколько от меня это зависит.

— Что же вы можете сделать?

— Я говорила вчера... Я сделаю вам выражение. Вам будет легче работать...

Она быстро стала на свое место, подняла голову, уронила белые руки, и на ее лице отразилось все, о чем мечтал я для своей картины. Тут были решимость и тоска, гордость и страх, любовь и ненависть...

— Так? — спросила она.— Если так, то я буду стоять сколько угодно.

— Лучше мне ничего не нужно, Надежда Николаевна, но ведь вам будет трудно сохранять подолгу такое выражение. Благодарю вас. Посмотрим. До этого еще далеко... Позвольте просить вас позавтракать со мною...

Она долго отказывалась, но потом согласилась.

Моя поилица и кормилица Агафья Алексеевна принесла завтрак; мы в первый раз сели за стол вместе. Сколько раз это случалось потом!.. Надежда Николаевна ела мало и молча; она, видимо, стеснялась. Я налил в ее стакан вина, которое она выпила почти сразу. Румянец заиграл на ее бледных щеках.

— Скажите,— вдруг спросила она,— вы давно знаете Бессонова?

Я не ожидал этого вопроса. Вспомнив все, что произошло между мною и Бессоновым из-за нее, я смутился.

— Отчего вы краснеете? Впрочем, все равно; только ответьте мне на вопрос.

— Давно. С детства.

— Он хороший человек?

— Да, по-моему, он хороший человек. Он честен, много работает. Он очень талантливый человек. Он хорошо относится к матери.

— У него есть мать? Где она?

— В***. Там у нее есть маленький домик. Он высылает ей деньги и сам иногда туда ездит. Я никогда не видал матери, более влюбленной в сына.

— Зачем же он не возьмет ее сюда?

— Кажется... она сама не хочет... Впрочем, не знаю... Дом у нее там, она привыкла.

— Это неправда,— задумчиво сказала Надежда Николаевна.— Он не берет матери сюда потому, что думает, что она помешает ему. Я не знаю, я только думаю так... Она стеснит его. Это провинциалка, вдова какого-нибудь мелкого чиновника. Она будет *шокировать* его.

Она произнесла слово «шокировать» едко и с расстановкой.

— Я не люблю этого человека, Андрей Николаевич,— сказала она.

— За что? Он все-таки хороший человек.

— Я не люблю его... И боюсь его... Ну, будет; пойдем работать.

Она стала на место. Короткий осенний день приходил к концу.

Я работал до сумерек, давая иногда вздохнуть Надежде Николаевне, и только когда краски начали смешиваться в своих цветах и стоявшая передо мною на возвышении модель уже подернулась сумраком, я положил кисти... Надежда Николаевна переоделась и ушла.

VIII

В тот же день вечером я перевез Семена Ивановича к себе. Он жил на Садовой, в огромном, снизу доверху набитом жильцами доме, занимавшем почти целый квартал между тремя улицами. Наиболее аристократическая часть дома, выходившая на Садовую, была занята меблированными комнатами отставного капитана Грум-Скжебицкого, отдававшего свои довольно грязные и довольно большие комнаты начинающим художникам, небедным студентам и музыкантам. Таков был преимущественный состав жильцов сурового капитана, строго наблюдавшего за благочинием своего, как он выражался, «óтеля».

Я поднялся по витой чугунной лестнице и вошел в коридор. Из-за первой двери слышались беглые пассажи скрипки, немного дальше завывала виолончель, а где-то в конце коридора гремел рояль. Я постучал в дверь Гельфрейха.

— Войдите! — закричал он тоненьким голосом.

Он сидел на полу и в огромный ящик укладывал свои пожитки. Чемодан, уже завязанный, лежал возле. В ящик Семен Иванович клал вещи, не придерживаясь какой-нибудь системы: на дно была положена подушка, на нее — развинченная и завернутая в бумагу лампа, затем кожаный тюфячок, сапоги, куча этюдов, ящик с красками, книги и всякая мелочь. Рядом с ящиком сидел большой рыжий кот и смотрел в глаза хозяину. Этот кот, по словам Гельфрейха, состоял у него на постоянной службе.

— Я уже готов, Андрей,— сказал Гельфрейх.— Я очень рад, что ты меня к себе берешь. Ну, скажи, был сегодня сеанс? Пришла она?

— Пришла, пришла, Сеня...— ответил я, торжествуя в душе.— Помнишь, ночью ты сказал одну фразу... что ты отдал бы свою левую руку?

— Ну? — спросил он, сев на ящик и улыбаясь.

— Я немного понимаю тебя, Сеня...

— Вот видишь! Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее! Я не могу. Я глупый, горбатый черт. Ты сам очень хорошо знаешь, что я не протащу через всю жизнь, долгую жизнь, и тяжести одного себя без посторонней помощи, без твоей, например, а уж другого кого-нибудь поддерживать... куда мне! Мне самому нужно, чтобы меня спасали от пьянства, брали к себе, заставляли работать, держали у себя мои деньги, писали корзинки, диваны и всякую обстановку для моих котов. Ах, Андрей, что бы я без тебя делал?

И во внезапном порыве нежности Сенечка вдруг соскочил со своего ящика, подбежал ко мне, обхватил меня руками и прижал голову к моей груди. Его мягкие шелковистые волосы касались моих губ. Затем так же быстро он оставил меня, побежал в угол комнаты (я имею сильное подозрение, что дорогой он стер слезинку) и уселся в кресло, стоявшее в углу, в тени.

— Ну, видишь, куда же мне! Но ты... ты — другое дело. Вытащи ее, Андрей!

Я молчал.

— Был еще один человек, который бы мог,— продолжал Семен Иванович,— но он не захотел.

— Бессонов? — спросил я.

— Да, Бессонов.

— Он давно с нею знаком, Сенечка?

— Давно; раньше меня. У этого человека в голове всё ящики и отделеньица; выдвинет один, достанет билетик, прочтет, что там написано, да так и действует. Представился ему вот этот случай. Видит, падшая девушка. Ну, он сейчас себе в голову (а там у него все по алфавиту), достал, прочел: *они не возвращаются никогда.*

Семен Иванович не стал говорить дальше. Он облокотился подбородком на руку и задумчиво смотрел мне прямо в лицо.

— Ты расскажи мне, как они познакомились. Что за странные отношения между ними?

— После, Андрей; теперь не стану. Да, может быть, она и сама тебе расскажет. Напрасно я сказал «может быть», наверное расскажет. Ты у меня ведь вот какой...— улыбнувшись, сказал Семен.— Поедем, нужно расплатиться с капитаном.

— Деньги у тебя есть?

— Есть, есть. Выручают коты.

Он вышел в коридор, крикнул что-то прислуге, и через минуту явился сам капитан. Это был крепкий, коренастый старик, очень свежий, с гладко выбритым лицом. Войдя в комнату, он щегольски расшаркался и подал Гельфрейху руку, мне же сделал только безмолвный поклон.

— Что пану требуется? — спросил он вежливо.

— Я уезжаю от вас, капитан.

— То есть воля пана,— ответил он, пожимая плечами.— Я был очень доволен вами, милостивый государь. Я рад, когда в моем о́теле проживают прекрасные, образованные люди... Пан друг также художник? — спросил он, обращаясь ко мне с вторичным и весьма изящным поклоном.— Рекомендую себя: капитан Грум-Скжебицкий, старый солдат.

Я протянул ему руку и назвал свое имя.

— Пан Лопатин! — воскликнул капитан, выражая на своем лице почтительное удивление.— То есть известное имя. От всех учеников академии слышал. Очень счастлив знакомством. Желаю вам иметь славу Семирадского и Матейки... Куда же вы переезжаете? — спросил капитан Гельфрейха.

— А вот к нему...— смущенно улыбаясь, ответил Гельфрейх.

— Хотя вы и отнимаете у меня превосходного квартиранта, но я не огорчен. Дружба — это такое право...— сказал капитан, опять кланяясь.— Сейчас я принесу свою книгу...

Он вышел, бодро подняв голову. В его походке было что-то воинственное.

— Где он служил? — спросил я Сеню.

— Не знаю; только он не русский капитан. Я узнал в паспорте; он просто дворянин Ксаверий Грум-Скжебицкий. По секрету он всем говорит, что был в повстанье. На стене у него и теперь висит «дупельтовка».

Капитан принес свою книгу и счеты. Справившись с книгой и пощелкав минуты две на счетах, он объявил сумму, которую должен был ему Гельфрейх за квартиру до конца месяца и за обеды; Семен Иванович расплатился, и мы весьма дружелюбно расстались. Когда вынесли вещи, Семен Иванович взял под мышку рыжего кота, давно уже беспокойно тершегося у его ног, подняв хвост палочкой вверх и изредка коротко мяукая (вероятно, опустошенный вид комнаты привел его в тревожное настроение), и мы уехали.

IX

Прошло еще три или четыре сеанса. Надежда Николаевна приходила ко мне в десять или одиннадцать часов и оставалась до сумерек. Не раз я просил ее остаться пообедать с нами, но она всегда, как только кончался сеанс, поспешно уходила в другую комнату, переодевалась из синего платья в свое черное и тотчас же прощалась.

Ее лицо за эти несколько дней сильно изменилось. Какое-то мрачное и тоскливое выражение замечалось около ее губ и в впадинах ее серых глаз. Она редко говорила со мною и немного оживлялась только тогда, когда в мастерской сидел за своим мольбертом Гельфрейх, продолжавший, несмотря на мои уговаривания приняться за что-нибудь серьезное, писать одну кошку за другой. Кроме рыжего натурщика в нашей квартире откуда-то появилось штук пять или шесть разнообразного возраста, пола и цвета кошек, которых Агафья Алексеевна беспрекословно кормила, хотя и вела с ними беспрерывную войну, выражавшуюся преимущественно в том, что она, забирая их по нескольку под мышку, выкидывала на черную лестницу. Но коты жалобно покрикивали у дверей, и мягкое

сердце нашей домоправительницы не выдерживало: дверь отворялась и натурщики снова овладевали квартирой.

Как живо вспоминаются мне эти долгие, тихие сеансы! Картина подходила к концу, и тяжелое, неопределенное чувство закрадывалось постепенно в мою грудь. Я чувствовал, что, когда Надежда Николаевна перестанет быть нужна мне как натурщица, мы расстанемся. Я вспомнил наш разговор с Гельфрейхом в день его переезда; часто, когда я вглядывался в ее бледное, мрачное лицо, в ушах моих звенели слова: «Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее!»

Вытащить ее! Я не знал о ней почти ничего. Я не знал даже, где она живет. Она переехала со старой квартиры, куда провожал ее Гельфрейх после вечера нашей встречи, на другую квартиру, и Сеня не мог добиться от нее — куда. Ни он, ни я не знали ее фамилии.

Я помню, как однажды я спросил ее об этом на сеансе, когда Гельфрейха не было. В то утро он ушел в академию (я заставил его хоть изредка ходить в этюдный класс), и мы целый день провели одни. Надежда Николаевна была немного веселее обыкновенного, немного разговорчивее. Ободренный этим, я осмелился сказать:

— Надежда Николаевна, я до сих пор не знаю, как ваша фамилия.

Она как будто не заметила моего вопроса. Неуловимая тень пробежала по ее лицу, и, на мгновение сомкнув губы, как будто что-то поразило ее, она продолжала говорить. Она говорила тогда о Гельфрейхе, и я видел, что она подыскивает сказать что-нибудь, чтобы заговорить меня и замять мой вопрос. Наконец она замолчала.

— Надежда Николаевна,— сказал я,— скажите, за что вы не доверяете мне? Показал ли я хоть чем-нибудь...

— Оставьте это,— печально ответила она.— Я не доверяю вам? Полноте... Зачем мне вам не доверять? Что можете вы сделать мне дурного?

— Отчего же вы...

— Оттого, что не нужно. Пишите, пишите, скоро темно будет...— сказала она, стараясь говорить веселее.— И Семен Иванович скоро придет; что вы ему покажете? Вы сегодня ничего не сделали. У нас и так все время проходит в разговорах.

— Успеем... я устал... Если угодно, сойдите с места. Отдохните немного.

Она сошла с места и села на стул, стоявший в углу. Я сел на другом конце комнаты. Мне страстно хотелось разговориться с нею, расспросить ее, но я чувствовал, что с каждым сеансом это становится труднее и труднее. Я смотрел, как она сидела, сгорбившись, охватив колени сжатыми руками и опустив неподвижные глаза в какую-то точку пола. Один из Сенечкиных котов терся около ее платья и дружелюбно засматривал ей в лицо, напевая свою добродушную и тихую песенку. Она, казалось, оцепенела в этой позе... Что делалось в этой гордой и несчастной душе?

Гордой! Да, не пустое слово сорвалось у меня с пера. И тогда я уже думал, что ее гибель произошла оттого, что она не гнулась. Быть может, сделав какую-нибудь уступку, она жила бы, как все, была бы интересной барышней «с загадочными глазами», потом вышла бы замуж, потом погрузилась бы в море бесцельного существования бок о бок с супругом, занятым необычайно важными делами на какой-нибудь службе. Она наряжалась бы, устраивала у себя журфиксы, воспитывала бы детей («сын в гимназии, дочь в институте»), занималась бы слегка благотворительностью и, пройдя назначенный ей господом путь, дала бы своему супругу случай уведомить на другой день в «Новом времени» о своем «душевном прискорбии». Но она выбита из седла. Что же заставило ее сойти с проторенной колеи жизни «порядочной женщины»? Я не знал этого и мучительно старался прочесть что-нибудь на ее лице. Но оно оставалось неподвижно, все так же глаза ее были устремлены на одну точку.

— Я отдохнула, Андрей Николаевич,— вдруг сказала она, подняв голову.

Я встал, посмотрел на нее, потом на холст и ответил:

— Я сегодня не могу больше работать, Надежда Николаевна.

Она взглянула на меня, хотела что-то сказать, но удержалась и молча вышла из комнаты, чтобы переодеться. Помню, что я бросился в кресло и закрыл лицо руками. Тоскливое, непонятное мне самому чувство влилось мне в грудь; смутное ожидание чего-то неизвестного и страшного, страстное желание сделать что-то, в чем я сам не мог дать отчета, и нежность к этому несчастному существу вместе с каким-то боязливым ощущением, которое она поселяла во мне своим присутствием,— все слилось в одно

давящее впечатление, и я не помню, сколько времени провел я, погруженный в полное забытье.

Когда я очнулся, она стояла передо мной уже одетая в свое платье.

— До свиданья!

Я встал и подал ей руку.

— Подождите немного... Мне хочется сказать вам кое-что.

— Что такое? — спросила она озабоченно.

— Много, много, Надежда Николаевна... Посидите вы хоть один раз, бога ради, не как натурщица.

— Не как натурщица? Чем я могу быть для вас еще? Не дай бог быть мне для вас не натурщицей, а тем, чем я была... чем я есть,— быстро поправилась она.— Прощайте... Вы скоро кончите картину, Андрей Николаевич? — спросила она у дверей.

— Не знаю... Я думаю, еще недели две или три я буду просить вас бывать у меня.

Она молчала, как будто не решаясь сказать мне, что хотела.

— Вам что-нибудь нужно, Надежда Николаевна?

— Не нужно ли еще кому-нибудь... из ваших товарищей...— проговорила она, запинаясь.

— Натурщицы?..— перебил я.— Я постараюсь устроить это, непременно постараюсь, Надежда Николаевна.

— Благодарю вас. Прощайте.

Я не успел протянуть ей руку, как позвонили. Она побледнела и опустилась на стул. Вошел Бессонов.

X

Он вошел с веселым и развязным видом. Мне показалось сперва, что он немного похудел за эти несколько дней, в которые мы не виделись; но через минуту я подумал, что ошибся. Он весело поздоровался со мной, поклонился Надежде Николаевне, которая продолжала сидеть на своем стуле, и заговорил очень оживленно:

— Я зашел посмотреть. Меня очень интересует ваша работа. Мне хочется узнать, действительно ли вы можете сделать что-нибудь даже и теперь, когда у вас есть модель, лучше которой, кажется, вам ничего не нужно.

Он мельком взглянул на Надежду Николаевну. Она сидела по-прежнему. Я ожидал, что она уйдет, и мне хотелось этого, но она оставалась, как прикованная к своему стулу, молча и не спускала глаз с Бессонова.

— Это правда,— ответил я.— Лучше мне ничего не нужно. Я очень благодарен Надежде Николаевне за ее согласие.

Говоря это, я откатил мольберт от стены и поставил его как следует.

— Можете смотреть,— сказал я.

Он впился в картину глазами. Я видел, что она поразила его, и мое авторское самолюбие было приятно задето.

Надежда Николаевна вдруг встала.

— До свиданья,— сказала она глухо.

Бессонов порывисто обернулся и сделал несколько шагов по направлению к ней.

— Куда же вы, Надежда Николаевна? Я так давно вас не видел, и, когда встретился с вами здесь почти случайно, вы как будто бежите от меня. Подождите хоть немного, хоть пять минут, мы выйдем вместе, и я провожу вас. Я никак не мог вас найти. На вашей прежней квартире мне сказали, что вы уехали из города; я знал, что это неправда. Я справлялся в адресном столе, но там еще не было вашего адреса. Я хотел справиться еще раз завтра, надеясь, что ваш адрес там уже должен быть; но теперь, конечно, это не нужно: вы сами скажете, где вы живете; я провожу вас.

Он говорил быстро и с новым, неизвестным еще для меня в его устах оттенком нежности. Как не похож был его настоящий тон на тот, которым он говорил с Надеждой Николаевной в тот вечер, когда мы с Гельфрейхом столкнулись с ними обоими!

— Не нужно, Сергей Васильевич, благодарю вас,— ответила Надежда Николаевна,— я дойду и одна. Провожатых мне не нужно, а... с вами,— тихо договорила она,— мне говорить не о чем.

Он сделал движение рукой, хотел сказать что-то, но только один какой-то странный звук вылетел из его груди. Я видел, что он сдерживает себя... Он прошел несколько шагов по комнате и потом, обернувшись к ней, тихо сказал:

— Ступайте... Если я вам не нужен, тем лучше для нас обоих... может быть, для всех троих...

Она ушла, слабо пожав мою руку; мы остались одни. Скоро пришел Гельфрейх; я предложил Бессонову остаться с нами обедать. Он отвечал не сразу, занятый какою-то мыслью, но потом вдруг опомнился и сказал:

— Обедать? Пожалуй... Я давно у вас не был. Я хотел бы сегодня разговориться.

И он действительно разговорился. В начале обеда он большею частью молчал или давал отрывистые реплики Сенечке, без умолку говорившему о своих котах, которых он непременно бросит, и о том, что нужно же наконец приняться за настоящую работу; но потом, может быть под влиянием двух стаканов вина, оживление Гельфрейха сообщилось и ему, и я должен сказать, что никогда не видел его таким живым и красноречивым, как за этим обедом и в тот вечер. Под конец он вполне овладел разговором и читал нам целые лекции о внутренней и внешней политике; два года писанья передовых статей по всевозможным вопросам сделали его способным говорить весьма свободно обо всех этих вещах, о которых мы с Гельфрейхом, занятые своими этюдами, знали очень мало.

— Семен Иванович,— сказал я, когда ушел Бессонов,— ведь Бессонову известна фамилия Надежды Николаевны.

— Почем ты знаешь? — спросил Гельфрейх.

Я рассказал ему сцену, происходившую до его прихода.

— Что же ты не спросил его? Впрочем, я понимаю; я узнаю сам...

Почему я в самом деле не спросил Бессонова? Я и теперь не могу ответить на этот вопрос. Тогда я еще ничего не понимал в отношениях его к Надежде Николаевне. Но смутное предчувствие чего-то необыкновенного и таинственного, что должно было случиться между этими людьми, уже и тогда наполняло меня. Я хотел остановить Бессонова в его горячей речи об оппортунизме, хотел прервать его изложение спора о том, развивается ли в России капитализм или не развивается, но всякий раз слово останавливалось у меня в горле.

Я сказал это Гельфрейху. Я сказал ему это так:

— Я сам не знаю, что мешает мне говорить о ней просто. Между ними что-то есть. Я не знаю, что...

Сенечка, ходивший по комнате, помолчал, подошел к темному окну и, смотря куда-то в черное пространство, ответил:

— А я знаю. Он презирал ее, а теперь начинает любить. Потому что видит... О, какое черствое, эгоистическое сердце и завистливое сердце у этого человека, Андрей! — воскликнул он, обратясь ко мне и потрясая обеими руками.— Берегись, Андрей!..

Завистливое сердце? Завистливое... Чему оно может завидовать?

XI

Из дневника Бессонова. Вчера Лопатин с Гельфрейхом встретили нас с Надей. Вопреки моему желанию они познакомились. Сегодня утром я поехал к нему и хотел не допустить этого сближения, но не был в состоянии ничего сделать. Они будут видеться, будут каждый день просиживать по нескольку часов вместе, и я знаю, чем это кончится.

Я тщетно стараюсь решить вопрос, почему я принял такое горячее участие во всем этом деле? Не все ли мне равно? Положим, я знаю Лопатина много лет и, кажется, искренне симпатизирую этому талантливому юноше. Я не хотел бы ему зла, а сближение с падшей женщиной, прошедшей огонь и воду, это — зло, особенно для такой нетронутой натуры, как он. Я знаю эту женщину сравнительно давно. Я узнал ее, когда она уже была тем, что есть. Я должен признаться перед самим собою, что было время, когда слабость овладела мной и я, увлеченный ее не совсем обыкновенной внешностью и, как мне казалось, недюжинным внутренним содержанием, думал о ней больше, чем бы следовало. Но скоро я победил себя. Зная уже давно, что легче «верблюду пройти в игольное ушко», чем женщине, вкусившей этого яда, вернуться к нормальной и честной жизни, и присматриваясь к ней самой, я убедился, что в ней нет никаких задатков для того, чтобы она могла составить исключение из общего правила, и с болью в душе я решил предоставить ее судьбе. Тем не менее я продолжал с нею видеться.

Никогда не прощу себе ошибки, сделанной мною в тот вечер, когда Лопатин пришел жаловаться на свою неудачу. Я проговорился ему, сказав, что у меня есть на примете субъект, годный в натурщицы. Не понимаю, как Гельфрейх не сообщил ему об этом раньше: он знает ее так же давно, как и я, если еще не дольше.

Моя неосторожность и запальчивость сегодня погубили все дело. Следовало быть мягче; я же вывел этого мягкосердечного человека из себя. Он схватил какое-то копье и воткнул его в пол, так что стекла задрожали, и я, видя, что он раздражен до последней степени, должен был уйти.

Я несколько дней не видел Лопатина. Вчера встретил на улице Гельфрейха и осторожно навел разговор на его приятеля.

Она бывает у него каждый день; картина подвигается быстро. Как она себя ведет? Скромно, с достоинством. Всегда молчит. Одета в черное, бедно. Берет за сеансы деньги. Ну, а Лопатин? Лопатин очень рад, что нашел себе такую натурщицу; сначала очень повеселел, а теперь немного задумывается.

— Я не знаю, Бессонов, почему вы так интересуетесь всем этим,— сказал мне в заключение горбатый.— Вы никогда не принимали в этой женщине никакого участия. А было время, когда вы легко могли бы спасти ее... Теперь уже, конечно, поздно... то есть поздно для вас...

Поздно для вас!.. Поздно для вас!.. Что он хотел сказать этим? Не то ли, что если поздно для меня, то не поздно для его друга? Глупцы!

Как! И этот Гельфрейх, который считает себя его другом, который знает лучше, чем я, его отношения к сестре-невесте,— и он не понимает, какое зло творят они? Они не спасут эту женщину; Лопатин разобьет сердце любящей девушки и свое...

Я чувствую, что я должен, обязан сделать что-нибудь. Я пойду завтра к Лопатину днем и постараюсь убедиться сам, как далеко зашло дело. А сегодня отправлюсь к ней.

Я был у нее и не нашел: она переехала неизвестно куда. Мне сказали, что она распродала свои платья. Я попробовал искать ее, но, несмотря на адресный стол и услуги дворников, не мог найти ее следа. Завтра иду к Лопатину.

Необходимо оставить свой прежний образ действий. Я ошибся в Лопатине: я думал, судя по его мягкости, что с ним можно говорить повелительным тоном; нужно сказать, что прежние наши отношения до некоторой степени оправдывали такое мнение. Необходимо, не трогая его, действовать на эту женщину. Было время, когда она, казалось мне, была несколько заинтересована мною. Я думаю, что, если я приложу хоть немного старания, я разлучу их. Быть может, я разбужу в ней старое чувство и она пойдет за мною.

Ухаживать за Надеждой Николаевной! Эта мысль дика для меня самого, но я останавливаюсь на ней. Я чувствую

себя не вправе допустить падение Лопатина и разрушение всей его жизни.

Эта женщина смеется надо мною! Я обратился к ней со всею нежностью, на которую я только способен; я даже, может быть, говорил с нею унизительным для себя тоном, и она ушла, сказав несколько обидных и презрительных слов.

Она удивительно изменилась. Это бледное лицо приобрело какой-то отпечаток достоинства, совершенно не идущий к ее общественному положению. Она скромна и в то же время как будто бы горда. Чем ей гордиться?! Пристально вглядываясь в лицо Лопатина, я думал прочесть на нем историю его отношений к ней. Ничего особенного: он несколько возбужден, но, по-видимому, только своей картиной. Это будет превосходная вещь. Она стоит в холсте, как живая.

Я пересилил свой гнев и, не показав вида, что считаю себя оскорбленным, остался с Лопатиным и Гельфрейхом. Мы разговорились, и они внимательно слушали мои поучения, касавшиеся разных предметов, которыми я в настоящее время занят.

Но что же делать? Оставить дело идти так, как оно идет? Однажды я дал Лопатину обещание не впутывать в это дело его сестры Софьи Михайловны. Я, конечно, должен сдержать свое обещание. Но не могу ли я написать своей матери? Она хотя редко, но видится с Софьей Михайловной и может рассказать ей. Я не изменю слову и в то же время...

Да, предоставлять такое дело самому себе не следует; я не имею на это никакого права. А эту женщину я заставлю отказаться от ее добычи какими бы то ни было средствами... Нужно только узнать, где она живет. Тогда я поговорю с нею... А теперь оставлю все это и примусь за свою работу. В пустой и бесцельной толчее, которую мы все называем жизнью, есть только одно истинное, безотносительное счастье: удовлетворение работника, когда он, погруженный в свой труд, забывает все мелочи жизни и потом, окончив его, может сказать себе с гордостью: да, сегодня я создал благое.

XII

Записки Лопатина. Шесть дней прошло после свидания с Бессоновым, а Надежда Николаевна не при-

ходила ко мне. Она прислала только записку, в которой просила извинения и ссылалась на какие-то дела.

Я показал записку Гельфрейху, и мы оба решили, что она нездорова. Нужно было во что бы то ни стало найти ее. Если бы мы знали ее фамилию, можно было бы найти ее адрес в адресном столе; но ни он, ни я не знали ее фамилии. Спрашивать Бессонова было бесполезно. Я отчаивался, но Семен Иванович обещал мне сыскать ее «хоть на дне морском». Встав на другой день рано утром, он оделся с каким-то озабоченным и решительным видом, точно шел на опасную экспедицию, и исчез на целый день.

Оставшись один, я попробовал работать; работа не шла. Я достал с полки книгу и начал читать. Слова и мысли проходили через мою голову, не оставляя следа. Я напрягал свое внимание всеми силами и все-таки не мог одолеть нескольких страниц.

Я закрыл эту книгу — умную и хорошую книгу, которую несколько дней тому назад читал хотя с трудом, но с увлечением и радостью, какую всегда доставляет хорошее чтение, и пошел бродить по городу.

Полусознанная, смутная надежда встретить если не Надежду Николаевну, то хоть кого-нибудь, кто дал бы мне какое-нибудь указание, все время не покидала меня, и я все время внимательно всматривался в прохожих и не раз переходил на другую сторону улицы, завидя женщину, сколько-нибудь напоминавшую мне знакомый образ. Но я не встретил никого, кроме капитана Грум-Скжебицкого, в четвертом часу дня (был конец декабря, и уже темнело) прогуливавшегося по Невскому проспекту с важным и осанистым видом. Было очень тепло; капитан шел в довольно щегольском меховом пальто, расстегнутом и раскрытом около шеи; цветной атласный галстук с яркой булавкой выглядывал из меха; шляпа капитана блестела, как полированная, а рукой, обтянутой в модную желтую перчатку с толстыми черными швами, он опирался на трость с большим костяным набалдашником.

Увидев меня, он приятно и снисходительно улыбнулся и, сделав приятное движение рукой, подошел ко мне.

— Рад видеть мосье Лопатина,— сказал он.— Весьма приятная встреча.

Он пожал мне руку и в ответ на мой вопрос о здоровье продолжал:

— Благодарю вас. Фланируете или же спешите куда-

нибудь? Если справедливо первое, то не пройдетесь ли со мною? Охотно повернул бы вместе с вами, но привычка, мосье Лопатин! Гуляю ежедневно и прохожу Невский два раза туда и назад. Это закон.

Я хотел вернуться домой и поэтому пошел с капитаном. Он с достоинством поддерживал разговор.

— Сегодня вторая приятная встреча,— сказал он.— Виделся я также на Невском с господином Бессоновым и узнал, что он также вам приятель.

— Как, капитан, вы и Бессонова знаете?

— Вы спросите у меня, кого я не знаю! — ответил капитан, пожимая плечами.— И господин Бессонов, будучи студентом, жил в моем óтеле. Мы были хорошими друзьями, благородное слово. Кто только не жил у меня, мосье Лопатин! Многие знатные теперь инженеры, юристы и писатели знают капитана. Да, весьма многие известные люди помнят меня.

И при этом капитан вежливо раскланялся с быстро проходившим мимо господином с озабоченным и умным лицом. Господин молча выразил на лице недоумение, но потом улыбнулся и дружелюбно кивнул капитану.

— Не забывает старых друзей, а уже в высоких чинах, мосье Лопатин, этот господин. Известный инженер Петрищев. Тоже у меня жил студентом.

— А Бессонов? — спросил я.

— И Бессонов прекрасный господин. Несколько слабый относительно прекрасных глаз слабого пола...— прибавил капитан, нагибаясь к моему уху.

Я почувствовал, что сердце у меня забилось сильнее. Мне показалось, что капитан должен знать что-нибудь и о Надежде Николаевне.

Капитан опять раскланялся с каким-то знакомым и продолжал:

— Да, если бы это не был такой прекрасный молодой человек, я бы с ним поссорился, пан Лопатин. Но я помню свою молодость, да, кроме того, старый солдат и теперь еще не равнодушен к глазам прекрасным...

Он взглянул на меня искоса и подмигнул; прищуренные глазки его сделались немного маслеными.

— Капитан,— начал я,— я очень рад, что вы знакомы с Бессоновым... Я, видите ли, не знал этого.

— Да, он жил у меня весьма долго.

— Не был ли он знаком...

Мне вдруг стало ужасно совестно. Что-то остановило

мой язык, готовый произнести имя Надежды Николаевны. Я посмотрел на капитана, впившегося в меня своими внезапно изменившими выражение глазами. Теперь он был похож на ястреба.

— Впрочем, вы, вероятно, не знаете. Извините,— смущенно докончил я.

Он посмотрел на меня, придал лицу своему самое беспечное выражение и помахал тростью.

— Да, старому солдату есть что вспомнить...— продолжал он, как будто бы я у него ничего не спрашивал.— Шестой десяток начинается,— прибавил он, печально покачав головой.— Завидую, признаться, вам, мосье Лопатин, но завидую только вашим юным годам.

— Где вы служили, капитан? — спросил я, вспомнив слова Гельфрейха.

Капитан внезапно еще раз совершенно изменился. Его лицо сделалось озабоченно-серьезным. Он посмотрел направо, посмотрел налево, обернулся назад и близко нагнулся к моему лицу, так что даже задел меня за ухо усом.

— Между нами, как между благородными людьми! Вы видите, пан Лопатин, перед собою бойца Мехова и Опатова!

И он, отступив на шаг, посмотрел на меня взором, который, как казалось, требовал изумления. Я сделал усилие, чтобы придать своему лицу приличное случаю выражение.

— Это тайна, которую я доверяю только весьма близким друзьям...— опять прошептал капитан, нагнувшись, и, снова отпрянув от меня, устремил на меня торжествующий взор.

Мне осталось только выразить ему благодарность за доверие и распрощаться с ним, так как мы подходили к Полицейскому мосту.

Я был недоволен собою; я чуть не назвал имени Надежды Николаевны этому человеку, к которому не чувствовал ни малейшего доверия.

Когда я вернулся домой, Алексеевна объявила мне, что «наш кошатник» еще не приходил. Она подала мне обедать и стала у дверей, выражая на лице своем горькое соболезнование по случаю моего малого аппетита.

— Что ж ваша-то, Андрей Николаевич, не ходит? — спросила она.

— Заболела, должно быть, Алексеевна.

Она покачала головой и, тяжело вздохнув, вышла в кухню, чтобы принести мне чаю. Я давно уже не обедал иначе как с Гельфрейхом, и мне было очень скучно.

XIII

После обеда принесли письмо от Сони.

Я никогда ничего не скрывал от нее. Когда я умру,— а это случится скоро: смерть уже не подкрадывается ко мне, а подходит твердыми шагами, шум которых я ясно слышу в бессонные ночи, когда мне становится хуже и меня больше мучит и болезнь, и воскресающее былое,— когда я умру и она прочтет эти записки, пусть знает, что никогда, никогда я не лгал перед нею. Я писал ей обо всем, что думал и чувствовал, и разве только то, чего я сам не подозревал в душе или в чем не сознавался перед самим собою, хотя смутно чувствовал, не попадало в мои длинные письма.

Но она знала меня. Несмотря на свои девятнадцать лет, она чуткой, любящей душой поняла то, в чем я не смел себе сознаться, что ни разу не сказалось в моей голове определенными словами.

«Ты любишь ее, Андрей. Дай бог тебе счастья...»

Я не мог читать дальше. Какая-то большая волна нахлынула на меня, вошла в меня и почти лишила сознания. Я опустился на спинку кресла и, держа в руках письмо, долго сидел, закрыв глаза и неподвижный, чувствуя только, как эта волна шумела и бушевала в моей душе.

Это была правда: я любил ее. Я не испытал еще до сих пор этого чувства. Я называл любовью свою привязанность к сестре; я готов был через несколько лет сделаться ее мужем и, может быть, был бы счастлив с нею, я не поверил бы, если б мне сказали, что я могу полюбить другую женщину. Мне казалось, что судьба моя решена: «Вот жена твоя,— сказал мне господь,— и у тебя не должно быть другой»,— и в этом я утвердился, спокойный за будущее и уверенный в своем выборе. Любить другую женщину казалось мне ненужной и недостойной прихотью.

И вот пришло это странное и несчастное создание с разбитой жизнью и страданьем в глазах; жалость сперва овладела мною; негодование против человека, выражавшего к ней презрение, сильнее заставило меня взять ее сторону, а потом... Потом я не знаю, как это случилось... Но Соня была права: я любил ее мучительною и страст-

нюю первою любовью человека, до двадцати пяти лет не знавшего любви. Я хотел бы вырвать ее из ужаса, в котором она терзалась, унести на своих руках куда-нибудь далеко, убаюкать ее на своей груди, чтобы она могла забыться, оживить это убитое лицо улыбкой счастья... И Соня сказала мне все это одной строчкой своего письма...

«Обо мне не думай. Я не хочу сказать: забудь меня совсем, но только то, чтобы ты не думал о моем страдании. Я не стану жаловаться на свое разбитое сердце — и знаешь почему? Потому, что оно вовсе не разбито. Я привыкла смотреть на тебя как на брата и как на жениха: первое было настоящее, а второе, кажется, люди выдумали и навязали нам. Я люблю тебя больше всех на свете; я могла бы и не писать этого, потому что ты это знаешь сам; но когда я прочла твое последнее письмо и сказала себе правду о тебе и Надежде Николаевне,— поверь мне, дорогой мой, что ни капли горечи не влилось в мое чувство. Я поняла, что я для тебя сестра, а не жена; поняла это из своей радости за твое счастье — радости, смешанной со страхом за тебя. Я не скрываю этого страха; но дай бог тебе спасти ее, и быть счастливым, и сделать ее счастливой».

«Из того, что ты писал мне о Надежде Николаевне, я думаю, что она достойна твоей любви...»

Я читал эти строки, и новое радостное чувство понемногу овладевало мною. Я не разделял страха Сони: чего было мне бояться? Как и когда это случилось — я не знаю, но я поверил в Надежду Николаевну. Вся ее прошлая жизнь, которой я не знал, и ее падение — единственное, что я знал из ее жизни,— казалось мне чем-то случайным, ненастоящим, какой-то ошибкой судьбы, в которой Надежда Николаевна не была виновата. Что-то налетело на нее, закружило ее, сбило с ног и повалило в грязь, и я подниму ее из этой грязи, прижму к сердцу и успокою около него эту исстрадавшуюся жизнь.

Сильный, порывистый звонок заставил меня вздрогнуть. Не знаю сам почему, не дождавшись, пока Алексеевна, шлепая туфлями, прибредет, чтобы отворить дверь, я кинулся к ней и отодвинул засов. Дверь распахнулась, и Семен Иванович, схватив меня обеими руками, припрыгивал на месте и кричал радостным и визгливым голосом:

— Андрей, привел, привел, привел!..

За ним стояла темная фигура. Я кинулся к ней, схва-

тил ее дрожащие руки и начал целовать их, не слушая, что она говорит мне взволнованным, сдерживающим рыдания голосом.

XIV

Мы долго просидели втроем в этот памятный для меня вечер. Мы говорили, шутили, смеялись; Надежда Николаевна была спокойна и даже как будто весела. Я не расспрашивал Гельфрейха, где и как он ее нашел, и он сам не заикнулся об этом ни одним словом. Между мною и ею не было сказано ничего, что намекало бы на то, что я передумал и перечувствовал перед ее приходом. Я не могу сказать, чтобы скромность или нерешительность заставляли меня сдерживаться: я просто считал это ненужным и лишним; я боялся растревожить ее израненную душу. Я был разговорчив и весел, как никогда; Гельфрейх изъявлял какой-то шумный восторг, сиял, болтал без умолку и иногда своими выходками заставлял улыбаться Надежду Николаевну. Алексеевна накрыла стол и принесла самовар. Устроив все как следует, она стала у притолоки и, подперши одну щеку рукою, несколько минут смотрела на всех нас и на то, как Надежда Николаевна заваривала чай и хозяйничала.

— Вам нужно что-нибудь, Алексеевна? — спросил я.

— Ничего, милый, мне не нужно, так, посмотреть на вас только... Уж и обиделся! — сказала она.— Нельзя старухе и постоять! Вот смотрю, как у вас барышня заместо хозяйки. Так-то оно хорошо!

Надежда Николаевна опустила голову.

— Видишь ты, как славно. А то все мужчины да мужчины: и чай разливать и все. Уж и мне-то без хозяйки скучно стало, Андрей Николаевич, правду тебе сказать, уж ты извини меня...

Она повернулась и засеменила своими ногами по коридору. Наша веселость пропала. Надежда Николаевна встала и начала ходить по комнате.

Моя картина стояла в углу. За эти несколько дней я не подходил к ней, и краски успели высохнуть. Надежда Николаевна долго смотрела на свое изображение и потом, обернувшись ко мне, сказала с улыбкой:

— Ну, теперь мы скоро кончим. Я не стану делать вам таких перерывов. Она будет готова задолго до выставки.

— Как вы похожи! — вставил Сенечка.

Она вдруг остановилась, как будто внезапная мысль помешала ей говорить, и с нахмуренным лицом отошла от картины.

— Надежда Николаевна, что с вами? Опять нахмурились! — сказал я.

— Ничего особенного, Андрей Николаевич. Я действительно очень похожа на этой картине. Мне пришло в голову, что меня знают многие, слишком многие... Я представляю себе, как это будет...

Она тяжело дышала, и слезы стояли у нее на глазах.

— Я думаю, сколько придется вам услышать толков, вопросов! — продолжала она.— «Кто она? Откуда вы ее взяли?» И будут спрашивать люди, которые знают, кто я и откуда меня можно было взять...

— Надежда Николаевна...

— Вы не погнушались мною, Андрей Николаевич, вы и мой милый Сенечка; вы посмотрели на меня как на человека... В первый раз за три года это случилось. Я не верила себе... Знаете ли, отчего я ушла от вас? Я думала (простите меня за это!), я думала, что вы, как и все. Я думала: вот и я, мое лицо, мое тело пригодилось к чему-нибудь нужному — и поэтому пришла к вам. Картина подходила к концу, вы были со мной вежливы и деликатны; я уже отвыкла от такого отношения и не верила себе. Я не хотела испытать одного удара, потому что от этого удара мне было бы очень больно, очень больно...

Она села в глубокое кресло и приложила платок к глазам.

— Простите меня,— продолжала она.— Я не верила вам, я с ужасом ждала той минуты, когда вы наконец посмотрите на меня тем взглядом, к которому я уже слишком привыкла за эти три года, потому что никто за эти три года не смотрел мне в лицо иначе...

Она остановилась; лицо ее судорожно исказилось, и губы задрожали. Она смотрела в дальний угол комнаты, как будто бы видела там что-то.

— Был один, только один, который смотрел не так, как все... и не так, как вы. Но я...

Мы с Гельфрейхом слушали ее затаив дыхание.

— Но я убила его...— едва слышно выговорила она.

И страшный приступ отчаяния овладел ею: вопль вырвался из измученной груди, и жалкие, детские рыдания огласили комнату.

XV

Из дневника Бессонова. Я жду, что́ будет. Я был недавно там и видел их вместе. Всей силы воли, какая у меня есть, было недостаточно, чтобы продолжать носить на себе надетую мною маску равнодушия и вежливости: я почувствовал, что если пробуду еще четверть часа, то сброшу ее и покажу им самого себя.

Этой женщины нельзя узнать. Я помню ее три года и привык видеть в ней то, чем она была в эти года. Теперь я вижу происшедшую в ней перемену, и не понимаю ее, и не знаю, истинна ли эта перемена и не составляет ли она только роли, искусно разыгрываемой привыкшим к обману себя и других презренным существом.

Я ничего не понял в их отношениях. Я не знаю даже, сделалась ли она его любовницей. Думаю почему-то, что нет. И если это правда, то она искуснее, чем я думал. К чему она стремится? Сделаться его женой?

Я перечитал эти несколько строк и вижу, что все написанное в них неправда, кроме того, что она изменилась. Я сам три года тому назад видел в ней что-то не совсем обыкновенное, редко встречающееся среди женщин в ее положении. Я сам чуть не принял на себя роль спасителя, которую теперь великодушно разыгрывает Лопатин. Но я был опытнее тогда, чем он теперь: я знал, что из этого ничего не выйдет, и отступил, даже не пробуя сделать что-нибудь. Ее натура представляла кроме общих препятствий в этом отношении одно специальное: это — какое-то страшное упорство и дерзость. Я увидел, что она махнула рукой на все и воспротивится при первой же моей попытке. Я не сделал этой попытки.

Сделал ли ее Лопатин? Не знаю. Вижу только, что эту женщину нельзя узнать. Что она бросила свою прежнюю жизнь — я знаю наверное. Она переехала в какую-то каморку, куда не пускает ни Гельфрейха, ни этого спасителя, ходит на сеансы к нему и, кроме того, шьет. Она живет очень бедно. Она похожа теперь на пьяницу, давшего зарок не пить. Выдержит ли она его? Поможет ли ей в этом этот сентиментальный артист, не видевший жизни, ничего в ней не понимающий?

Вчера я написал матери подробное письмо. Она, наверное, сделает все так, как я предполагаю,— женщины любят вмешиваться в подобные истории,— и передаст все Софье Михайловне. Может быть, хоть это спасет его.

Спасти его! Отчего я забочусь об этом спасении? Первый раз в жизни я так глубоко задет чужими делами. Не все ли мне равно, сойдется ли Лопатин с этой женщиной или нет, вытащит ли ее из грязи или сам опустится до нее и в бесплодных попытках разобьет свою жизнь, зароет и забросит свой талант? Я не привык рефлектировать, копаться в своей душе; мне в первый раз в жизни приходится глубоко заглядывать в нее и подробно анализировать свои чувства. Я не могу понять, что происходит в моей душе теперь и что заставляет меня выходить из себя. Я думал (и теперь думаю), что только бескорыстное желание предотвратить крупное несчастие человека, к которому я расположен... Но внимательно вслушиваясь в свои мысли, я вижу, что тут что-то не так. Отчего я, желая спасти его, думаю больше о ней; отчего *ее* лицо, когда-то буйное и задорное, а теперь поникшее и кроткое, представляется моему воображению каждую минуту; отчего она, а не он наполняет мою душу странным чувством, в котором я никак не могу разобраться и в котором преобладают недобрые чувства? Да, быть может, это правда: я не столько хочу *ему* сделать добро, сколько ей...

Чего? Зла? Нет, я не хочу сделать ей зла. И между тем я хотел бы оторвать ее от него, лишить ее этого покровительства, в котором, быть может, вся ее надежда... О, неужели я хотел бы стать на место Лопатина!

Я должен видеть ее сегодня. Вся эта история не дает мне спокойно жить и спокойно трудиться. Моя работа идет вяло, и в эти две недели я не сделал и столько, сколько в прежнее время делал в два дня. Нужно как-нибудь покончить этот вопрос: объясниться, объяснить все самому себе... и что же потом?

Отступить? Никогда! Вся моя гордость подымается при одном таком предположении. Я нашел ее. Я мог спасти и не захотел. Теперь я хочу.

XVI

З а п и с к и Л о п а т и н а. Гельфрейх побежал за доктором, жившим на одной с нами лестнице; я принес воды, и скоро истерический припадок прошел. Надежда Николаевна сидела в углу дивана, на который мы с Гельфрейхом перенесли ее, и только изредка тихонько всхлипывала. Я боялся потревожить ее и ушел в другую комнату.

Не найдя доктора, Семен Иванович пришел назад и застал ее уже успокоившеюся.

Она собралась идти домой, и он изъявил желание проводить ее. Она пожала мою руку, смотря мне прямо в глаза своими полными слез глазами, и я видел на ее лице какую-то боязливую благодарность.

Прошла неделя, другая, месяц. Наши сеансы продолжались. Сказать по правде, я старался растянуть их; я не знаю, понимала ли она, что я делаю это с намерением, но только она часто торопила меня. Она стала спокойнее и иногда, правда редко, бывала весела.

Она рассказала мне всю свою историю. Я долго думал над вопросом: занести ли мне и эту историю в свои записки или нет? Я решаюсь умолчать о ней. Кто знает, в чьи руки может попасть эта тетрадь? Если бы я наверное знал, что ее будут читать только Соня и Гельфрейх, то и тогда я не стал бы говорить здесь о прошлом Надежды Николаевны: они оба знают это прошлое хорошо. Я попрежнему ничего не скрывал от сестры и в письмах тогда же передал ей весь долгий и горький рассказ Надежды Николаевны. Гельфрейх знал все от нее самой. Следовательно, им ее история в моих записках не нужна. Другие же... я не хочу, чтобы ее судили другие! Я узнал всю ее жизнь, я был ее судьею, и я простил ей все, что, по мнению людей, нуждается в прощении. Я слушал ее тяжелую исповедь и рассказ о своих бедствиях, самых страшных бедствиях, которые только может испытать женщина, и не обвинение шевелилось в моей душе, а стыд и унизительное чувство человека, считающего себя виновным в зле, о котором ему говорят. Последний эпизод ее истории наполнил меня ужасом и жалостью: слова ее в тот вечер, когда ее привел Гельфрейх и с нею сделался припадок, были не пустые слова. Она действительно убила человека, сама того не зная. Он хотел спасти ее, но не мог. Его слабые руки не в силах были удержать ее на краю пропасти, и, не удержав ее, он кинулся в пропасть сам. Он застрелился. Без слез, с какою-то застывшею решимостью она рассказывала мне эту ужасную историю, и я долго думал над ней. Может ли воскреснуть ее разбитое сердце, заживут ли такие страшные раны?

Но раны, казалось, заживали. Она становилась спокойнее и спокойнее, и улыбка уже не так редко появлялась на ее лице. Она приходила ко мне каждый день и оставалась у нас обедать. После обеда мы долго сидели втроем,

и чего-чего только не было переговорено в эти тихие часы между мною и Гельфрейхом! Надежда Николаевна только изредка вставляла свое слово.

Я хорошо помню один из этих разговоров. Гельфрейх, все еще не бросая своих котов, начал усердно заниматься писаньем этюдов. Однажды он признался, что работает так усердно только потому, что задумал картину, которую напишет, «может быть, через пять, а может быть, и через десять лет».

— Отчего же так долго, Сенечка? — спросил я с невольной улыбкой при виде важности, с какою он излагал свое намерение.

— Оттого, что это серьезная вещь. Это дело жизни, Андрей. Ты думаешь, что только люди высокого роста, с прямою спиною и прямою грудью могут задумывать серьезные вещи? О вы, чванные дылды! Верь мне,— продолжал он с напускной важностью,— что между этими горбами могут жить великие чувства, а в этом длинном ящике (он стукнул себя по темени) рождаются великие мысли.

— Эта великая мысль — секрет? — спросила Надежда Николаевна.

Он посмотрел на нас обоих и, помолчав, сказал:

— Нет, не секрет. Я расскажу вам. Мысль эта пришла мне в голову уже давно. Слушайте. Как-то раз Владимир Красное Солнышко рассердился за смелые слова на Илью Муромца; приказал он взять его, отвести в глубокие погреба и там запереть и землей засыпать. Отвели старого казака на смерть. Но, как это всегда бывает, княгиня Евпраксеюшка «в те поры догадлива была»: она нашла к Илье какой-то ход и посылала ему по просфоре в день, да воды, да свечей восковых, чтобы читать Евангелие. И Евангелие прислала.

Сенечка замолчал и задумался, и молчал так долго, что я наконец сказал:

— Ну, Семен Иваныч?

— Ну, вот и все. Конечно, скоро старый казак понадобился князю: пришли татары и некому было выручить Киев из беды. Пожалел тогда Владимир, горько пожалел. А Евпраксеюшка послала тотчас же людей, чтобы шли в подвалы глубокие и выводили Илью за белы руки. Зла Илья не помнил, сел на коня, ну и так далее. Переколотил татар — вот и все.

— Где же тут картина, Семен Иванович?

Семен посмотрел на меня с выражением преувеличенного изумления и всплеснул руками:

— Художник! Художник! Да еще Лопатин, Андрей Лопатин! Да тут тридцать, триста, три тысячи картин, если хочешь, но я из них выбираю одну и напишу ее; умру, а напишу! Разве ты не видишь, как он сидит в погребе? Разве не представляется это тебе как живое? Ну, вот тебе: пещера, погреб, вообще нора какая-нибудь вроде киевских пещер. Узкие переходы, и в стене небольшая ниша. Пыль, плесень, что-то страшное, фантастическое, еще более фантастическое от света восковой свечи. И сидит Илья на приступке, перед ним аналой, и лежит на аналое большая старая святая книга с толстыми покоробившимися, пожелтевшими листами пергамента, и литеры в ней черные и красные. Сидит старый казак в одной рубахе и внимательно читает, переворачивая непослушные листы книги большими мужицкими, неловкими руками, привыкшими к поводу, и к копью, и к мечу, а то и просто к дубине. Много потрудились эти руки и от сильной работы, что всю жизнь они делали, дрожат, и ходенем ходят, и с трудом переворачивают листы святой книги...

— Эх, брат,— вдруг перебил свою речь Гельфрейх,— одна беда: очков тогда не было. Если бы они были, непременно Евпраксеюшка ему бы очки послала, большие, круглые, в серебряной оправе. Ведь он дальнозорок должен был быть от жизни в степи? Как вы думаете?

Мы оба расхохотались. Гельфрейх в недоумении посмотрел на нас, потом как будто понял, чему мы смеемся, и улыбнулся сам. Но торжественное настроение его рассказа опять взяло верх, и он продолжал:

— Не стану вам говорить, какие у него глаза: это описывать всего труднее. И в глазах-то у меня все. В глазах и губах. Ну, так вот, он сидит и читает. И раскрыл он место о нагорной проповеди, и читает он о том, что, получивши удар, надо поставить себя под другой. И читает он это место и не понимает. Всю жизнь трудился Илья не покладая рук; печенегов, и татар, и разбойников извел великое множество; разных Тугаринов Змеевичей, и Идолищ Поганых, и полениц, и жидовинов побеждал; век прожил в подвигах и на заставах, не пропуская злого в крещеную Русь; и верил он во Христа, и молился ему, и думал, что исполняет Христовы заповеди. Не знал он, что написано в книге. И теперь он сидит и думает: «Если ударят в правую щеку, подставить левую? Как же это так,

господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят, или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтобы грабил и убивал? Нет, господи, не могу я послушаться тебя! Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости, а дал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя!..» И рука его дрожит, и дрожит в ней желтый лист книги с красными и черными литерами. Свеча горит тусклым пламенем; над нею тонкая черная струйка копоти вьется и уходит в темноту. И освещены этим светом только Илья да книга, только их двое...

Семен Иваныч замолчал и задумался, откинувшись на спинку кресла и подняв глаза в потолок.

— Да,— сказал я после долгого молчания,— это хорошая картина, Сенечка. Только это лучше рассказалось, чем напишется красками на полотне. Как ты выразишь все это?

— Сделаю, непременно сделаю, все сделаю! — с жаром воскликнул Сенечка.— Сделаю! Поставлю этот вопросительный знак. Илья — и Евангелие! Что общего между ними? Для этой книги нет большего греха, как убийство, а Илья всю жизнь убивал. И ездит-то он на своем жеребчике, весь обвешанный орудиями казни — не убийства, а казни, ибо он казнит. А когда ему не хватает этого арсенала или его нет с ним, тогда он в шапку песку насыплет и им действует. А ведь он святой. Видел я его в Киеве... Лежит вместе со всеми. И справедливо...

— Все это так, Сенечка, но я не то хотел тебе сказать. Не выразят этого краски.

— Как не выразят? Вздор! Если и не выразят всего, так что ж за беда? Вопрос поставят... Постой, постой! — горячился Семен, видя, что я хочу его перебить.— Ты скажешь, что вопрос уже поставлен? Верно! Но этого мало. Нужно задавать его каждый день, каждый час, каждое мгновенье. Нужно, чтобы он не давал людям покоя. И если я думаю, что мне удастся хоть десятку людей задать этот вопрос картиной, я должен написать эту картину. Я давно думал об этом, да вот эти все сбивали.

Он нагнулся, взял с пола сидевшего на ковре рыжего кота, который, казалось, внимательно слушал его речи, и посадил к себе на колени.

— Разве ты не делаешь того же самого? — продолжал Сенечка.— Разве твоя картина не тот же вопрос? Разве

ты знаешь, хорошо ли поступила эта женщина? Ты заставишь думать людей, вот и все. И кроме эстетического чувства, которое возбуждает всякая картина и которое одно, само по себе, стоит не очень-то много, не в этом ли смысл того, над чем мы трудимся?

— Семен Иванович, Сенечка, милый мой,— сказала вдруг Надежда Николаевна,— я никогда не видела вас таким. Я всегда знала, что у вас прекрасное сердце, но...

— Но вы думали, что я глупенький горбунчик? Помните, раз вы так назвали меня?

Он посмотрел на нее и, должно быть, заметив тень на ее лице, прибавил:

— Простите, что я вспоминаю. Эти годы нужно вычеркнуть из памяти. Все пойдет хорошо. Ведь правда, Андрей, все пойдет хорошо?

Я кивнул ему головой. Я был тогда очень счастлив: я видел, что Надежда Николаевна понемногу успокаивается, и — кто знает? — может быть, жизнь ее за последние три года сделается для нее только далеким воспоминанием, не пережитыми годами, а лишь смутным и тяжелым сновидением, после которого, открыв глаза и видя, что ночь тиха, что в комнате все по-прежнему, радуешься, что это был только сон.

XVII

Зима проходила. Солнце подымалось все выше и выше и все сильнее пригревало петербургские улицы и кровли: повсюду из труб шумела вода, и талый лед с громом выкатывался из них. Показались дрожки, гремевшие по кое-где обнаженной мостовой с новым, воскресшим для уха звуком.

Я кончил картину. Еще несколько сеансов, и можно будет нести ее в академию на суд экспертов выставки. Гельфрейх заранее поздравлял меня с успехом. Надежда Николаевна радовалась, глядя на картину, и на ее лице я часто видел незнакомое мне до сих пор выражение спокойного удовольствия. Иногда она даже была весела и шутила, большею частью над Сенечкой; Сенечка же весь погрузился в чтение множества книг, которые ему нужно было прочесть, по его словам, для картины, в рассматривание альбомов со всякими древностями и изучение Евангелия. Его коты разбежались; остался только один непременный рыжий кот, да и тот жил на покое, почти не тре-

вожимый своим хозяином для отправления должности натурщика. Со времени нашего разговора об Илье Муромце Семен Иванович написал только одну картинку и, продав ее за полтораста рублей, считал себя обеспеченным деньгами надолго, тем более что он, к моему великому удивлению, нисколько не стеснялся своим долговременным пребыванием в моем жилище, где жизнь ему ничего не стоила.

Мы проводили втроем почти все свободное время. Гельфрейх достал где-то для Надежды Николаевны огромную рукопись, содержавшую в себе проект какого-то важного лица,— проект, по которому Россия должна была быть облагодетельствована в самом непродолжительном времени, и она переписывала ее щегольским крупным почерком. Так как облагодетельствование России требовало большой работы мысли, то проект исправлялся и дополнялся без конца и, кажется, и до сих пор не приведен к окончанию. Кто-то переписывает его теперь, после Надежды Николаевны?

Как бы то ни было, она не бедствовала. Того, что она зарабатывала перепиской, и денег, получаемых от меня за сеансы, ей хватало. Она жила в той же самой маленькой комнате, куда переехала, скрывшись от нас. Это была узенькая низкая комната с одним окном, выходившим куда-то в стену; кровать, комод, два стула и ломберный стол, служивший и для письма, и для чая, и для обеда, составляли все убранство. Когда приходили мы с Сенечкой, он отправлялся к хозяйке в кухню и выпрашивал себе табурет. Впрочем, эти посещения случались редко: неприветлива и мрачна была эта комната, с которой Надежда Николаевна ни за что не хотела расстаться. Большею частью мы собирались у нас с Семеном Ивановичем, где было и просторно и светло.

Я ни разу не говорил с нею о том, что происходило в моей душе. Я был спокоен и счастлив настоящим; я понимал, что неосторожное прикосновение к ее, быть может, не закрывшимся душевным ранам больно отзовется на ней. Я мог потерять ее навсегда, если бы теперь же стал настаивать на приведении в исполнение своей заветной мысли, своего желания и надежды. Может быть, я не мог бы держать себя так спокойно и сдерживаться так долго, если бы эта надежда не была так сильна. Я твердо верил, что пройдет еще полгода, год, даже два (время не пугало меня), и она, успокоенная и выздоровевшая, увидит около

себя твердую опору, на которую можно положиться, и сделается моею на всю жизнь. Я даже не надеялся, я прямо знал, что она будет моей женой.

Не знаю, видел ли это Бессонов... Он иногда приходил к нам, нарушая наше спокойствие и внося неловкость в наши разговоры. По-видимому, он был спокоен и хладнокровно смотрел на Надежду Николаевну. Она не заговаривала с ним, хотя отвечала ему на его вопросы и слушала его длинные разговоры о самых разнообразных предметах. Он был очень начитан и говорил хорошо. Отчего-то мне казалось, что он сделался таким словоохотливым и поучительным, чтобы скрывать от нас что-то прятавшееся за его гладкой речью и не дававшее ему покоя. После я узнал, что это было так, что своим внешним спокойствием он скрывал смертельную язву, убивавшую его, как тот святой французский священник, слывший неуязвимым и в битвах носивший красный плащ, чтобы не видно было крови, лившейся из его ран. Но когда я узнал это, уже было поздно.

Зачем-то он опять перебрался к капитану. Один раз я был у него. Новая комната его, как и прежняя, была вся завалена книгами, газетами и бумагами, но мне показалось, что все это лежало в большом беспорядке и покрытое пылью, как будто давно уже никто не притрагивался к работе в этой комнате. Дома он держал себя иначе, чем у нас, в присутствии Надежды Николаевны; говорил мало и мрачно шагал из угла в угол, покуривая папиросу. Я чувствовал, что я лишний, и решился больше не ходить к нему. Я спросил у него между прочим, не знает ли он чего-нибудь о капитане и правда ли, что капитан «боец Мехова и Опатова».

— Сочиняет,— сказал Бессонов.— Он и поляк-то не настоящий. Он перешел в православие когда-то очень давно, и я думаю, что он просто хочет импонировать молодым людям, когда открывает им свою мнимую тайну.

Я ушел от Бессонова. Скоро два случая открыли мне глаза на его поведение.

Во-первых, Соня прислала мне письмо с описанием разговора, происшедшего между нею и матерью Бессонова. Старушка иногда заходила к ней в институт в приемные часы, помня участие, которое всегда принимала в ней и в ее сыне Сонина мать. По словам сестры, на этот раз она пришла с взволнованным и таинственным видом и после нескольких неловких предисловий обнаружила, за-

чем именно явилась. Сергей Васильевич написал ей подробно обо всем происходившем у нас. Ему не хватало черной краски, чтобы представить положение дела в таком мрачном виде, как ему хотелось. Он *не просил* мать передать содержание письма Соне, но сама старушка из чувства благодарности решила пойти и рассказать все, с целью предупредить ее, чтобы она действовала, пока еще можно спасти меня. Она была очень удивлена, узнав, что сестре все уже известно. Она волновалась. Ей, старой женщине, стыдно было говорить молодой девушке, да еще институтке, о подобных вещах; но что же делать? Нужно спасти несчастного Андрюшу во что бы то ни стало. На месте Сони она вышла бы из института и сейчас же поехала бы в Петербург, чтобы открыть мне глаза.

«Сергей Васильевич,— писала Соня,— играет во всей этой истории какую-то странную роль. Я не верю, чтобы он написал все это матери, не зная, что она наверное передаст все мне, и, скажу больше, не желая, чтобы она передала.

Я приеду к тебе в Петербург, но только после экзаменов. Если ты согласишься, мы проживем лето где-нибудь на даче, и я немного подготовлюсь, чтобы не было трудно на первых порах на курсах».

Это письмо расстроило меня, но полученное вслед за ним второе — длинное анонимное послание — переполнило чашу.

В высокопарных, кудреватых выражениях неизвестный автор предостерегал меня против печальной судьбы всех молодых людей, слепо предающихся своим страстям и не разбирающих достоинств и недостатков существа, с которым намеревается вступить в союз, «узы какового легки и незаметны вначале, но впоследствии превращаются в тяжкую цепь, подобную той, какую влачат несчастные каторжники». Так выражался неизвестный автор письма... «Верьте благородному слову опытного старца, господин Лопатин, что неравенство в браке есть вещь весьма ужасная. Вещь эта лишила мир многих великих талантов; прошу то помнить, господин Лопатин». Затем следовал целый обвинительный акт против «Надежды», душа которой называлась даже «добычею пекла» (тут я уже решительно узнал руку капитана). Она обвинялась в долгой развратной жизни, из которой могла бы выйти, если бы захотела, «ибо имеет родственников своей фамилии, хотя весьма удаленных, которые — я уверен в том — извлекли

бы падшую из ее социального положения, но по натуральной склонности сей особы к разврату она предпочитала погрязать в болоте, из которого вы тщетно имеете намерение спасти ее, причем, без сомнения, погубите и жизнь свою и чудный ваш талант». Она обвинялась в убийстве человека, «и также весьма порядочного господина, не отличавшегося талантами, подобно вам, но прекрасного человека, получавшего на службе пятьдесят рублей в месяц и имевшего в виду увеличить свое содержание, которое было бы весьма достаточно для жизни их обоих, ибо на что же могло рассчитывать подобное существо, как эта презренная, которая, однако, по склонности своей предпочла отказать этому молодому человеку, господину Никитину, в браке, лишь бы продолжить гнусную жизнь свою?..»

Письмо было очень длинное; я не дочитал и бросил его в топившуюся печку. Участие Бессонова в этом деле для меня показалось несомненным. С какой стати капитану заботиться о спасении моей души? Вся кровь бросилась мне в голову, и первым моим движением было бежать к Бессонову. Я не знаю, что бы я с ним сделал. О капитане я не думал: этот ренегат, скрывающий свое ренегатство, был уговорен, подпоен, может быть, чем-нибудь запуган. Я схватил шляпу и был уже у дверей, когда опомнился. Лучше было прежде успокоиться и потом уже решить, что делать.

Я утвердился в этом решении и в ожидании Надежды Николаевны попробовал писать кое-какие аксессуары картины, думая успокоиться в работе; но кисть прыгала по холсту, и глаза не видели красок. Я оделся, чтобы выйти и освежиться на воздухе; отворив дверь, я увидел, что перед ней стоит Надежда Николаевна, бледная, задыхающаяся, с выражением ужаса в широко раскрытых глазах.

XVIII

Из дневника Бессонова. Тоска! Тоска эта преследует меня, где бы я ни был, что бы я ни делал, чтобы забыть, утолить ее чем-нибудь. Глаза мои наконец открылись; с тех пор как я ничего не записываю в этот дневник, прошел месяц, и в этот месяц решилось все. Куда девалось это хваленое философское спокойствие? Где мои бессонные ночи, проводимые за работой? Я, тот самый я, который гордился тем, что имею характер в наше бес-

характерное время, смят и уничтожен налетевшей бурей... Какой бурей? Разве это буря? Я презираю себя, презираю за свою прежнюю гордость, которая не помешала мне склониться перед пустой страстью; презираю за то, что позволил этому дьяволу в образе женщины овладеть своей душой. Да, если бы во мне жила вера в сверхъестественное, я не мог бы иначе объяснить случившееся как наваждением.

Перечитал написанные строчки... Что за унизительные, жалкие жалобы! О, где ты, моя гордость, где сила воли, дававшая мне возможность переламывать себя и жить не так, как живется, а как я хотел жить? Я унизился до мелочной интриги: написал письмо матери, и она, без сомнения, рассказала все, что я хотел, его сестре, и из этого ничего не вышло; в нетерпении я заставил старого дурака написать безграмотное письмо Лопатину — и из этого ничего не выйдет, я знаю это. Он бросит письмо в огонь, или, еще хуже, он покажет его ей, своей любовнице, и они вместе будут читать его, потешаться над безграмотными излияниями капитанской души и будут издеваться надо мной, потому что поймут, что некому было, кроме меня, толкнуть капитана на эту пошлость.

Его любовнице! Так ли это? Слово сорвалось у меня с пера, но я до сих пор не знаю, правда ли это? А если это не так? Если для меня есть еще надежда? Что заставляет меня думать, что он полюбил ее, кроме смутных подозрений, возбужденных безумной ревностью?

Три года тому назад все было возможно и легко. Я лгал в этом самом дневнике, когда писал, что отказался от нее, потому что увидел невозможность спасти. Если не лгал, то обманывал себя. Ее легко было спасти: нужно было только наклониться и поднять ее. Я не захотел наклониться. Я понял это только теперь, когда мое сердце болит любовью к ней. Любовью! Нет, это не любовь, это страсть безумная, это пожар, в котором я весь горю. Чем потушить его?

Я пойду к ней и поговорю с нею. Я соберу все свои силы и буду говорить спокойно. Пусть она выбирает между мною и им. Я скажу только правду, скажу, что ей нельзя рассчитывать на этого впечатлительного человека, который сегодня думает о ней, а завтра его поглотит что-нибудь другое и она будет забыта. Иду! Так или иначе, а это нужно кончить. Я слишком измучен и больше не могу...

В тот же день.

Я был у нее. Сейчас иду к нему.

Это последние строки, которые будут написаны в этом дневнике. Ничто не может удержать меня. Нет у меня власти над собою...

XIX

Записки Лопатина. Зачем тянуть дальше? Не лучше ли кончить свои воспоминания на этих строках?

Нет, я напишу до конца. Все равно: если я и брошу перо и эту тетрадь, этот ужасный день будет переживаться мною в тысячный раз; в тысячный раз я испытаю ужас, и мучения совести, и муки потери; в тысячный раз сцена, о которой я сейчас буду писать, пройдет перед моими глазами во всех своих подробностях, и каждая из этих подробностей ляжет на сердце новым страшным ударом. Буду продолжать и доведу до конца.

Я привел Надежду Николаевну в комнату; она едва стояла на ногах и дрожала, как в лихорадке. Она смотрела на меня все тем же испуганным взглядом и в первую минуту не могла сказать слова. Я усадил ее и дал ей воды.

— Андрей Николаевич, берегитесь. Заприте дверь... не впускайте никого. Он придет сейчас.

— Кто, Бессонов?

— Заприте дверь,— шептала она.

Гнев овладел мною. Ему мало безыменных писем; он дошел до насилия.

— Что он сделал с вами? Где вы его видели? Успокойтесь. Выпейте еще воды и расскажите. Где вы его видели?

— Он был у меня...

— В первый раз?

— Нет, не в первый. Он был еще два раза. Я не хотела говорить вам, чтобы не рассердить вас. Я просила его перестать ходить ко мне; я сказала, что мне тяжело видеть его. Он молча ушел и не был недели три. Сегодня он пришел рано и ждал, пока я оденусь.

Она замолчала; ей было трудно продолжать.

— Что ж дальше?

— Я никогда не видела его таким. Он говорил сначала спокойно. Он говорил о вас. Он не говорил о вас ничего

дурного; сказал только, что вы человек впечатлительный и увлекающийся и что я не могу надеяться на вас. Он просто сказал, что вы меня бросите, потому что вам скоро надоест возиться со мной...

Она замолчала и расплакалась. О, никогда такая любовь и жалость не овладевали мной! Я взял ее холодные руки и целовал их. Я был безумно счастлив; слова без удержу полились из уст моих. Я сказал, что я люблю ее на всю жизнь, что она должна быть моей женой, что она видит и знает, что Бессонов не прав. Я сказал ей тысячу нелепых слов, счастливых слов, по большей части не имевших никакого внешнего смысла, но она поняла их. Я видел ее милое лицо, озаренное счастьем, на моей груди, это было совсем новое, немного чужое лицо, не то лицо с тайным мученьем в чертах, которое я привык видеть.

Она улыбалась, и плакала, и целовала мои руки, и прижималась ко мне. И в ту минуту во всем мире не было ничего, кроме нас двоих. Она говорила что-то о своем счастии и о том, что она полюбила меня с первых же дней нашего знакомства и убегала от меня, испугавшись этой любви; что она не стоит меня, что ей страшно связать мою судьбу со своей; и снова обнимала меня и снова плакала счастливыми слезами. Наконец она опомнилась.

— А Бессонов? — вдруг сказала она.

— Пусть приходит Бессонов,— ответил я.— Какое нам с вами дело до Бессонова?

— Постойте, я кончу, что начала говорить о нем. Да, он говорил о вас. Потом о себе. Он сказал, что он гораздо более надежная опора, чем вы. Он напомнил мне, что три года тому назад я любила его и пошла бы за ним. И когда я сказала, что он обманывает сам себя, вся его гордость вспыхнула и он до такой степени вышел из себя, что бросился на меня... Постойте,— сказала Надежда Николаевна, схватив меня за руку, когда увидела, что я вскочил на ноги,— он не тронул меня... Мне жалко его, Андрей Николаевич... он у меня в ногах валялся, этот самолюбивый человек! Если бы вы видели это!

— Что же вы сказали ему?

— Что же было говорить? Я молчала. Я сказала только, что не люблю его. И когда он спросил — не потому ли, что люблю вас, я сказала ему правду... Тогда с ним случилось что-то такое страшное, что я не могу понять. Он

кинулся на меня, обнял меня, прошептал мне: «прощай, прощай!» — и пошел к двери. Никогда я не видела такого ужасного лица. Я упала на стул почти без сил. У двери он обернулся и странно так засмеялся и говорит: «Впрочем, я еще увижусь с тобой и с ним». И лицо его было так ужасно...

Она вдруг перестала говорить и страшно побледнела, устремив глаза ко входу в мастерскую. Я обернулся. В дверях стоял Бессонов.

— Не ждали? — сказал он, заикаясь.— Я не обеспокоил вас и прошел с черной лестницы.

Я вскочил на ноги и стал против него. И мы стояли так долго, меряя друг друга глазами. Он был действительно способен навести ужас. Бледный, с красными, воспаленными глазами, с ненавистью устремленными на меня, он ничего не говорил; его тонкие губы только шептали что-то, дрожа. Мне вдруг стало жаль его.

— Сергей Васильевич, зачем вы пришли? Если вы хотите говорить со мной, подите и успокойтесь.

— Я спокоен, Лопатин... Я болен, но спокоен. Я уже решил все, и мне не от чего волноваться.

— Зачем же вы пришли?

— Затем, чтобы сказать вам несколько слов. Вы думаете быть счастливым с ней? — он указал рукою на Надежду Николаевну.— Вы не будете счастливы! Я не позволю вам этого.

— Уйдите отсюда,— сказал я, делая страшные усилия, чтобы говорить спокойно.— Подите отдохните. Вы сами сказали, что больны.

— Это мое дело. Вы слушайте, что я вам скажу. Я ошибся... Я виноват. Я люблю ее. Отдайте ее мне.

«Он сошел с ума!» — мелькнуло у меня в голове.

— Я не могу жить без нее,— продолжал он глухим и хриплым голосом.— Я не выпущу вас, пока вы не скажете мне «да»!

— Сергей Васильевич!

— И вы скажете мне это «да», или...

Я взял его за плечи и повернул к двери, он шел послушно. Но, подойдя к двери, вместо того чтобы взяться за ручку, он повернул ключ, сильным движением оттолкнул меня и стал в угрожающую позу. Надежда Николаевна вскрикнула.

Я увидел, как он переложил ключ в левую руку, а правую опустил в карман. Когда он вынул ее, в ней блестел

предмет, которому я тогда не успел дать названия. Но вид этого предмета ужаснул меня. Не помня себя, я схватил стоявшее в углу копье, и когда он направил револьвер на Надежду Николаевну, я с диким воплем кинулся на него. Все покатилось куда-то с страшным грохотом . . . . . .

. . . .

Тогда началась казнь.

Я не знаю, сколько времени я лежал без сознания. Когда я очнулся, я не помнил ничего. То, что я лежал на полу, то, что я видел сквозь какой-то странный сизый туман потолок, то, что я чувствовал, что в груди у меня есть что-то мешающее мне двинуться и сказать слово,— все это не удивило меня. Казалось, что все это так и нужно для какого-то дела, которое нужно сделать и которого я никак не мог вспомнить.

Картина! Да. Шарлотта Корде и Илья Муромец... Он сидит и читает, а она переворачивает ему листы и дико смеется... Какие пустяки! Это не то; это не тот вопрос, о котором говорит Гельфрейх.

Я делаю движение и чувствую, что мне очень больно. Конечно, это так нужно, иначе и нельзя.

Тишина. Ожившая муха звенит в воздухе и потом бьется в стекло. Рамы еще не вынуты, но сквозь них доходит веселое дребезжание дрожек. Дымок расходится перед моими глазами, странный сизый дымок, и я ясно вижу на потолке грубую лепную розетку вокруг крюка. Я думаю, что это очень странный орнамент; я никогда не замечал его прежде. И кто-то касается моей руки; я повертываю голову и вижу чью-то руку, маленькую, нежную, белую, лежащую на полу. Я не могу достать ее, и мне очень это жаль, потому что это рука Надежды Николаевны, которую я люблю больше всего на свете...

И вдруг яркий луч сознания озаряет меня, и я сразу припоминаю все, что случилось... Он убил ее.

Не может быть! Не может быть! Она жива. Она только ранена. Помогите! Помогите! Я кричу, но звука не слышно. Только какое-то клокотание в груди душит и давит меня, и розовая пена клубится на моих губах. Он убил и меня.

Собрав силы, я приподнялся и увидел ее лицо. Глаза ее были закрыты, и она была неподвижна. Я чувствовал, как волосы шевелятся на моей голове. Я хотел бы лишиться сознания. Я упал к ней на грудь и покрывал поцелуями это лицо, полчаса тому назад полное жизни и сча-

стья, доверчиво прижимавшееся к моей груди. Теперь оно было неподвижно и строго; маленькая ранка над глазом уже не сочилась кровью. Она была мертва.

Когда выломали дверь и Семен Иванович бросился ко мне, я почувствовал, что меня оставляют последние силы. Меня подняли и положили на диван. Я видел, как взяли и вынесли ее, я хотел крикнуть, просить, умолять, чтобы этого не делали, чтобы оставили ее здесь, подле меня. Но я не мог крикнуть; я только беззвучно шептал, пока доктор осматривал мою простреленную навылет грудь.

Вынесли и его. Он лежал с суровым и страшным лицом, залитым кровью, волной хлынувшей из смертельной раны на голове.

Я кончаю. Что еще прибавлять?

Соня приехала сейчас же, вызванная телеграммой Семена Ивановича. Меня лечили долго и упорно и продолжают лечить. Соня и Гельфрейх уверены, что я останусь жив. Они хотят везти меня за границу и надеются на это путешествие как на каменную гору.

Но я чувствую, что мне осталось уже немного дней. Рана моя закрылась, но грудь разрушается другой болезнью: я знаю, что у меня чахотка. И третья, еще более страшная болезнь помогает ей. Я ни на минуту не забываю Надежду Николаевну и Бессонова; страшные подробности последнего дня вечно стоят перед моим душевным взором, и какой-то голос, не переставая, нашептывает мне на ухо о том, что я убил человека.

Меня не судили. «Дело» прекращено: было признано, что я убил, защищаясь.

Но для человеческой совести нет писаных законов, нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь. Мне недолго уже нести ее. Скоро господь простит меня, и мы встретимся все трое там, где наши страсти и страдания покажутся нам ничтожными и потонут в свете вечной любви.

1885

Сказание о гордом Аггее

Пересказ старинной легенды

Жил в некоторой стране правитель; звали его Аггей. Был он славен и силен: дал ему господь полную власть над страною; враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области жил смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и мудрее его. Жил он пышно; множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда не говорил: считал их недостойными. С женою своею жил в ладу, но держал и ее строго, так, что не смела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит ее или не скажет ей что-нибудь муж.

Жил так Аггей один, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит на своем низеньком помосте; думает, что одно это место его достойно: хоть одиноко, да высоко.

Пошел в праздник Аггей в церковь. Пришел он туда с женою своею в пышных одеждах: мантии на них были златотканые, пояса с дорогими каменьями, а над ними несли парчовый балдахин. И впереди их и сзади шли воины с мечами и секирами и довели их до царского места, откуда им слушать службу. Вокруг них стали начальники да чиновники. И слушал Аггей службу и думал по-своему, как ему казалось, верно или неверно говорится в святом писании.

Начал протопоп книгу читать, и дошел он до того места, где написано: «богатые обнищают, а нищие обогатеют». Услышал Аггей такие слова и разгневался.

— Что ты,— говорит,— поп, вздумал читать такую ложь? Не знаешь разве, как славен я и богат? Как мне обнищать и нищему обогатеть против меня?

Протопоп же не слушал его, и дальше стал читать книгу, и службы отслужил до конца, не отвечая Аггею.

И разъярился правитель: протопопа велел заковать в кандалы и посадить в темницу, а лист, на котором те слова были написаны, велел из книги выдрать.

Отвели протопопа в темницу и лист выдрали, а правитель Аггей пошел в свои палаты пировать и на пиру пил, ел и веселился.

Шел за городом один юноша и увидел оленя, такого рослого и красивого, что до сих пор и не видывал. И за-

хотел он угодить правителю: побежал в город, пришел в его палаты и сказал об олене слугам. Донесли о том Аггею, и приказал он собираться на охоту.

Выехала охота в поле; увидели оленя и поскакали к нему. Стоит олень, голову поднял, на охоту оглядывается, будто ждет чего-то. Не видал такого зверя и сам Аггей: рослый и гладкий, морда тонкая, умная; рога, как дерево ветвистое, от конца до конца целая сажень. Шерсть гнедая, блестит, как лощеная; ляжки белые как снег. Скачет к нему Аггей и дивится, что не уходит олень, а на него все смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Аггей, думал уж копье метнуть; повернулся зверь, взмахнул ветвистыми рогами, прянул первым скоком на три сажени и пошел по полю; конь был у Аггея такой, что и цены ему не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уже едва и видно; посмотрел вперед на оленя и видит, что зверь пошел тише. «Ну,— думает,— догоню!» Скачет во всю конскую мочь и видит — все ближе и ближе к нему белые ляжки оленьи мелькают. Только хотел было копье бросить — олень обернул голову, наддал,— опять Аггей далеко от него. Охоты уже давно не видно, и скачут в чистом поле только олень да Аггей на коне.

Гонялся он за ним полдня; видит наконец, что олень к реке бежит. «Ну,— думает,— если направо пойдет — пропал, а налево — мой!» Налево река луку сделала, и некуда зверю было оттуда уйти: сзади охотник, спереди река широкая, ни человеку, ни зверю не переплыть. Повернул олень налево; задрожало у Аггея сердце от радости. Скачет, а сам думает: «Скоро река, некуда тебе уйти». Подскакал олень к берегу, а недалеко от берега островок небольшой, а на острове кусты густые и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на остров. Подскакал Аггей и видит, что зверь в кусты ушел. Погнал и он коня в воду.

Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по шею, а дальше нога и дна не достает. Повернул Аггей назад на берег, думает: «Олень от меня и так не уйдет, а на такой быстрине, пожалуй, и коня утопишь». Слез с коня, привязал его к кусту, снял с себя дорогое платье и пошел в воду. Плыл, плыл, едва не унесло. Наконец попробовал ногой — дно. «Ну,— думает,— сейчас я его достану»,— и пошел в кусты.

Разгневался господь на Аггея. Призвал он к себе ан-

гела и повелел ему, приняв на себя вид Аггея, одеться в его платье, сесть на коня и ехать в город. И исполнил ангел волю господню по слову его.

Искал, искал зверя Аггей по кустам — нет зверя. Весь остров кругом обошел; поперек сквозь кусты излазил — нет ничего. И не придумает Аггей, куда девался олень: впереди — река широкая, никакому зверю не переплыть; да и увидел бы он оленя, если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Аггею; однако делать нечего, надо назад ворочаться. Он вышел к воде, бросил копье, чтоб не мешало, и приплыл к берегу. Смотрит — ни коня, ни платья нет. Рассердился правитель, подумал, что украли, и решил строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на крутой берег — чистое поле, нет никого. Нечего делать, нужно голому идти. Идет, а трава ему ноги режет; непривычны они босиком ходить; солнце печет голое тело и голову. Шел, шел Аггей, поднялся на пригорок; видит, в лощине пастух коров и телят пасет. Остановился Аггей и начал ему рукой махать.

— Эй, ты,— говорит,— поди сюда!

Пастух на него смотрит, удивляется: «Откуда,— думает,— среди чистого поля голый человек взялся?» Пошел к нему потихоньку; в одной руке кнут длинный, в другой — труба берестовая; сам в лаптях и в зипунишке худом; через плечо мешок для хлеба повешен.

Аггей на него закричал:

— Ты чего не идешь, когда зовут?

— А ты кто такой? — спрашивает пастух.— Что тебе надобно?

— Не видел ли, кто мое платье взял и коня увел?

— Да ты кто такой сам-то? — опять спрашивает пастух.

— Как, ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Аггей.

Посмотрел на него пастух и засмеялся.

— Что ты, дурак, городишь! Правитель наш сейчас мимо меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и нашли: вместе поехали.

— Как ты смеешь, раб, негодяй! — закричал Аггей.

— Пошел, пошел,— говорит пастух,— а то кнута отведаешь.

Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и безоружен, и бросился на пастуха. Схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее: повалил он

Аггея на землю и начал бить берестовою трубою. Бил-бил, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце.

— Вот,— говорит,— тебе за такие слова. Ступай!

Поднялся Аггей, весь избитый, побрел потихоньку. А пастух подумал, и жаль ему стало. «Напрасно,— думает,— я человека изобидел: может, он шальной какой или сумасшедший».

Отошел Аггей немного от пастуха, слышит, тот зовет его.

— Эй ты, воротись!

Аггей обернулся, смотрит, а пастух в одной руке что-то держит, а другою рукою к себе его манит.

— Воротись! — кричит.— Куда ты голый пойдешь?.. На тебе хоть мешок.

Стоит Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душе его. Пастух достал нож из-за пояса, прорезал в мешке три дыры: одну для головы, а две для рук, и подошел к Аггею.

— Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел. Нехорошо человеку голому ходить; надень вместо рубахи.

Надел он на него мешок. Пошел Аггей, ни слова не сказавши, в город. Идет, а сам думу думает о своей напасти и не знает, откуда она на него пришла. Обманщик, видно, какой-нибудь, на него похожий, его платье взял и коня увел. И чем дальше идет Аггей, тем больше сердце у него разгорается. «Уж покажу я ему, что я Аггей — настоящий, грозный правитель. Прикажу на площадь отвести и голову отрубить. А пастуха тоже так не оставлю»,— подумал Аггей, да вдруг вспомнил про мешок и застыдился.

Шел он до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему в поле ночевать; зарылся в копну и проспал всю ночь. Поднялся с зарею и опять пошел; недалеко от города вышел на большую дорогу. По дороге много народу в город на базар идет и едет. Догоняет его обоз; стали его извозчики спрашивать, что он за человек и отчего это он в мешок одет.

Вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать правду.

— Я,— говорит,— не здешний житель; ехал я через ваш город по делам, да дорогой напали на меня разбойники, всего избили и ограбили, и коня, и платье, и деньги отняли. Надели на меня мешок, да и пустили.

Пожалели его добрые люди: собрали кто рубаху, кто штаны; один дал ему опорки старые, другой — кафтан, а третий — шапку. Поблагодарил их Аггей, спросил, как зовут и где их найти, и пошел в город уже повеселее.

«Скоро,— думает,— моему мучению конец. Злодея накажу, а тех, кто мне помог, награжу».

Пошел он прямо на соборную площадь: там его палаты стояли. Думал он в свои ворота войти, не узнала его стража и не пустила. Побоялся он, как бы опять бить не стали, отошел и стал думать, что ему делать. Идти прямо в дом к себе нельзя: пока дойдешь до обманщика, и изобьют, и в тюрьму посадят, и убьют, пожалуй. «Надо потерпеть»,— думает. Пошел на базар, где поденщики нанимались, и стал в толпу. Наняли его за малые деньги кирпичи на постройку носить. Трудна была ему работа: все плечи в кровь с непривычки истер, а сам весь будто разбитый. Получил он под вечер деньги и разделил их на три части: на одну хлеба купил, поел, другую про запас на ночлег оставил, а на третью купил бумаги, чтобы написать жене своей письмо. Была у них одна великая тайна: знал про нее лишь он да жена его, и чтоб поверила она письму, написал он про эту тайну и, подойдя к своему дому, увидел одну женщину из прислужниц жены и отдал ей письмо для передачи. Не узнала его в дурном платье и женина служанка. Стал Аггей недалеко от ворот, ответа поджидает.

А жена его, видя, что муж ее при ней, не могла поверить тому письму. Подумала, не проговорился ли муж кому про ту тайну и не злодей ли какой хочет смутить ее. Боялась она своего грозного мужа и знала, что если узнает он, что ей такие письма приносят, то накажет ее, не разобрав дела. И, чтобы отогнать человека, что письмо написал, и напугать его, чтобы никогда больше не смел смущать ее, приказала слугам схватить его, привести во двор и высечь жестоко. Исполнили это слуги, отпустили Аггея чуть живого. Приплелся он на постоялый двор и всю ночь промучился: к утру лишь заснул. И телу его было больно, а на душе и того хуже: гнев бессильный и ярость связанная терзали его, а хуже мучения нет.

На другой день пришел праздник, и стали хозяева с постоялого двора в церковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а муж во дворе чем-то замешкался. Стала жена мужа звать:

— Иди,— кричит,— а то правитель в церковь пройдет, и не увидим его.

Услышал это Аггей и спрашивает:

— А кто у вас правитель?

— А ты не здешний, видно, что не знаешь? Правитель у нас Аггей. Правит он городом и всею областью уже двенадцать лет. Грозный у нас правитель: вчера увидела я его на улице, со страху чуть не упала.

Пошли хозяева в церковь, а Аггей не знает, что ему и думать. Махнул он рукой. «Будь что будет,— думает,— хуже того, что теперь, себе не сделаю: хоть и казнят меня, а пойду и обличу злодея». И пошел за хозяевами к собору и стал с народом на паперти, где проходить правителю.

И видит Аггей: идут его воины-телохранители с секирами и мечами, и начальники, и чиновники в праздничных одеждах. И идут под балдахином парчовым правитель с правительницей: одежды на них золототканые, пояса дорогими каменьями украшенные. И взглянул Аггей в лицо правителю и ужаснулся: открыл ему господь глаза, и узнал он ангела божия. И бежал Аггей в ужасе из города.

Бежал он долго, сам не зная, где и куда. И очутился он в дремучем лесу, и упал от усталости под деревом, и долго лежал без сил и без памяти, как будто бы оставила его на время душа его.

Проснулся он ночью, и дико ему стало. Забыл, что случилось в последние три дня, и не знает, отчего звезды из-за веток смотрят на него, отчего над ним деревья от ветра шумят, отчего ему холодно и лежит он не на своей пуховой постели, а на сырой траве. Стал вспоминать и все припомнил.

И горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою и понял, что не за выдранный лист наказал его господь, а за всю жизнь. «Прогневал я господа,— думает,— и будет ли мне теперь пощада и спасение?»

Долго лежал он и плакал, каясь в грехе своем и прося у бога помощи и силы. И послал ему господь силу.

Рассвело; Аггей встал, и вышел из леса, и пошел на светлый божий мир, к людям.

Год прошел, другой проходит, а жена Аггеева все думает, что муж ее вместе с нею в палатах живет. Только удивляется она, отчего муж ее стал смирен и добр: не казнит никого и не наказывает; на охоту не ездит, а только в церковь ходит да разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся. Видится она с ним редко; посмотрит он на нее кротко, не по-прежнему, скажет ласковое слово и уйдет в свою горницу, и там затворится и сидит один.

Приступила она к нему наконец:

— Господин мой, скажи мне, чем я прогневала тебя, что ты удалил от себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины; за что же ты другой год меня чуждаешься?

Посмотрел на нее ангел, улыбнулся тихо и сказал:

— Ничем ты меня не прогневала, любезная жена, но я дал богу обет три года не знать тебя. Вот третий год уже наступает, и скоро будешь ты жить по-прежнему с мужем своим.

Сказал и ушел в свой покой и затворился. Заплакала жена и тоже пошла к себе.

Так прожили они три года. За неделю прежде, чем пойти четвертому, отдал правитель приказ собрать со всей области нищих и убогих. Будет на правителевом дворе всем им прием и угощение, и наделит их правитель дарами. Поскакали гонцы во все города, послали из городов приказ по селам и деревням, и со всех концов потянулись нищие. И не знал никто до той поры, что так много нищих в области; все дороги покрыли они: хромые, безногие, безрукие, и слепые, и слабые, и юродивые, и убогие разумом, старые и малые. Идут нищие зрячие больше поодиночке, а слепые — артелями. Собрались в город, и пришло их столько, что не только во дворе у правителя не поместились, а и всю соборную площадь заняли.

Пошел правитель в церковь, набились и нищие в церковь, те, которые попали, а другие толпою стали перед церковью на площади. Слуги же в то время на площади столы расставили, и покрыли их, и поставили на них пироги, и похлебки, и мясо, мед и вино. И сколько ни было нищих, всем места хватило.

Вышел правитель из церкви, остановился на паперти, дал знак рукой, и вся толпа стихла.

— Рад видеть вас всех, добрые люди: милости прошу хлеба-соли откушать. Садитесь по местам и кушайте, а пообедаете — еще к вам выйду.

Сказал и пошел в свои палаты. Стали за столы усаживаться; одна артель слепых целый стол заняла. Пришли эти слепые издалека; шли они тихо и долго; было их двенадцать человек, а поводырь у них был один. Шел он впереди, двое за него держались, а за тех остальные по паре. Рассадил он их по местам, а сам стал служить: рознил им по мискам похлебку, пироги роздал, мясо нарезал, ложки в руки дал. Едят слепые, а он от одного к другому ходит и служит им.

Вот в конце обеда вышел правитель из своих палат и начал обходить столы. Кого спросит о чем, кому ласковое слово скажет, а за ним идут слуги с деньгами и платьем и всех оделяют. Обошел всех и подходит к последнему столу, где слепая артель сидела. Увидел правителя поводырь — и задрожал и побледнел весь.

Подходит к нему правитель и спрашивает:

— Ты тоже нищий?

— Нет, великий правитель, не нищий я. Слуга я нищим.

— Добро сказал ты, человек. Как зовут тебя?

Потупил поводырь глаза в землю.

— Люди Алексеем зовут.

Посмотрел ему в глаза ангел, улыбнулся и говорит:

— Не всякая ложь в ложь поставится. Иди за мной.

Оставил поводырь своих слепых и пошел за правителем в палаты. Идут они через толпу, и дивятся на них все люди: идут точно братья родные. Оба высокие и статные, оба черноволосые, и оба на одно лицо: только у поводыря в густых кудрях седины много серебрится да лицо почернело от ветра и солнца, а у правителя лицо белое и светлое.

Расступился народ, пропустил их; ушли они в палаты. Провел поводыря ангел в дальний покой и затворился с ним.

— Узнал я тебя, Аггей,— говорит правитель,— знаешь ли ты меня?

— Знаю, господин, что послан ты был наказать меня. Каюсь я в грехе моем и во всей жизни моей...

И заплакал Аггей, и плакал навзрыд. Стоит ангел перед ним: лицом просветлел и улыбается; поднял Аггей голову и перестал плакать: не видел он никогда улыбки такой.

— Кончилось наказание твое,— сказал ангел.— Возьми мантию правителеву, возьми меч, и жезл, и шапку

правителеву. Помни, за что ты наказан был, и правь народом кротко и мудро, и будь отныне братом народу своему.

— Нет, господин мой, ослушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантии. Не оставлю я слепых своих братий: я им и свет и пища, и друг и брат. Три года я жил с ними, и работал для них, и прилепился душою к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям: долго стоял я один среди народа, как на каменном столпе, высоко мне было, но одиноко, ожесточилось сердце мое и исчезла любовь к людям. Отпусти меня!

— Добро сказал ты, Аггей,— отвечал ангел.— Иди с миром!

И пошел поводырь Алексей со своими двенадцатью слепыми, и работал всю жизнь на них и на других бедных, слабых и угнетенных, и прожил так многие годы до смерти своей.

А ангел через три дня оставил тело правителя. Похоронили тело, и жалел народ своего правителя, который сначала гордым был, а после кротким стал.

Ангел же явился перед лицо господа.

1886

Сигнал

Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой — десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было.

Семен Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он, и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и по пятидесяти верст в жару и в мороз; случалось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии; целую неделю с турками перестрелка была: лежит наша цепь, а через лощинку — турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семенов офицер тоже в цепи был; каждый день три раза носил ему Семен из полковых кухонь, из оврага, самовар горячий и

обед. Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают; страшно Семену, плачет, а сам идет. Господа офицеры очень довольны им были: всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришел он домой — отец-старик помер; сынишка был по четвертому году — тоже помер, горлом болел; остался Семен с женой сам-друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне невтерпеж; пошли на новые места счастья искать. Побывал Семен с женой и на Линии, и в Херсоне, и в Донщине; нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен попрежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать; на одной станции видит — начальник будто знакомый. Глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается. Узнали друг друга: офицер своего полка оказался.

— Ты Иванов? — говорит.

— Так точно, ваше благородие, я самый и есть.

— Ты как сюда попал?

Рассказал ему Семен: так, мол, и так.

— Куда ж теперь идешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как так, дурак, не можешь знать?

— Так точно, ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой, ваше благородие, искать надобно.

Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит:

— Вот что, брат, оставайся-ка ты покудова на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя жена?

— Так точно, ваше благородие, женат; жена в городе Курске, у купца в услужении находится.

— Ну, так пиши жене, чтобы ехала. Билет даровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка очистится; уж попрошу за тебя начальника дистанции.

— Много благодарен, ваше благородие,— ответил Семен.

Остался он на станции. Помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мел. Через две недели приехала жена, и поехал Семен на ручной тележке в свою будку. Будка новая, теплая, дров сколько хочешь; огород маленький от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался

Семен; стал думать, как свое хозяйство заведет, корову, лошадь купит.

Дали ему весь нужный припас: флаг зеленый, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ — гайки подвинчивать, лом, лопату, метел, болтов, костылей; дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание твердил; поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила; хоть и плохо читал, по складам, а все-таки вытвердил.

Дело было летом; работа нетяжелая, снегу отгребать не надо, да и поезда на той дороге редки. Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебенку подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была: что ни задумает сделать, обо всем дорожного мастера проси, а тот начальнику дистанции доложит; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семен с женою даже скучать.

Прошло времени месяца два; стал Семен с соседями-сторожами знакомиться. Один был старик древний; все сменить его собирались: едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, посередине между будками, на обходе; Семен шапку снял, поклонился.

— Доброго,— говорит,— здоровья, сосед.

Сосед поглядел на него сбоку.

— Здравствуй,— говорит.

Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собою встретились. Поздоровалась Семенова Арина с соседкой; та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен.

— Что это,— говорит,— у тебя, молодица, муж неразговорчивый?

Помолчала баба, потом говорит:

— Да о чем ему с тобой разговаривать? У всякого свое... Иди себе с богом.

Однако прошло еще времени с месяц, познакомились. Сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-

бытье. Василий все больше помалчивал, а Семен и про деревню свою и про поход рассказывал.

— Немало,— говорит,— я горя на своем веку принял, а веку моего не бог весть сколько. Не дал бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу господь даст, так уж и есть. Так-то, братец, Василий Степаныч.

А Василий Степаныч трубку об рельс выколотил, встал и говорит:

— Не талан-судьба нам с тобою век заедает, а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьем съедает.

— Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори.

— К слову пришлось, и сказал. Все-таки нету твари жесточе. Не людская бы злость да жадность — жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус откусить, да слопать.

Задумался Семен.

— Не знаю,— говорит,— брат. Может, оно так, а коли и так, так уж есть на то от бога положение.

— А коли так,— говорит Василий,— так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом. Вот тебе мой сказ.

Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен.

— Сосед,— кричит,— за что же ругаешься?

Не обернулся сосед, пошел. Долго смотрел на него Семен, пока на выемке на повороте стало Василия не видно. Вернулся домой и говорит жене:

— Ну, Арина, и сосед же у нас: зелье, не человек.

Однако не поссорились они; встретились опять и по-прежнему разговаривать стали, и все о том же.

— Э, брат, кабы не люди... не сидели бы мы с тобою в будках этих,— говорит Василий.

— Что ж в будке... ничего, жить можно.

— Жить можно, жить можно... Эх, ты! Много жил, мало нажил, много смотрел, мало увидел. Бедному человеку, в будке там или где, какое уж житье! Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь — выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм. Ты сколько жалованья получаешь?

— Да маловато, Василий Степанович. Двенадцать рублей.

— А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить почему? По правилу от правления всем одно полагается:

пятнадцать целковых в месяц, отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чьему брюху на сало, в чей карман остальные три рубля или же полтора полагаются? Позволь тебя спросить?.. А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не об полуторах там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце; директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне; вышел на платформу, стоит, цепь золотую распустил по животу, щеки красные, будто налитые... Напился нашей крови. Эх, кабы сила да власть!.. Да не останусь я здесь долго; уйду куда глаза глядят.

— Куда же ты уйдешь, Степаныч? От добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница...

— Землицы! Посмотрел бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нету. Посадил было весной капустки, так и то дорожный мастер приехал. «Это, говорит, что такое? Почему без доношения? Почему без разрешения? Выкопать, чтоб и духу ее не было». Пьяный был. В другой раз ничего бы не сказал, а тут втемяшилось... «Три рубля штрафу!..»

Помолчал Василий, потянул трубочки и говорит тихо:

— Немного еще, зашиб бы я его до смерти.

— Ну, сосед, и горяч ты, я тебе скажу.

— Не горяч я, а по правде говорю и размышляю. Да еще дождется он у меня, красная рожа! Самому начальнику дистанции жаловаться буду. Посмотрим!

И точно пожаловался.

Проезжал раз начальник дистанции путь осматривать. Через три дня после того господа важные из Петербурга должны были по дороге проехать: ревизию делали, так перед их проездом все надо было в порядок привести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали желтого песочку подсыпать. Соседка-сторожиха и старика своего выгнала травку подщипать. Работал Семен целую неделю; все в исправность привел и на себе кафтан починил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттер. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции на дрезине; четверо рабочих рукоять вертят; шестерни жужжат; мчится тележка верст по двадцать в час, только колеса воют. Подлетел

к Семеновой будке; подскочил Семен, отрапортовал по-солдатски. Все в исправности оказалось.

— Ты давно здесь? — спрашивает начальник.

— Со второго мая, ваше благородие.

— Ладно. Спасибо. А в сто шестьдесят четвертом номере кто?

Дорожный мастер (вместе с ним на дрезине ехал) ответил:

— Василий Спиридов.

— Спиридов, Спиридов... А, это тот самый, что в прошлом году был у вас на замечании?

— Он самый и есть-с.

— Ну, ладно, посмотрим Василия Спиридова. Трогай.

Налегли рабочие на рукояти; пошла дрезина в ход. Смотрит Семен на нее и думает: «Ну, будет у них с соседом игра».

Часа через два пошел он в обход. Видит: из выемки по полотну идет кто-то, на голове будто белое что виднеется. Стал Семен присматриваться — Василий; в руке палка, за плечами узелок маленький, щека платком завязана.

— Сосед, куда собрался? — кричит Семен.

Подошел Василий совсем близко: лица на нем нету, белый как мел, глаза дикие; говорить начал — голос обрывается.

— В город,— говорит,— в Москву... в правление.

— В правление... Вот что! Жаловаться, стало быть, идешь? Брось, Василий Степаныч, забудь...

— Нет, брат, не забуду. Поздно забывать. Видишь, он меня в лицо ударил, в кровь разбил. Пока жив, не забуду, не оставлю так. Учить их надо, кровопийцев...

Взял его за руку Семен:

— Оставь, Степаныч, верно тебе говорю: лучше не сделаешь.

— Чего там лучше! Знаю сам, что лучше не сделаю; правду ты про талан-судьбу говорил. Себе лучше не сделаю, но за правду надо, брат, стоять.

— Да ты скажи, с чего все пошло-то?

— Да с чего... Осмотрел все, с дрезины сошел, в будку заглянул. Я уж знал, что строго будет спрашивать; все как следует исправил. Ехать уж хотел, а я с жалобой. Он сейчас кричать. «Тут, говорит, правительственная ревизия, такой-сякой, а ты об огороде жалобы подавать!

Тут, говорит, тайные советники, а ты с капустой лезешь!» Я не стерпел, слово сказал, не то чтобы очень, но так уж ему обидно показалось. Как даст он мне... Терпенье наше проклятое! Тут бы его надо... а я стою себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я, вот обмыл себе лицо и пошел.

— Как же будка-то?

— Жена осталась. Не прозевает; да ну их совсем и с дорогой ихней!

Встал Василий, собрался.

— Прощай, Иваныч. Не знаю, найду ли управу себе.

— Неужто пешком пойдешь?

— На станции на товарный попрошусь; завтра в Москве буду.

Простились соседи; ушел Василий, и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала; извелась совсем, поджидаючи мужа. На третий день проехала ревизия: паровоз, вагон багажный и два первого класса, а Василия все нет. На четвертый день увидел Семен его хозяйку: лицо от слез пухлое, глаза красные.

— Вернулся муж? — спрашивает.

Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону.

Научился Семен когда-то, еще мальчишкой, из тальника дудки делать. Выжжет таловой палке сердце, дырки где надо высверлит, на конце пищик сделает и так славно наладит, что хоть что угодно играй. Делывал он в досужее время дудок много и с знакомым товарным кондуктором в город на базар отправлял; давали ему там за штуку по две копейки. На третий день после ревизии оставил он дома жену вечерний шестичасовой поезд встретить, а сам взял ножик и в лес пошел палок себе нарезать. Дошел он до конца своего участка — на этом месте путь круто поворачивал,— спустился с насыпи и пошел лесом под гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнейшие кусты для его дудок росли. Нарезал он палок целый пук и пошел домой. Идет лесом; солнце уже низко было; тишина мертвая, слышно только, как птицы чиликают да валежник под ногами хрустит. Прошел Семен немного еще, скоро полотно; и чудится ему, что-то еще слышно: будто где-то железо о железо позвякивает. Пошел Семен скорей. Ремонту в то время на их участке не было.

«Что бы это значило?» — думает. Выходит он на опушку — перед ним железнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотне, человек сидит на корточках, что-то делает; стал подыматься Семен потихоньку к нему: думал, гайки кто воровать пришел. Смотрит — и человек поднялся, в руках у него лом; поддел он рельс ломом, как двинет его в сторону. Потемнело у Семена в глазах; крикнуть хочет — не может. Видит он Василия, бежит бегом, а тот с ломом и ключом с другой стороны насыпи кубарем катится.

— Василий Степаныч! Отец родной, голубчик, воротись! Дай лом! Поставим рельс, никто не узнает. Воротись, спаси свою душу от греха.

Не обернулся Василий, в лес ушел.

Стоит Семен над отвороченным рельсом, палки свои выронил. Поезд идет не товарный, пассажирский. И не остановишь его ничем: флага нет. Рельса на место не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бежать надо, непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги!

Бежит Семен к своей будке, задыхается. Бежит — вот-вот упадет. Выбежал из лесу — до будки сто сажен, не больше, осталось, слышит — на фабрике гудок загудел. Шесть часов. А в две минуты седьмого поезд пройдет. Господи! Спаси невинные души! Так и видит перед собою Семен: хватит паровоз левым колесом об рельсовый обруб, дрогнет, накренится, пойдет шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валиться-то вниз одиннадцать сажен, а там, в третьем классе, народу битком набито, дети малые... Сидят они теперь все, ни о чем не думают. Господи, вразуми ты меня!.. Нет, до будки добежать и назад вовремя вернуться не поспеешь...

Не добежал Семен до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти; сам не знает, что еще будет. Добежал до отвороченного рельса: палки его кучей лежат. Нагнулся он, схватил одну, сам не понимая зачем, дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идет. Слышит свисток далекий, слышит, рельсы мерно и потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше сил нету; остановился он от страшного места саженях во ста: тут ему точно светом голову осветило. Снял он шапку, вынул из нее платок бумажный; вынул нож из-за голенища; перекрестился, господи благослови!

Ударил себя ножом в левую руку повыше локтя; брыз-

нула кровь, полила горячей струей; намочил он в ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг.

Стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден. Не видит его машинист, подойдет близко, а на ста саженях не остановить тяжелого поезда!

А кровь все льет и льет; прижимает рану к боку, хочет зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко поранил он руку. Закружилось у него в голове, в глазах черные мухи залетали; потом и совсем потемнело; в ушах звон колокольный. Не видит он поезда и не слышит шума; одна мысль в голове: «Не устою, упаду, уроню флаг; пройдет поезд через меня... помоги, господи, пошли смену...»

И стало черно в глазах его и пусто в душе его, и выронил он флаг. Но не упало кровавое знамя на землю: чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар. Поезд остановился.

Выскочили из вагонов люди, сбились толпою. Видят: лежит человек весь в крови, без памяти; другой возле него стоит с кровавой тряпкой на палке.

Обвел Василий всех глазами, опустил голову.

— Вяжите меня,— говорит,— я рельс отворотил.

1887

Лягушка-путешественница

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком.

«Ах какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она.— Какое это наслаждение — жить на свете!»

Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень, и что осенью лягушки не квакают,— на это

есть весна,— и что, заквакав, она может уронить свое лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью — раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них.— Лететь еще далеко; надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки на всякий случай она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка.— Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка.— Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?

— О! целые тучи! — отвечала утка.

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.

— Возьмите меня с собой!

— Это мне удивительно! — воскликнула утка. — Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали все утки. — Кря, кря! кря! кря! Тут холодно! На юг! На юг!

— Позвольте мне подумать только пять минут, — сказала лягушка, — я сейчас вернусь, я наверно придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлепнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором она сидела, показалась ее морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хоть бы и легкую лягушку три тысячи верст не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да полстолька, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли; кроме того, утки летели неровно и дергали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала», — думала она про себя.

А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее.

— Удивительно умная голова наша лягушка,— говорили они,— даже между утками мало таких найдется.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день; несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик; это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарею утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что об ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса.

— Смотрите, смотрите! — кричали дети в одной деревне.— Утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали в другой деревне взрослые.— Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали в третьей деревне.— Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уже не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала

на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живете,— сказала она.— Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.

1887

Очерки

Аясларское дело

I

Мы две недели стояли в Ковачице. Вяло, однообразно течет лагерная жизнь, когда нет никакого дела, да еще в такой глуши. Впрочем, глушью Ковачицу назвать было бы несправедливо: в ней находился наш корпусный штаб, почтовое отделение — словом, средства узнать что-нибудь, что делается в окружающем мире, а главное, на обоих театрах войны и в далекой дорогой родине. Мы, по правде сказать, все-таки не были избалованы свежестью и обилием новостей, да к тому же они часто являлись к нам обезображенные и преувеличенные. Темные слухи о первых плевненских неудачах были до того преувеличены, что только газеты двух- и трехнедельного возраста рассеяли мрачность, царившую среди офицеров. Кажется, по прямой дороге из Плевны к нам было бы ближе, чем через Петербург и Москву, однако «коли в объезд — верста, а напрямик — пять»,— говорится в сказке.

Наша бригада скучала. Правда, один раз часть Нежинского полка ходила на рекогносцировку, или, вернее, для наказания вооруженных и восставших жителей, в Лом. Пошли, наказали и вернулись. Одного потеряли убитым, а один солдат спасся каким-то чудом.

— Стали мы ворочаться, а башибузуки издали попаливают. Приотстал я маленько: выстрелить обернулся; только стал подгонять — как хватит она меня в спину! Да неловко пришлось — в шинель угодила. Семь сукон пробила, в восьмой запуталась.

«Она» — конечно, пуля. У солдатика действительно в

развернутой шинели оказалось семь причудливо расположенных дыр.

— И только, братцы мои, поспел я крест на себя положить, глянь — торбочку дернуло, а в ней две дыры у самой ноги, и крошки сухарные сыплются!

— Отведала, да и ушла. Нескусны наши российские сухарики! — острит кто-то.

Между тем как мы стояли в Ковачице и, по выражению некоторых, «кисли», впереди, на боевой линии, у Попкиоя, часто происходили стычки.

9 августа наш полковой доктор назначил «телесный смотр». Собираться к третьему батальону (который стоял отдельно). Наша рота собралась раньше всех; нас выстроили и повели на место сбора. Это была небольшая площадка, свободная от палаток и орудий. Здесь мы остановились; доктора не было, и приходилось ждать. От нечего делать я стал смотреть на палатки. Странную картину представляет лагерь в военное время. Маленькие солдатские палатки ярко белеют, облитые солнцем; ружейные козлы и разноцветные фигуры солдат пестрят этот белый фон. Преобладают лиловые цвета пестрядинных рубах; затем краснеют кумачовые, желтеют, алеют, зеленеют ситцевые. Черные мундиры надеваются разве только на какую-нибудь службу: все предпочитают самое неумеренное дезабилье. Тут голые ноги, там голая спина и грудь. Сапог не надевают потому, что жарко, да и беречь их надо, тысяча верст похода дала им себя знать.

Мы ждали довольно долго; кто-то пошел доложить доктору, что люди собираются. Но нам, видно, не суждено было испытать «телесного смотра». В палатку командира третьего батальона вбежал полковой адъютант, и тотчас же очень низенький и полный майор Ф — ский вылетел из палатки почти без всякого одеяния, снятого им с себя по случаю жары.

— Третий батальон, снимай палатки! Ранцев не брать! — звонко закричал он.

И затем скрылся в своем помещении, которое тотчас же было снято и обнаружило майора, сидящего на складном табурете и надевающего при помощи денщика различные необходимые части туалета. Между тем третий батальон сразу изменил свой вид. Из всех палаток, как муравьи, вылезли люди; быстро надевались мундиры, палатки исчезали, свертывались, шинели скатывались. И через пять минут после появления майора Ф — ского из палатки

вместо пестроты спокойного бивуака явились темные стройные ряды! Кое-где солнце играло на штыках, на стволах ружей. Офицеры бежали к батальону, застегивая на ходу портупеи. Сам майор вышел перед батальоном, уселся при посторонней помощи на коня и скомандовал: «Из середины, рядами!» Раздались команды ротных командиров. Человеческая масса всколыхнулась, и из темного четырехугольника начала змеею вытягиваться походная колонна. Куда она пойдет? Майор, выехав на дорогу, повернул налево и повел колонну к Попкиою.

Не успел батальон вытянуться по дороге, как прибежал наш дневальный.

— Кузьма Захарыч, ведите роту, выступаем! — кричал он.

— Без ранцев? — спросило вдруг несколько голосов.

Вопрос был первостатейной важности. Из всех невзгод солдатской походной жизни едва ли не третью часть причиняет «телятина», или «теленок», как прозвали солдаты свой неудобный походный мешок. Иные зовут его еще «комодом». Этот «комод» причиняет боль в плечах, давит грудь, утомляет ноги, уменьшая устойчивость тела; под ним даже в свежую погоду спина взмокает после пяти минут ходьбы. Поэтому неудивительно, что оставление ранцев было встречено общим сочувствием [1].

Бегом пустилась рота к своему бивуаку. Здесь уже все собрались; ранцы были свалены в кучу, палатки сняты. Мы торопились одеваться. Как ни любит русский человек погалдеть при всяком удобном случае и когда он находится в скопе, но все было тихо. Меня всегда удивляла эта тишина во время сборов по тревоге.

Через четверть часа мы выступили. От Ковачицы до Попкиоя всего верст 9—10. Но хотя мы шли и налегке, без ранцев, а только с шинелями, перекинутыми через плечо, с закатанными в них палатками, эти 10 верст нас совершенно измучили. Жара была смертная, больше 35° в тени, и ни малейшего ветерка. Как будто бы все умерло: кукуруза не шелестела своими еще темно-зелеными листьями; ветви и листья попадавшихся нам грушевых дерев были неподвижны. Ни одной птицы не увидали мы во

---

[1] Один из корреспондентов «Голоса» ставит в особую заслугу солдатам генерала Циммермана то, что они перешли через Дунай и разбили турок «даже без ранцев». Вероятно, корреспондент воображает, что ранец есть нечто вроде воздушного шара, поддерживающего солдата в воздухе. (*Примеч. В. М. Гаршина.*)

все время перехода. Солдаты изнемогали уже после четырех верст пути. Когда на полудороге нам дали отдых у колодца, люди, едва успев составить ружья, буквально попадали на землю.

— Отвыкли ходить, Гаврило Васильевич? — обратился я к своему соседу.

Он лежал с полузакрытыми глазами и тяжело дышал.

— Да! Вот не походи ты недельки две, ведь как избалуешься! — глухо отвечал он.— Пойдемте водицы испить.

Мы встали и пошли доталкиваться к колодцу, или, вернее, фонтану. Из железной трубки, вставленной в стенку в рост человека, сложенную из дикого камня, чистая, прозрачная струя текла в каменное корыто. Солдаты теснились, доставая воду, и обливали друг друга, перенося полные воды манерки через головы соседей. Мы напились и набрали воды в свои бутылки.

— Ну, полегчало; можно и опять в поход,— сказал Гаврило Васильич, утирая рукавом свои белокурые усы и бороду.

Он был замечательный красавец, голубоглазый, стройный, ловкий. Он лежит теперь на Аясларской горе, и от его голубых глаз и прекрасного лица уже ничего не осталось.

Дав отдохнуть полчаса, майор Ф. повел нас далее. Чем ближе мы подходили к Попкиою, тем становилось труднее и труднее. Солнце пекло с какою-то яростью, будто торопилось допечь нас, пока мы еще не пришли на место и не спрятались от жары в палатки. Некоторые не выдержали этой ярости: едва бредя с опущенною головою, я чуть не споткнулся об упавшего офицера. Он лежал красный как кумач и судорожно, тяжело дышал. Его положили в лазаретную фуру.

Полутораверстный подъем из долины, по которой мы шли, на правый склон ее показался нам хуже всей дороги. Запахи, дающие себя знать при приближении ко всякому лагерю, еще прибавляли духоты. Как дошел я — решительно не помню, но все-таки дошел; другие были менее счастливы. Едва таща ноги, мы перестроились в порядок, в котором должны были расположиться на отдых, и, едва стоя на ногах, дождались наконец благословенного возгласа майора Ф.:

— Составь!

То есть составь ружья и делай что тебе угодно.

II

Люди так измучились, что даже невыносимая жажда не могла заставить их идти за водою. Только через полчаса собрались команды с манерками и отправились в деревню. На том склоне долины, на вершине которого мы расположились, находилась мусульманская часть Попкиоя — пустая, словно после чумы. На противоположной стороне теснились болгарские «кишты», точно такие же, как и турецкие, с такими же низенькими черепичными крышами. Там слышался лай собак, виднелись люди, овцы, буйволы, или, как их прозвали наши солдаты, «буйлы». Направо шла долина, по которой мы только что шли, с ручейком посредине и с бесконечными кукурузными, ячменными и пшеничными полями по склонам. Налево перпендикулярно к нашей долине шла долина Лома, уходившая в обе стороны в туманную синеватую даль, из которой все слабее и слабее вырисовывались горы правого берега реки.

Против нас эти возвышенности были очень высоки. На них, в одном месте, изредка появлялся дым белым клубом и медленно-медленно несся, тая и расплываясь в воздухе; через полминуты раздавался глухой удар вроде далекого раската грома. Это была рекогносцировка Моршанского полка.

Мы сыскали фонтан, набрали воды и вразброд вернулись на бивуак. Солдаты, немного отдохнув, уже оживились, чему, конечно, способствовали эти далекие выстрелы.

— Ишь как садит!

— Что, братцы, наши это или турки? — задал кто-то вопрос.

Кто-то другой ответил, что моршанцы не взяли с собою пушек. И действительно, судя по положению и направлению дыма, это не могли быть выстрелы наших орудий.

Правее деревни, гораздо ближе, чем орудийные выстрелы, не на возвышенности, а под нею, в долине Лома, застучала ружейная стрельба, сначала редко, как будто бы рубили лес в несколько топоров, потом все чаще и чаще. Иногда звуки сливались в сплошную трескотню.

Я подошел к офицерам нашей роты. И. Н. А., наш ротный командир, говорил другому офицеру С., что, как ему только сейчас рассказывали, такие перепалки бывают здесь чуть не каждый день.

— Ну, кажется, дождались дела,— сказал С.

— Да дело-то это такое... разве это дело? Засели жители с черкесами в лесу, только беспокоят, а между тем шальные пули ведь и здесь летают. Не хотел бы я быть убитым таким образом.

— Отчего, И. Н.? — спросил я.

— Да так, что это за сражение!

И. Н.— хороший знаток военного ремесла и большой поклонник стратегии и тактики. Он не раз выражал мысль, что если быть убитым, то уж как следует, в правильном бою, а еще лучше — в генеральном сражении. Теперешняя перестрелка ему, видимо, не нравилась; он беспокойно пощипывал несколько одиноких волосков на своем подбородке и вдруг, добродушно и серьезно улыбнувшись, сказал:

— Пойдемте лучше, господа, чай пить: самовар готов.

Мы забрались в палатку и уселись чайничать. Стрельба мало-помалу замолкла, и остаток дня и ночь мы провели в совершенном спокойствии.

Впрочем, всю ночь мне снились белые клубы дыма и ружейная трескотня.

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Жара была такая же, как и вчера. Батальон Невского полка, прошедший мимо нас по направлению вчерашних орудийных выстрелов, шел, однако, довольно бодро; люди чувствовали близость боя.

Они, однако, скоро вернулись и, обогнув деревню, вероятно, пошли туда, где вчера была ружейная перестрелка. Сегодня она была слышна хуже — выстрелы удалились от нас. Загремели и пушки, сначала с нашей стороны, но скоро на высотах с того берега показались белые клубы дыма. Турки привезли артиллерию.

Я предложил С. пройти в деревню и, взойдя на какую-нибудь крышу, следить за боем; оттуда было лучше видно. Хотя минарет мечети был цел и, конечно, был выше всех крыш, но мечеть стояла низко, почти в долине; поэтому мы взобрались на первую попавшуюся галерейку черкесского дома, обращенную к месту битвы. Но хотя оно и расстилалось перед нами, ни войск, ни даже дыма ружейного огня не было видно: смотреть было решительно нечего. Мы слезли с галереи в маленький садик с абрикосовыми деревьями и белыми акациями: в нем все было в порядке, как будто бы еще вчера хозяева полили гряды с цветами. Тыквы вились своими цепкими стебельками по

плетню, несколько стеблей кукурузы и высоких «крысьих хвостов» с красными колосьями разнообразили пестрый цветник. Мы вошли в дом. Стены были гладко и чисто вымазаны серою глиною. Все было цело; только очаг, сложенный из кусков черепицы, был проломлен. На полу валялось несколько листов из какой-то писаной мусульманской книги с заглавными украшениями, сделанными золотом и красками.

Больше рассматривать было нечего, и мы, выбравшись из лабиринта плетней, вышли на улицу. Денщик С—ва красный как рак бежал к нам:

— Ваше благородие, пожалуйте! Уж в ружье стали!

Мы добежали до батальона, и через две минуты я уже шагал в рядах с ружьем на плече.

Мы шли к месту вчерашней ружейной перестрелки. Солдаты крестились. Длинный ряд лазаретных фур остановился на дороге, чтобы дать нам пройти, и потянулся вслед за нами.

III

Мы обогнули деревню, спустились в минуту по мостику, перекинутому через ручей. Дорога шла слегка в гору по молоденькому лесу; деревья кизила, все красные от множества плодов, мешались с терном. Дорога была узкая, не более четырех человек могло идти по ней рядом; вправо от нее, в кустах, были выкопаны ложементы, приготовленные на случай нападения турок на Попкиой.

Мы приостановились и дали пройти какому-то полку. Это был Невский полк, целый день бывший в огне и возвращавшийся в лагерь, так как он расстрелял все патроны. Сколько помнится, убитых и раненых в этот день у невцев было мало. Они шли измученные, усталые, но весело и оживленно.

— Вы чего ж это, землячки, на попятный? — спрашивали мы невских солдатиков.

Некоторые молча открывали пустые сумки, другие отвечали, что патронов-де нет, что их сменили софийцы, которые пошли вперед, и турки подались.

— Эх вы!

— Чего «эх вы»! Вот ты поди-ка сам, два дня не евши! Да и патронов нет. Солдат без патронов — трубка без табаку,— сказал невский солдат, набивая трубку,—

поворачивай назад! Коли б они на нас лезли, а то так, они постреливают, и мы постреливаем — пустое дело!.. Дайте, землячок, прикурить.

Он «прикурил» и побежал догонять свою роту.

Рысью пронеслась по дороге батарея, за нею пошли и мы. Солнце садилось; все зарумянилось. Мы спустились в лощину, где тек маленький ручеек. Десяток гигантских черных тополей будто бы крышей закрывал место, где мы снова остановились. Лазаретные повозки расположились в несколько рядов. Доктора, фельдшера и санитары суетились и приготовлялись к перевязке. Пушечные выстрелы гремели невдалеке; удары становились все чаще и чаще.

Еще два батальона прошли мимо нас вперед; мы, вероятно, были оставлены для резерва. Нас отвели в сторону, люди составили ружья и улеглись на земле, покрытой мягкой душистой мятой.

Я лежал на спине и смотрел сквозь ветви на потемневшее небо. Гигантские, в шесть обхватов, стволы уходили вверх, ветвились, переплетались. Только кое-где выглядывала звездочка на черно-синем небе, и далеко-далеко казалась она, на дне какой-то бездны, и мирно посматривала оттуда. А выстрелы гремели и гремели. Вершины деревьев на мгновение озарялись красным светом и потом казались еще страшнее и мрачнее. Ружейного огня не было слышно. Вероятно, совершалось то, что на военном языке так скверно называется артиллерийскою подготовкою атаки.

Я лежал и почти дремал. Около меня солдаты тихо и сдержанно разговаривали. Теперь припоминаю странное обстоятельство, не могшее в то время обратить на себя мое внимание: никто ни словом не намекнул, не вспомнил, что у него есть другой мир, родина, родные, друзья. Как будто бы все забыли свою прежнюю жизнь. Говорили об этих грозных пушечных выстрелах, о том, зачем отошли невцы и отчего не подвезли патронов, о том сколько может быть турок и кто дерется с нашей стороны: только ли три полка (Невский, Софийский и Болховский) или обе дивизии. «Да, может, братцы, еще и одиннадцатая подоспеет; начесали бы мы ему зубы».— «Ну, рассказывай, начесали! Кто его знает, может, он всю свою силу вывел. Нам бы его попридержать, и то ладно; больше с нас не спросят».— «И то правда; наступать, говорят, не велено».— «Кто тебе говорил?» — «Ива-

нов, писарь из штаба; он земляк мне».— «Знает он, твой Иванов!» — с сомнением говорит солдатик.

Верхушки тополей побледнели; листья осеребрились и заблестели мягким отражением лунного света. Луна взошла, но нам ее не было видно, так как мы лежали на дне оврага. Все-таки стало немного светлее. На краю оврага показался верховой офицер; он отчаянно кричал: «Патронные ящики Софийского полка дава-а-ай!» Но ящики стояли по ту сторону оврага, и звук его голоса, несмотря на крайнее напряжение, не доходил до ездовых. Кто-то из нашего начальства крикнул: «Передать дальше!» И началось что-то вроде того, что музыканты называют фугою. Один кричал: «Патронные ящики дава-ай!» Другой начинал ту же фразу, когда первый выкрикивал «ящики», а третий — когда второй кончал «патронные». Как бы то ни было, дремавшие ездовые проснулись и, ударив по лошадям, вскачь перенеслись через овраг.

Через десять минут началась и ружейная стрельба. Ухо, сначала чутко прислушивавшееся к каждому выстрелу, утомилось. Да и сон клонил. Скоро выстрелы слились в какой-то неясный шум, как будто бы шум падающей воды, потом смолк и он. Я уснул.

— Вставать!

Звучный голос нашего батальонного командира разбудил меня. Все поднимались, потягивались, перекидывали через плечо шинели, только что служившие изголовьем.

— В ружье!

Орудия не умолкали. Мы выбрались из оврага и пошли по широкой дороге, проложенной артиллерией. Огни выстрелов были уже близки, звук их делался неприятно силен. Тотчас вслед за огнем, иглой прорезавшим воздух, слышался громовой удар; потом что-то звенело, сверля воздух. Это наша граната летела на мрачную обрывистую высоту, занятую турками. Артиллеристы беззвучно суетились у орудий и стреляли без перерыва: иногда два орудия сливали свой рев, и обе гранаты летели вместе. Они лопались на склоне горы, в самой турецкой цепи.

Мы шли все вперед и вперед. До высоты было версты две. Ровная и широкая дорога кончилась: мы вошли в редкий лесок, весь заросший кустами. Трудно было идти, раздвигая терновник и карагачи, да еще в темноте, но люди даже старательно сохраняли равнение. Показа-

лись какие-то камни, плиты, поставленные ребром. Это мусульманское кладбище. Вот настоящие магометанские монументы — камень, грубо обсеченный сверху в виде чалмы. Здесь мы остановились.

Луна сильно светила и озаряла гору, за которою шел бой. Снизу горы линия огней — наша цепь, и сверху другая, более густая линия огней — турецкая; обе эти линии перемешались. Софийцы шли в атаку. Верхние огни вспыхивали все дальше и дальше, все выше и выше. Но мы недолго могли следить за боем, потому что нас отвели куда-то в сторону и положили каждую роту отдельно. Отсюда опять мы увидели огоньки выстрелов. Звуки их, какие-то тупые, деревянные, беспрестанно долетали до нас. Но скоро стали доходить и не одни звуки.

— Ссс... ссс... ссс...— раздавалось в воздухе над нами справа и слева.

— Пуля! — закричал кто-то.

— Ладно! Лежи... Помирать долетают.

Действительно, пули были уже на излете; это всегда слышно по звуку. Пуля близкого выстрела визжит и свистит, а та, которая «помирать долетает», только шипит, как змея.

Пули летели и летели. Рота молчала. Напряженное состояние, невольно явившееся при звуке смерти, ослабело; все стали думать, что пули только перелетают или безвредно падают на землю. Некоторые, сняв шинели, устраивались уснуть поудобнее, если только можно удобно уснуть на колеях из засохшей грязи, держа ружье в руках и под пулями. Задремал и я. Тяжела, мучительна была эта дремота... Недалеко от нас, кажется в седьмой роте, вдруг заговорили, загомонили. «Неси!» —услышал я. «Куда уже его нести...» — перебил кто-то; конца фразы я не расслышал. И. Н. послал узнать, что случилось. Оказалось, что пуля, прилетевшая умирать, не захотела умирать одна и попала прямо в сердце солдату. Эта смерть произвела скверное, давящее впечатление: быть убитым, не видя неприятеля, пулею, пролетевшею три тысячи шагов, две версты, казалось всем чем-то роковым, ужасным. Однако мало-помалу все замолчали, успокоились, начали дремать. Негромкий резкий звук разбудил всех: пуля пробила обе барабанные кожи. И кто-то нашелся даже пустить по поводу «шкуры барабанной» шутку, которая, однако, была встречена общим неодобрением. «Нашел время балясничать»,— угрюмо говорили солдаты.

Всем было немного жутко, все чего-то ждали. И вдруг раздался крик, но не от боли, а скорее от испуга. Действительно, пуля попала в патронную сумку солдатика, который, бледный и с дрожащим лицом, понес показывать ее ротному командиру. И. Н. внимательно осмотрел пулю и, заметив, что она четырехлинейного калибра, из ружья Пибоди и Мартини, перевел роту в какую-то выемку дороги.

Здесь мы, несмотря на свист и шипенье, успокоились, На горе раздавалось наше «ура!». Это софийцы штурмовали гору.

IV

Я проснулся, когда было еще почти темно. Бока болели невыносимо. Пули летали по-прежнему, но теперь уже очень высоко в воздухе, над нами. Огоньков на горе не было видно, но стрельба слышалась частая. «Значит, гора взята и софийцы держатся на гребне»,— подумал я.

Чуть встало солнце, нас подняли. Солдаты, кряхтя и зевая, вставали. Было холодно; большинство, продрогнув, тряслось как в лихорадке. Роты собрались у фонтана, и оба наши батальона (2 и 3) двинулись к горе.

Тотчас же после того, как мы перешли Лом по небольшому мостику, дорога пошла в гору. Сначала подъем, хотя и весь покрытый кустами, был сносен, но чем выше мы поднимались, тем круче становилась покатость, тем у́же дорога. Наконец мы были принуждены взбираться поодиночке, иногда подпираясь ружьями. Роты перепутались.

Среди нас, вместе с офицерами другого батальона, очутился наш полковник, с трудом взбиравшийся на высоты.

— Вот мучительная гора,— сказал он своему адъютанту,— как это софийцы умудрились взять ее!

— Трудно, ваше высокоблагородие! — промолвил какой-то крохотный солдатик из самой низенькой, 8-й роты.

Софийцы спускались с горы, так как мы шли им на смену. Измученные бессонною ночью, и жаждой, и нервным напряжением, они едва брели, ничего не отвечая на наши расспросы: много ли турок, силен ли огонь. Только некоторые тихо говорили: «Дай вам господи! И-и-и как жарит!»

Наконец мы добрались до вершины горы. В самом

конце подъем переходил в совершенно отвесную скалу; под нею была небольшая площадка, где роты могли построиться в безопасности от выстрелов. Несмотря на то, что трудный подъем, кусты, узкая дорога совершенно перепутали нас, люди разобрались и стали на места чрезвычайно быстро. Пули, перелетая через скалу, визжали над нами пронзительно и крайне неприятно. Здесь, под скалой, было безопасно, но каково было на ней? Ветви кустов, растущих на гребне, трещали, сломанные пулями, иногда несколько листьев сыпалось сверху. Мы двинулись вправо, сначала под обрывом, потом мало-помалу стали вскарабкиваться по одному человеку с камня на камень. Обогнув скалу, мы вылезли совсем наверх и двинулись между густых и высоких кустов. Кто нас вел — не знаю; все шли по направлению выстрелов, с трудом пробираясь между кустами. Вот наконец и узенькая дорожка. Вперед! Бегом! Тут уже лежали свежие трупы наших и турок, навстречу нам уже несли раненых. Солдатик восьмой роты, так смело вступивший в разговор с полковым командиром, брел сам, жалобно воя и придерживая одной рукой другую, из которой ручьем текла кровь. Мы всё бежали и бежали и наконец очутились на открытом месте. Наш маленький и худощавый майор Ф. уже был на месте и хладнокровно расхаживал по цепи.

— Куда идти, г. майор? — спросил я.

Он молча показал саблей налево. Я побежал туда, по дороге раз припавши к земле от рвущейся гранаты. И. Н. медленно прогуливался, пощипывая свои одинокие волоски.

— И. Н.! — закричал я ему.— Я не знаю, где наш полувзвод; позвольте в первый?

— Идите, идите скорее,— сказал он, поглядывая вдаль, на турецкие линии.

Однако ни первого, ни второго полувзвода отыскать было невозможно: в лесу все перепутались, а разбиться под пулями и гранатами было поздно. Я улегся за первым попавшимся бугорком земли и начал стрелять. По одну сторону, рядом со мною, лежал наш капральный, по другую — солдат Софийского полка.

— Вы бы ушли, земляк,— сказал я ему,— ведь ваш полк спустился.

— Да уж все одно, постоим до конца! — отвечал он.

Не знаю, как зовут его, не знаю даже, жив ли он, но всегда буду помнить торжественный тон его голоса.

Турецкие стрелки были от нас шагах в восьмистах, так что наши ружья вряд ли делали им большой урон. Кроме того, целый ряд турецких орудий стоял от нас шагах в 1200—1500 и засыпал нашу слабую цепь гранатами. Хотя пули убивают и ранят гораздо больше, но сильнейшее нравственное действие производят гранаты. Я лежал, понемногу постреливал, советуясь иногда с Павлом Игнатьевичем (капральный) о высоте прицела и не стрелять ли нам на авось в артиллерию. Пули визжали все чаще и чаще, наконец отдельных выстрелов вовсе не стало слышно: все слилось в какое-то жужжанье. Гранаты летели, визжа, издали; когда они приближались, то уже не визжали, а скрежетали и хлопали, разрываясь и обдавая людей осколками и землею. Я приподнялся посмотреть, что делается у нас в цепи. Лежавшие изредка дико вскрикивали, стоявшие за деревьями и на коленях падали иногда с криком, иногда молча. Гаврило Васильич только что выступил и, заряжая ружье, повалился ничком: осколок гранаты ударил ему в пах, вырвав внутренности. Раненые, кто мог, уползали большею частью молча; впрочем, быть может, их крика и не было слышно за шумом боя.

Я начал стрелять снова. Турки собрались внизу котловины, на другом краю которой стояла их артиллерия, в колонны и шли на наши цепи в атаку. Прицеливаться стало ближе. Павел Игнатьевич методично заряжал и стрелял. Я также не жалел патронов, потому что целить было удобно. Темные фигуры с красными головами, шедшие на нас, падали, но все-таки шли. Вдруг красные головы исчезли: не знаю, неровность ли почвы или кусты закрыли колонну. Потеряв цепь вблизи, я снова стал стрелять вдаль, в массы, стоявшие на дне котловины, и едва успел заметить, что и Павел Игнатьевич и софийский солдат исчезли, и всей нашей цепи уже не было. Я обернулся назад: солдаты сбежались в кучки и жарким ружейным огнем встречали наступавших турок. Я был один между нашими и турецкою колонною.

Что мне было делать? Не успел этот вопрос мелькнуть в голове, как около меня раздалось мое имя. Я опустил глаза — у моих ног лежал Федоров, молоденький солдат нашей роты, побывавший в Петербурге, хвативший цивилизации и выражавшийся почти литературным языком. Теперь он лежал белый, как эта бумага; из разбитого плеча волною текла кровь.

— В. М., батюшка, дайте пить. Унесите, унесите,— жалобно просил он.

Я забыл все — и турок и пули. Одному мне нечего было и думать поднять рослого Федорова, а из наших никто не решался выскочить на тридцать шагов даже для того, чтобы поднять раненого, несмотря на мои отчаянные вопли. Увидев офицера, молоденького прапорщика С., я начал кричать и ему:

— П. Н., помогите! Никто не идет; помогите хоть вы!

Может быть, С. и пришел бы, но пуля свалила его. Я чуть не заплакал... Наконец два солдата, кажется нашей роты, кинулись ко мне. Мы взяли Федорова, не перестававшего жалобно повторять: «унесите, голубчики, Христа ради»,— я за ноги, двое за плечи; тотчас же они опустили его на землю.

— Турки, турки! — кричали они, убегая.

Федоров был мертв. Я обернулся: в двадцати шагах от меня остановилась турецкая колонна, смутившаяся, испугавшаяся наших штыков. . . . .

Через минуту что-то ударило меня будто огромным камнем. Я упал; кровь лилась из ноги струей. Помню, что тут я вдруг сразу вспомнил все: родину, родных, друзей, и радостно подумал, что я еще увижу их.

1887

Петербургские письма

I

Я не был в Петербурге почти три года. Странное волнение охватило меня, когда поезд, перейдя Обводный канал, стал идти тише и тише, когда замелькали красные и зеленые фонари, когда под сводом дебаркадера гулко заревел свисток. Я не петербуржец по рождению, но жил в Петербурге с раннего детства, свыкся с ним, узнал его; южанин родом, я полюбил бедную петербургскую природу, белые весенние ночи, которые — к слову сказать — ничем не хуже наших пресловутых украинских ночей, полюбил беспрерывную сутолоку на улицах, бесконечные ряды домов-дворцов, чистоту города, прекрасные городские сады, Неву... Полюбил я петербургскую жизнь, ту

самую, о которой собираюсь писать теперь на родину физическую с родины духовной. Вот это-то последнее, что Петербург есть духовная родина моя, да и всякого, прожившего в нем детство и юность, заставляет, когда подъезжаешь к городу, волноваться, и волнение это не меньше того, что испытывает юноша... при свидании, хотел я сказать, да нашел более сильное сравнение: когда вынимаешь на экзамене билет, решающий, быть или не быть за перегородкой, отделяющей сытых от голодных и полуголодных.

Да, этот болотный, немецкий, чухонский, бюрократический, крамольнический, чужой город, этот «лишний административный центр», как выразился недавно некий мудрый провинциальный певец, приглашаемый на здешнюю сцену и отказавшийся, по его словам, «из принципа»,— этот город, прославленный будто бы бессердечностью своих жителей, формализмом и мертвечиной, а по моему скромному мнению — единственный русский город, способный быть настоящею духовною родиною. За внешнею сухостью скрывается настоящая умственная жизнь, насколько такая может существовать у нас, в России. Пусть Петербург далек от России (все обвинения московских звонарей главным образом основываются на этой мысли), пусть Петербург часто ошибается, говорит о том, что плохо знает, но он все-таки думает и говорит. Не в Москве фокус русской жизни или того общего, что есть в этой жизни, а в Петербурге. Дурное и хорошее собирается в него отовсюду, и — дерзкие скажу слова! — не иной город, а именно Петербург есть наиболее резкий представитель жизни русского народа, не считая, конечно, за русский народ только подмосковных кацапов, а расширяя это понятие и на хохла, и на белоруса, и на жителя Новороссии, и на сибиряка, и т. д., и т. д.

Привыкли говорить у нас в том смысле, что-де Москва — естественное произведение русской жизни, а Петербург — искусственное насаждение и искусственно питаемое растение; что Москва России нужна, а Петербургу нужна Россия; что Петербург — паразит, выросший на счет народного пота... что, когда вся Россия страдает, Петербург наслаждается, резонерствует, и больше ничего.

Ах, милостивые государи! Придите сюда, в этот наслаждающийся и равнодушный город, и поживите здесь зиму, и если у вас есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, вы на себе почувствуете эту, может быть, и не-

понятную, но реальную и могучую связь между страною и ее настоящею, невыдуманною столицей! Вы увидите, что удары, по всему лицу русской земли наносимые человеческому достинству, отзываются, и больно отзываются, здесь. Я не буду говорить о том, в чьих и каких сердцах они отзываются... Везде есть всякие люди... Но все-таки болеет и радуется (когда есть чему) за всю Россию один только Петербург.

Потому-то и жить в нем трудно. На улицах благоустройство, порядок; городовые вежливы, увеселений много, материальные трудности жизни не больше, чем в других больших городах. Смертность вопреки установившемуся предрассудку не бóльшая, чем везде в России (в Петербурге — 37, в Москве — 36, в Орле — что-то около 60 на тысячу), дает прямое указание, что Петербург не особенно страдает. У немцев смертность меньше, но гнилые немцы нам, конечно, не указ. Не знаю, как полагают на этот счет московские патриоты, а я так готов предположить, что слишком малая смертность показывает трусость и страх смерти: доблестный славянин вряд ли унизится до забот о том, чтобы довести смертность в своей стране до 17 на тысячу, как какой-нибудь голоногий шотландец или селедочник-датчанин. Поэтому я сравниваю Петербург только с русскими городами. А по сравнению с ними он еще, слава богу, ничего. Но жить в нем труднее, чем где-нибудь, не по внешним условиям жизни, а по тому нравственному состоянию, которое охватывает всякого думающего человека, попавшего в этот большой город. Здесь, в Маркизовой луже (так прозвали Невскую бухту Финского залива во времена морского министра маркиза де Траверсе, который за свое долголетнее управление нашим флотом в александровские времена, как говорят, ни разу не вывел его из этой бухты), живешь, кажется, вдали и от Старобельска, и от Вилюйска, а принимаешь, невольно принимаешь, и старобельские, и вилюйские интересы так близко к сердцу, как вряд ли принимают их сами жители этих богоспасаемых городов. Я не в состоянии ясно показать, в чем и как проявляется эта связь, но она есть. И для фельетониста, пишущего петербургские письма, нелегко ограничиться чисто местными интересами: начнешь писать, положим, как прекрасно играет военный оркестр в Летнем саду при электрическом освещении и какие большие деньги берет г. Балашов, буфетчик этого сада, за бифштексы,

а незаметно перейдешь и на юг и на запад, посетивши Кавказ, и, чего доброго, поинтересуешься познакомиться и с «более отдаленными местами» востока и «тундрами» севера.

Поэтому заранее прошу извинения, если в моих письмах читатель найдет иногда разговоры, мало относящиеся к столице, если мне в письмах в Харьков придется говорить иногда даже о самом Харькове. Обещаю стараться, чтобы этого постороннего элемента было поменьше, и так как вступительною болтовнею я занял чуть ли не половину письма, то ставлю черточку.

Летний сезон уже наступил. Петербург опустел почти до своей летней нормы. Численно, правда, население города почти не уменьшилось, если только не увеличилось, несмотря на то, что поезда, отъезжающие в Москву, за границу и в Финляндию, битком набиты пассажирами. Взамен этих счастливых людей, имевших возможность «отдохнуть» летом на лоне русской или немецкой природы, обратные поезда и барки, проходящие сверху по Неве, привозят целые полки рабочих. За лето нужно подновить, почистить город, выстроить несколько десятков новых домов, навезти на судах зимний запас дров, сена, хлеба. Нет улицы, по которой можно было бы проехать, не встретив препятствий в виде разломанной мостовой, ямы, разрытой для исправления водяной или газовой трубы, забора, отгораживающего новое сооружение, или старый, надстраивающийся на один или два этажа дом. Жара и пыль — ничтожные сравнительно с харьковскими,— конечно, заставляют и тех обывателей, которые не могут покинуть город на все лето, искать спасения на дачах. Сообщения (пароходы, конно-железные и паровые железные дороги) настолько удобны и дешевы, что здешнему чиновнику или конторщику ничего не стоит ездить каждое утро в город, а «после должности» возвращаться к семье и природе за какие-нибудь 15, 20, даже 30 верст, чтобы остальное время дня провести в гулянье по сосновому лесу или березовой роще, а то и просто по недавно дренажированному болотцу; в уженье рыбы (посмотрите в летние №№ сатирических изданий: чуть не третья часть карикатур направлена против этой несчастной и невинной страстишки) — рыбы, никогда не попадающейся на удочку; в охоте на умудренных опытом ингерманландских

уток, рябчиков и глухарей, считающих позором быть подстреленными охотником-дилетантом. Иные отцы семейств избирают более благую часть: проводят летние вечера, как проводили и зимние, садясь за зеленый столик в 9—10 часов вечера и «винтя» до солнечного восхода. Прибавьте к этому увеселения, рассеянные летом вокруг Петербурга: вокзалы, летние театры, оркестры музыки на открытом воздухе и пиво, пиво и пиво — вот и весь фон дачной жизни петербургской семьи средней руки. На этом фоне разыгрываются всевозможные дачные события. Завязываются знакомства, начинаются романы, развиваются драмы. Но все это делается как-то особенно, «не всерьез, а по-дачному», как удалось мне недавно услышать.

Для этого мирного жития необходимы, само собою разумеется, хлеб, мясо, свечи, дрова и прочие продукты. Десятки тысяч семейств переселяются из города в окрестности, всем им надо есть и пить, петербургские же хозяйки привыкли вести свое хозяйство без хлопот. Из сотни хозяек вряд ли одна делает какие-нибудь запасы по-провинциальному; остальные пользуются услугами мелочной лавки, удивительнейшего учреждения, в котором нельзя достать только сырого мяса и материй, а все отальное, нужное в домашней жизни, есть всегда и в достаточном количестве. Мелочная лавка перебралась и за город и торгует там в летние месяцы очень бойко. Кроме нее к услугам потребителей существует еще целая армия всевозможных разносчиков, преимущественно ярославцев; они носят по дачам и вежливо предлагают «вашему сиятельству» и «вашему превосходительству» говядину, рыбу, раков, зелень, хлеб, пирожные, мороженое, цветы в горшках, корзины и легкую мебель, шторы и багеты для картин, проволочные изделия, посуду, письменные принадлежности; даже книги и те разносятся ярославцами и даются на прочтение скучающим дачницам по гривеннику за том. Походный парикмахер ездит в тележке; походный фотограф разъезжает в целом фургоне: там у него лаборатория, а павильон, конечно, на воздухе.

Дачная жизнь выработала совершенно особые типы. Покойный Кущевский, долго живший в Петербурге и хорошо его знавший, набросал уже много лет тому назад целый ряд талантливых очерков этих типов; желающих познакомиться с ними отсылаю к нему. Но не могу не отметить одной довольно часто встречающейся разно-

видности петербургского жителя. Это человек большею частью молодой, с приличной физиономией и франтовато одетый. Где он живет летом — неизвестно; чиновник в адресном столе на справку отвечает, что «Иван Иванович Петров выбыл в Херсонскую губернию». Но Иван Иванович в Херсонской губернии никогда не бывал и вряд ли бывал где-нибудь за Павловском или Петергофом. Иван Иванович состоит на службе; в чем заключаются его служебные обязанности — не знает никто из его знакомых, но он служит и получает рублей 40—50 в месяц. И то сказать, здесь, в Питере, есть удивительные места...[1] Как бы то ни было, сорока или пятидесяти рублей в месяц Ивану Ивановичу не хватает: ему нужны фрак, цилиндр, лакированные сапоги, тонкое белье — видимое миру, конечно,— перчатки. Комнату (в городе зимою) он нанимает маленькую и скверную; ест благодаря бесчисленным знакомствам хорошо. Пятнадцать знакомых семейств — вот и все, что ему нужно; можно обедать в каждой только раз в две недели, что и выгодно и прилично. Но наступает лето; всякая тварь радуется и стремится в зелень, на воздух; почему же не стремиться и Ивану Ивановичу? И вот он, узнав адресы всех знакомых, начинает свой летний тур. Едет в Лесной, к действительному статскому советнику Дыбе, и в его милом семействе — он принят в нем как родной — проводит недельку. Затем «дела» призывают его в Петербург; потолкавшись в городе полдня, он стремится в Ораниенбаум, к тайному советнику Стрекозе. Стрекоза, хотя и презирает его, по русскому хлебосольству не гонит, а кормит дней 5 или 6. Дочь Стрекозы, томная девица лет 30, говорит с ним о чувствах и литературе (Иван Иванович и это может), компаньонка-француженка, шутя, учит его болтать по-французски; время проходит весьма приятно. Но Иван Иванович донельзя деликатен; деликатность — основная черта его характера. Он помнит, что его ждут (увы! — ждут, ибо знают, что от Ивана Ивановича нет спасенья) и живущий на даче в ожидании кассации, а затем отдаленного вояжа интендантский полковник Загреби, и почтенный старец, недавно вернувшийся из такого же вояжа и живущий на покое, бывший ком-

[1] Например, место *кума в Воспитательном доме.* «Кум», по слухам, получает за каждого крестника пятак и рюмку водки. Впрочем, это, может быть, «одна беллетристика»; наверное не знаю. (*Примеч. В. М. Гаршина.*)

мерции советник Поташилов, и семейство знакомого протоиерея, отправившего своих чад и домочадцев в Новосаратовскую немецкую колонию, и товарищ его, Ивана Ивановича, по гимназии, художник, живущий в Лигове «на этюдах», питающийся колбасою, пивом, табаком и запахом хвойного леса и масляных красок. Иван Иванович, как мотылек, перелетающий с одного цветка на другой, перелетает по конно-железным и паровым путям, на пароходах, а то и на своих двоих, с дачи на дачу, говорит за двоих, ест за троих, любезничает с дамами и благополучно доживает лето, тратя свои скудные гроши только на приобретение билетов на проезд. Даже сигары (у Загреби) и папиросы (у художника) он курит не свои, а хозяйские, вознаграждая за сигары рассказом о том, как он однажды выкурил у такого-то сигару в полтора рубля штука, и за папиросы — набиванием их в пользу хозяина. И так живет Иван Иванович из года в год, пока не явятся лысинка и брюшко и какими-то чудными и неведомыми путями не оттопырится боковой карман.

— Милостивый государь,— скажет мне читатель,— странно мне это: начали вы с таких, можно сказать, благородных слов, обещали показать Петербург страдающий и мыслящий, а вместо того говорите о дачах и об Иване Ивановиче, старом, заношенном еще в пятидесятых годах типе! Где же тут мысль, где страданье?

О, конечно, конечно, читатель! Иван Иванович вовсе не страдает. И стыдно мне было бы ограничиться одним Иваном Ивановичем, но дело в том, что мыслящий Петербург весь уже уехал. Дело летнее. А вообще-то ведь не Иваны Ивановичи и кумовья Воспитательного дома делают нравственную физиономию города.

О моем же дачелюбивом приятеле я вспомнил потому, что он знает всех и все. Надеюсь попасть с ним и к Стрекозе, и к Дыбе, и к Загреби, и ко всем прочим; а что я там увижу — сообщу через две недели.

II

Иван Иванович обманул меня: обещал зайти за мною и повезти в Петергоф к каким-то своим знакомым, не пришел. Сижу один и скучаю.

Лето, жара и тоска. Хочется уйти куда-нибудь, подальше от камня, в зелень, в какое-нибудь тихое место, куда не доходит шум города, где нет толпы. Трудно найти

такое уединенное местечко: сады битком набиты гуляющими, дачные места тоже. Пойду на кладбище. Если скучно среди живых, то куда же деваться, как не к мертвым? Говорить с ними, то есть читать их книги, я устал, пойду посмотреть, где они лежат.

Мертвый Петербург больше живого. Не говоря уже о том, что каждая пядь земли города при Петре Великом, когда рабочие, случалось, целое лето питались только репой, стоила человеческой жизни, обычный покос смерти давным-давно населил и переполнил городские кладбища. Начали устраивать загородные, по линиям железных дорог. Целые похоронные поезда отходят ежедневно из Петербурга, увозя десятки гробов; иные наставлены кучей в одном вагоне, другие занимают отдельные вагоны, торжественно красуясь на траурных катафалках. Свистит машина, трогается поезд с мертвым грузом, а навстречу ему подходят к городу поезда с живыми, с новым запасом народа, из которых многие и многие поедут назад только до первой станции — Преображенского или Удельного кладбища. Здравствуйте, живые; прощайте, мертвые!

Не закрылись еще и городские кладбища: Смоленское, Митрофаниевское, Волково и несколько других, меньших и большею частью привилегированных. Правда, жильцы их давно уже лежат друг на друге, и нельзя вырыть могилы, чтобы не наткнуться на полусгнивший, а то и новый гроб. Но петербуржцы больше любят эти старые, тесные, несмотря на свою огромность, мертвые города, чем их новые колонии. Ничего, если придется потревожить соседа; его двинут к сторонке, а рядом с ним ляжет новый жилец. Летом и зимою на кладбище хорошо. Оно представляет собою сплошной сад: ольха, береза, бузина отлично растут на жирной почве, кладбища — самые тенистые сады в городе. Могилки разделены дорожками с деревянными мостками; сбоку надписи с обозначением разрядов от I до VI и названиями мостков. Точно улицы в живом городе. На Волковом кладбище, где я был сегодня, есть мостки цыганские, немецкие, духовные, есть и литераторские.

К кладбищу ведет длинная Расстанная улица. Небольшие дома по большей части заняты монументальными мастерскими; готовые мраморные и гранитные памятники глядят из окон; на них приготовлены места для надписей, а самих надписей еще нет; смерть напишет их

сегодня или завтра. В заборах — лавочки для продажи цветов и венков из мха и иммортелей; все заборы увешаны ими. Одна-две кухмистерские с большими залами для поминания усопших. Кладбищенская богадельня; ветхие старухи поглядывают из сада на прохожих, идущих к кладбищу и от него, ожидая, когда и им придется отправиться туда же на покой. Два дома причта кладбищенской церкви на конце улицы, у самой площадки перед воротами. Густая зелень закрывает кладбище; церковь, маленькая, старинная, едва виднеется из нее. Недавно поставили в сторонке другую, бо́льшую. Старый сторож сидит на лавочке с трубкой и поплевывает на мостовую. За воротами небольшой навес с прилавком; там сидит старушка из богадельни и принимает пожертвования.

В церкви почти всегда несколько гробов: запах ладана смешивается с тяжелым запахом покойника; кадильный дым плавает облаком, слышно торопливое чтение и пение. Уйдем отсюда подальше, туда, в третий и четвертый разряды, где памятники проще, где «дешевого резца нелепые затеи» уступают место простым плитам и деревянным крестам. Крайняя левая дорожка и есть «литераторские» мостки. Подходишь к месту, где легли лучшие русские люди, и невольно сжимается сердце. Вспоминаете прелестное описание Вашингтона Ирвинга «Уголка поэтов» в Вестминстерском аббатстве — кладбище величайших людей величайшей страны. Мы не заботимся о наших великих мертвых, как заботятся англичане. Мы не заботимся о них и при жизни. Мы умели только брать от них, ничего не давая взамен.

Наш «Poets Corner»[1] (собственно, уголок не поэтов, а публицистов) очень невелик. Лежит здесь Белинский рядом со своим другом Кульчицким (могила которого исчезла и на месте которого похоронили несколько лет тому назад с большим скандалом студента Чернышева); рядом с Белинским могила Добролюбова, через дорожку Писарев. В стороне — Афанасьев-Чужбинский, теперь уже почти забытый, но в свое время известный и трудолюбивый исследователь юга России и романист. Умирая, он просил, чтобы его положили поближе к Белинскому и Добролюбову, и друзья исполнили его желание. Они лежат вместе на пространстве трех-четырех квадратных

[1] «Уголок поэтов» (*англ.*).

сажен, окруженные бесчисленною толпою темных имен, написанных на мраморе, граните, плите и дереве. Толпа, которую они любили и учили и которая задушила их, не оставила их и после смерти, стеснила и сдавила их маленький уголок так, что новому другу уже негде будет лечь...

Над Белинским черный высокий памятник из гранита с таким же крестом и простою надписью: «Виссарион Григорьевич Белинский, 26-го мая 1848 г.». Добролюбов лежит под тяжелым черным саркофагом без всякого украшения и символа; только имя, годы рождения и смерти. У Писарева маленький белый крест на черном основании. Друзья Чужбинского поставили ему большой белый мраморный памятник. Деревянные решетки, отделяющие соседние «семейные места», исписаны карандашом. Тут и стихи, но не собственного сочинения, а большею частью из Некрасова; тут и наивная проза с выражением любви и горя. «Все, кого ты учил, помнят тебя». «Неужели ты забыт?»

...Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Таковы надписи над могилой Писарева. У Белинского кто-то написал строчку из молодого поэта:

Учитель, где ты? Приди и научи!

Этот страстный вопль, эта жалоба на смерть, унесшую учителя,— единственная надпись над могилой Белинского. Забыли его. На черном граните памятника нет ни одного венка...

А вокруг — неутешная купчиха 2-й гильдии пишет на памятнике мужа о том, что «все тлень и прах, а мы все по тебе в слезах»; вдовец жалуется, что жена его умерла, оставив семь человек детей, «воздоенных от сосцов ея»; надворный советник и ордена св. Владимира 4-й степени кавалер лежит под мавзолеем, украшенным факелами с каменным пламенем и дубовыми длинными стихами; на деревянном кресте написано — страшно сказать! — *семь* детских имен и выставлен возраст детей — от трех месяцев до года и четырех месяцев... Сильно мрут петербургские дети...

Однажды я попал на кладбище в «родительскую» субботу. Несмотря на строгое запрещение, поминающие

все-таки ухитряются проносить водку в самоварах и чайниках. Тысячи сидят на могилках, пьют и едят. Поминание кончается пьянством и скандалом. Городовые, дворники, участок, протокол... Закрыть глаза и бежать. Но теперь все тихо, пусто и спокойно, только могильщики ходят с лопатами да каменщики обтесывают новые памятники и высекают имена и льстивые надписи. Стук молота, негромкая песенка работника о том, что

А в деревне не хватало
Двадцати пяти рублей...

пение, доносящееся из церкви, да далекий неумолчный шум живого миллионного населения города — вот и все звуки. Изредка налетит ветер, зашумит в ветвях деревьев, и снова все тихо...

Уйдем отсюда. Оставим мертвых, вернемся к живым. Не поехать ли нам, читатель, в Петергоф? Там сегодня пущены фонтаны, парк набит битком гуляющими; играют три оркестра.

Пароход, отходящий от Английской набережной, до того полон пассажиров, что многие из них должны стоять всю дорогу на ногах. Пестрая, разнокалиберная толпа. Русский язык почти не слышен среди других: немцы, шведы, англичане говорят по-своему, а большинство русской публики, первоклассной конечно, трещит с грехом пополам по-французски. Петергофские дачники принадлежат большею частью к очень состоятельному классу; часть бомонда, не уехавшая за границу по случаю цены полуимпериала в 8 р. 20 к., тоже ютится в Петергофе или Павловске. Это очень людные места.

Пароход быстро проходит невское устье; по берегам возвышаются верфи и магазины. Вот огромная корма «Владимира Мономаха» нависла над водой из-под крыши эллинга; военные суда, живые и мертвые, назначенные к сломке, занимают левый берег; нить миноносок тянется чуть не на полверсты. Дальше начало морского канала, который к осени, говорят, начнет уже действовать, проводя прямо в Петербург самые большие суда, так как глубина его — 28 футов. Вдруг берега расширяются, уходят вправо и влево, синея возвышенностями и лесами. Маркизова лужа спокойна: черные и белые бакены оформляют фарватер, а по сторонам его желтеют песчаные мели. В самом узком и мелком месте фарватера, верстах в 8 от устья Невы, шведский пароход плотно уселся

на мель и бурлит винтом, тщетно пытаясь сдвинуться с места; буксирный пароход так же напрасно старается стянуть его. Тут мы идем тихим ходом, осторожно обходя потерпевшего шведа.

Впереди сквозь легкую мглу, какая часто бывает на море, когда солнце светит слишком ярко, видна узкая полоска, иззубренная шпицами церквей и мачтами судов. Это Кронштадт: пятна справа и слева — его грозные форты. Направо финляндский берег уходит в туман волнистою линиею, налево берег Стрельны и Петергофа, весь заросший парками и садами. Сзади широкая картина уходящего Петербурга: отдельных зданий уже почти нельзя рассмотреть; только купол Исаакия нестерпимо горит золотою звездой.

Петергофская пристань состоит из длинного деревянного помоста, вытянутого от берега почти на полверсты. У самого ее начала — вход в знаменитый парк; около ресторанчики, где гремит музыка. Пройдя мимо него, вступаешь в царство петербургской старины.

Здесь все старо, солидно и прочно. Стар самый парк, множество дерев которого посажены самим Петром Великим; стары фонтаны, однажды навсегда устроенные так, что почти не требуют починки; старый дворец глядит сквозь брызги Сампсона и множества других водометов на знаменитый канал, ведущий к морю и выкопанный в одну ночь. Толпа, наполняющая сад и теснящаяся особенно около Монплезира (недалеко от него играют два оркестра военной музыки), совсем не подходит к этим важным и чинным местам, хотелось бы видеть фижмы, пудру, французские кафтаны, шелковые чулки и шпаги. Одни только придворные лакеи в кургузых фраках с галунами, в красных жилетах, коротких штанах и шоколадного цвета штиблетах напоминают прошлое. Они стоят у дверей Монплезира — и кажется, вот-вот отворятся эти старые двери и выйдет матушка-царица с кем-нибудь из своих орлов. Но лакей стоит только для красы да еще для того, чтобы взимать двугривенные с желающих посмотреть любимое местечко Петра и Екатерины. Монплезир — низкое кирпичное здание очень простой и красивой постройки в голландском вкусе XVII века: в нем одна только большая зала и несколько маленьких комнат; по сторонам две длинные галереи с большими окнами. Кто из читателей видел картину Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея» или копию с нее, тот имеет полное поня-

тие о большой зале: г. Ге писал ее с натуры и не упустил ни малейшей подробности. Входишь в залу, и как-то странно кажется, что посреди не стоит большой стол, за столом не сидит грозный судья-отец и против него нет смущенного, дрожащего сына.

Перед Монплезиром терраса, выходящая прямо на море и обнесенная белой балюстрадой. Это лучшее местечко в Петергофе; недаром его любили все его хозяева. Отсюда видны и Петергоф и Кронштадт; сотни судов снуют вдали взад и вперед по фарватеру... Море ленивыми волнами разбивается о прибрежные валуны. Просидел бы здесь не один час, если бы не толпа, не вечные, надоевшие разговоры . . . .

. . . .

Десять часов. Пора и на пароход. Покойной ночи.

1882

Статьи о живописи

Новая картина Семирадского «Светочи христианства»

«Одних зашивали в звериные шкуры, и они погибали, пожираемые собаками; другие умирали на кресте, или их покрывали горючими веществами и, по заходе солнца, жгли вместо факелов. Нерон уступал свои сады для этого зрелища... Хотя эти люди и были виновны и заслуживали строгое наказание, но сердца все-таки открыты для жалости к ним».

Так говорит Тацит о заживо сожженных в царствование Нерона христианах.

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

Эти слова вырезаны Семирадским на раме его колоссального произведения.

Когда вы входите в зал, где стоит картина, почти неприятное чувство овладевает вами: вы видите перед собою какую-то яркую, пеструю путаницу мраморов и человеческих фигур, путаницу с резкими пятнами, огненными, черными, перламутровыми, золотыми.

Только подходя ближе и делая некоторое усилие, вы можете разобрать, в чем дело. Слева пестрая народная толпа, теснящаяся на мраморном крыльце дворца, выходящем в сад. Более ста фигур в светлых и ярких одеждах, мраморы, сосуды, блестящие металлами, украшения, горящие драгоценностями, цветы, опахала, раскошные носилки цезаря, его ручной тигр. Справа цветами обвиты столбы, около которых блестит пламя жаровни и факелов, зажигаемых нагими рабами, на столбах увязанные веревками пуки соломы, куда по грудь запрятаны муче-

ники... Сейчас зажгут эти пуки, а некоторые, сзади, уже начали гореть, разбрасывая искры.

Взгляните на эту пеструю толпу. Недостаток ли искусства художника или, быть может, его намерение — не берусь решить — сделали рассматривание отдельных фигур картины крайне утомительным. Вы видите толпу, массу, разодетую и полуобнаженную, разукрашенную тканями и золотом. Но ваше внимание скоро утомляется, когда вы начнете рассматривать отдельные фигуры; ни одна фигура, ни одна группа не выделяется резко на этом общем фоне.

Главную фигуру, цезаря Нерона, вам приходится искать глазами. Вот он, одутловатый и смуглый, пресыщенный, скучающий, для возбуждения притупленных нервов придумавший такое утонченное зрелище, сидит в роскошном раззолоченном, инкрустированном перламутром паланкине вместе со своею женою Поппеею. В ее лице, жирном и вялом, ничего не видно, кроме чувственности; даже на такое экстратонкое зрелище она смотрит апатично и тупо. Черные рабы, несущие носилки, почти не выражают своими лицами ни жалости, ни злорадства. Их черную кожу не проберешь чужим страданием, а ненависти к христианам они иметь не могут: что для них христиане?

Носилки Нерона остановились на средней площадке мраморной лестницы. От нее идут два марша. Один налево и вверх, во дворец, другой прямо к зрителю, вниз, оканчивающийся большой площадкой, на которой расположен «первый план» картины, наиболее выдающаяся и интересная ее часть. Там, вверху, за цезарем, большая давка; масса зрителей спускается по лестнице, чтобы посмотреть, как будут гореть «поджигатели Рима». Видны там и черная кожа раба, и красная полоса на белой тоге сенатора, и шлем императорского полководца, и яркие одежды, и обнаженные руки и плечи женщин. Все это смешивается в общее пятно, и пятно менее удачное из всей картины: часть лестницы, заворачивающая в глубь картины, на самый верх, с многочисленною толпою, лишена воздушной перспективы и, как говорят художники, «лезет вперед», несмотря на сравнительную туманность тонов.

А здесь, около нас, внизу, какая смесь одежд и лиц! Какое разнообразие типов и красок! Вот собралась кучка серьезных людей: сенатор, стоящий спиною к зрителю, грек-философ с повязкою на голове, что-то ему убеди-

тельно доказывающий, и слушатели. Что говорит грек? Уж не доказывает ли он нелепость подобного препровождения времени? Нет, где ему, бедному, иметь свое собственное мнение, когда в двух шагах от него сидит сам цезарь, всегда имеющий возможность посадить на столб в соломе любого философа! Должно быть, он прославляет цезаря за его мудрую предусмотрительность и строгое правосудие. Около этой группы стоит одинокая фигура старика сенатора. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что это — одно из наиболее удавшихся художнику лиц. Старый, толстый, обрюзглый, с отвисшими щеками, с маленькими глазами на пошлом жирном лице, он как-то скотски равнодушно смотрит на начинающуюся казнь... Его седая развратная голова увенчана пышными и нежными белыми розами; как-то дико, нелепо видеть девственные цветы на такой голове; но они показывают, что престарелый сенатор только что перестал пить и, вероятно, сейчас же после спектакля начнет вновь (древние думали, что венки из роз предохраняют от опьянения).

Как спокойно смотрит он! Да чего ему волноваться? Можно ли чем-нибудь удивить его, видевшего Тиверия, Калигулу, Клавдия?.. Цезарь жжет христиан; до него, сенатора, очередь еще не дошла, он и пользуется временем, наслаждается жизнью, с розами на челе. А может быть, судьба и поблагоприятствует ему, и он уйдет от яда или казни и умрет «естественною» смертью от пьянства и разврата. Ближе к ним и к жертвам Рима стоит интересная, прекрасно задуманная художником пара: какой-то смуглый юноша в роскошном, ярком восточном костюме со своею подругою. Они оба, особенно он, чужие на этом буйном пиршестве разврата и бесчеловечия. Он, очевидно, не римлянин, а какой-то азиатский принц, сделавший тысячи миль, чтобы подивиться владычествующему над миром человеку и городу-царю. Что же он нашел здесь? Безумца, переходящего с трона на театральные подмостки и сжигающего заживо людей не так, как там, на южном Востоке, из «политической необходимости», а просто для потехи,— и толпу льстецов, этих римских граждан, владык всего мира, разделяющую забавы этого безумца, льстивую, презренную толпу. И вот перед ним привязанные к позорным столбам люди, которых сейчас будут жечь... Может быть, одно слово отречения освободит их; но они не отрекаются. Что ж это такое? Откуда они? И юноша задумчиво и тоскливо смотрит на факелы из

живых людей; его настроение передается и его прекрасной подруге, боязливо прислонившейся к нему и сострадательно смотрящей на мучеников.

И не одни они относятся к предложенному Нероном зрелищу не с апатичным и тупым спокойствием или злорадством. Вот на первом плане, ближе всего к зрителю, сидит женщина. Одежда ее роскошна, сандалии прикреплены драгоценными застежками, горящими золотом и камнями. Она опустила дорогую, всю раззолоченную лиру (вероятно, это певица) и сидит в позе Сафо. Она явно жалеет и этого старика с детским выражением лица, безропотно висящего там, на столбе, и эту молоденькую девушку, которую, кажется, уж подожгли.

Экспрессия лица этой женщины не особенно удалась художнику, хотя по рисунку и письму это лучшая фигура картины. Она могла бы служить вся целиком, как она есть, превосходным изображением Сафо, но вовсе не Сафо, смотрящей на истязания людей. В ее лице более задумчивости, чем жалости и негодования. Но ребенок рядом с ней, с любопытством ужаса смотрящий на страшную сцену,— прекрасная фигура и по экспрессии. Совсем налево, у самой стены, еще фигура человека, жалеющего христиан: это гладиатор, частью одетый в свои тяжелые и безобразные доспехи, частью держащий их в руках; он прислонился своею широкою спиною к мраморной стене и смотрит с состраданием. Его простое, глуповатое лицо с выражением дикаря написано не особенно удачно, но сострадание варвара, смешанное с детским изумлением, прекрасно выражено. Жаль, что художник не потрудился тщательнее заняться этою фигурою и поставил ее довольно неловко: спина гладиатора как-то врезывается в мрамор, к которому он прислонился. Перед гладиатором — девушка-танцовщица, забывшая пляску и свои медные тарелочки, которыми она так весело побрякивала минуту тому назад. Она облокотилась на край мраморной площадки и смотрит на рабов, готовящихся поджечь живые светочи. Ее фигура, наклонившаяся вперед, полуприкрытая коричневой золотистой драпировкой, полна ожидания и ужаса, только небрежно написанное лицо несколько портит общее впечатление. У ног ее расположилась группа, стоящая более подробного описания.

Это три лица: старик сенатор, молодой мужчина и женщина, едва вышедшая из детского возраста. Мужчины играют в кости, она сидит на коленях у младшего и хохо-

чет над проигравшимся в пух и прах и растерявшимся стариком, который уперся глазами в костюмы публики. Это — совсем глупый, дряхлый старикашка, впавший в детство. Не таков его счастливый соперник в любви и игре. Здоровое веселье видно на его хохочущей физиономии: посмотрите, с каким торжеством поднял он одну руку со стаканчиком, выбросил из него кости на круглый мраморный столик, а в другой держит чашу, полную вина. Он наслаждается жизнью и удачею и не обращает ни малейшего внимания на то, что два десятка людей сейчас начнут гореть заживо. Какое ему дело до них, когда игра кончилась так весело, когда на его коленях так удобно приютилось молоденькое веселое существо! Он радуется и выражает свою радость гомерическим хохотом над выжившим из ума римским сенатором. А она, эта женщина-девочка со смеющимся, но утомленным от оргий лицом, она также не смотрит на казнь. В ее молодой душе не выросли человеческие чувства — жалость и сострадание; ранний разврат сгубил все и оставил только способность находить удовольствие в ласках друга, на коленях которого она сидит, да на дне его золотой чаши.

Еще более омерзительна женщина, полулежащая на земле несколько правее описанной группы. Она — вся ожидание и нетерпение. Это волнующееся злое лицо, чувственный взор, в котором ясно видна жажда крови и воплей, прекрасно удались художнику по силе экспрессии.

Выше этих фигур помещается пара: полный смуглый сенатор в венке из желтых цветов со своею подругою, стройною, прекрасною женщиной. Он, небрежно развалясь на мраморе, неодобрительно смотрит на ненужную жестокость, конечно, зная, кто истинный виновник римского пожара. Ему гораздо приятнее было бы, быть может, уйти отсюда с красивою подругою, которую он ласково держит за обнаженную руку повыше кисти. И она, нервная, впечатлительная, тоже ушла бы, если бы было можно: готовящаяся казнь возмущает ее, заставляет страдать, и прекрасное лицо невольно складывается в выражение ужаса и отвращения. Сзади этой пары, превосходно исполненной, опять люди, забывшие и казнь, и всех, и все, увлекшиеся своим бешеным, бурным, пьяным весельем. Громко свистит двойная флейта, гудит и бренчит бубен, быстро двигаются тела опьяневших от вина и пляски танцоров, мелькают в воздухе тирс и поднятые руки. А вот одна из танцовщиц уже упала в опьянении и валя-

ется ничком, головою к зрителю. Тут же шут в костюме, похожем на костюм арлекина, хочет выкинуть какую-то штуку, пустить шутку в толпу. Но движение его застыло, шутка замерла в полураскрытых устах. Шуты — впечатлительный народ...

Еще одна фигура; строгая, мрачная фигура римлянки около гладиатора. Она сидит так, что ее не видит никто из окружающих, и мрачно, с ненавистью глядит на загорающихся христиан. На кого обращена эта ненависть? На тех ли, которые горят, или на тех, по чьему повелению совершается страшное дело? По выражению лица нельзя сказать наверное. А вот парочка, стоящая ближе всех к казнимым, но меньше всех обращающая на них внимание. Они оба оперлись на черный мрамор, которым кончается балюстрада лестницы. Они шутя и дружелюбно болтают между собою, даже не смотря на угощение цезаря; они сами интересуют друг друга гораздо более, чем все на свете христиане.

Там, вдали, в глубине картины, видны еще и еще фигуры воинов, сенаторов, вольноотпущенных, дворцовой челяди. Вот один из них махнул красным платком, это — знак начинать представление.

Его уже начинают. Жаровня с растопленною смолою пылает красным пламенем, сверкая и дымя; раб возится около нее, отмахивая крылом летящий в сторону цезаря дым. Другой обмакивает свой факел в смолу. Еще несколько человек зажигают пуки соломы, иные взобрались на лестницы. Лица их совершенно спокойны и хладнокровны; спокойствие это напоминает выражение лица у прислужников современного цирка; бесстрастно, машинально исполняют они свое дело.

На высоких шестах, увитых гирляндами, привязаны они, актеры представления, в первый и последний раз выступающие на сцену. Тут и старики, и юноши, и девушки: длинный ряд их теряется между кипарисами сада. Беспомощные, нагие, обложенные соломою, увязанные веревками, смотрят они с высоты на истязающую их толпу. Хорошо виден из них второй от зрителя (лицо первого ушло из картины); старик с кротким, детским выражением лица, с седою бородою и волосами. Как не похож он на поджигателя и преступника! Как не похожа эта молоденькая девушка на подрывательницу государственного строя! Однако они висят на шестах вместе со своими товарищами; сейчас пламя начнет лизать солому, в которую

они завернуты, начнет душить их дымом вонючим, потом доберется до тела... И раздадутся душу разрывающие, нечеловеческие вопли: живое человеческое тело горит! Тут даже и твердая вера, беззаветная вера в спасение и будущую жизнь, «идеже несть печали», не поможет несчастным страдальцам, мучения вызовут из их грудей безумные, страшные вопли, и дрогнут сердца бесчеловечной толпы, смутится она и только разве в пьяной и развратной оргии забудет совершенное ее повелителем и одобренное ею преступление.

Таково содержание картины Семирадского. Я не мог, конечно, описать и половины всех фигур: их, как сказано уже, более ста; описаны только более выдающиеся или замыслом, или выполнением. О технике Семирадского, где она касается человеческих фигур, тканей, украшений, мрамора, сосудов и других аксессуаров, вряд ли можно сказать что-нибудь, кроме того, что она безукоризненна. Золото некоторых сосудов блестит точно так же, как и позолоченная рама картины. Блестящее перламутровое сиденье в паланкине императора как будто вырезано из настоящего перламутра и налеплено на картину. Роскошные ткани только что не скатываются с женских плеч. Мраморы представляют совершеннейшую иллюзию; особенно хорош мраморный барельеф — с группою людей, колесницею и конями — на стене дворца.

Важные недостатки картины — ошибочность и нецельность освещения, уже указанное отсутствие воздушной перспективы в левом углу картины, и весьма слабо написана правая часть, где помещены сами мученики.

Семирадский выбрал для своей картины весьма трудный момент — ранние сумерки. Солнце только что зашло; заря, как всегда на юге, скромна и бледна; тьма наступает быстро. Вся картина, все фигуры, все мраморы и украшения — все должно бы было быть подернуто серыми тонами наступающей темноты; золото не должно ярко гореть, драпировки не должны *кричать* своими яркими тонами.

Посмотрите, так ли это на «Светочах христианства»? День кончился, солнце зашло, справа видна потухающая заря, а между тем передний план картины очень хорошо освещен *почти от зрителя* белым дневным светом. Особенно резко видно это на белых драпировках и на сочетаниях ярких тонов между собою. Золото блестит, прав-

да, так, как оно не может блестеть ни у одного художника, но также и так, как оно не должно блестеть в таком сером свете сумерек; блестит, несмотря на искусственные сумерки, производимые занавесами, задернутыми во всей зале, где стоит картина.

Неверность освещения имела, конечно, огромное влияние на цельность всей картины и особенно на ее воздушную перспективу. Относительно последней грешат два места картины: часть лестницы, о которой уже было говорено, и группа черных рабов на площадке, несущих паланкин. Как толпа на лестнице, так и черные рабы как-то выделяются вперед изо всей картины.

Уходящее в глубь сцены здание, все из белого мрамора, с роскошными барельефами и статуями, не оставляет желать ничего лучшего.

Я упомянул в числе недостатков также и слабость правой части картины. Действительно, она по письму значительно уступает всей остальной картине, начиная от рабов-палачей и кончая зарею и тяжелого свинцового тона небом. Я не говорю о христианах, потому что они, а особенно седой старик прекрасны. Но рабы очень напоминают хорошие этюды с наших натурщиков, особенно один, с темной бородой, протянувший свой факел к жаровне. Небо, именно верхняя его часть, составляет самое слабое место картины.

Вначале я заметил, что картина производит впечатление путаницы, в которой весьма трудно разобраться. С этим, без сомнения, согласится всякий, кто увидит новую вещь Семирадского, но вряд ли можно вменить это в укор художнику. Мы не можем знать, вышла ли путаница фигур, драпировок и пр. от неуменья скомпоновать картину или она является следствием обдуманного намерения представить толпу как она есть, во всем ее беспорядке и пестроте. Я желал бы чтобы была справедлива вторая догадка, и надеюсь, что она верна. Я основываюсь на предыдущей большой картине Семирадского «Грешница», где Христос, грешница и стоящие около них фигуры составляют сильное и эффектное «пятно».

Март 1877 г.

Заметки о художественных выставках

Велика дерзость, с которою я, человек толпы, решаюсь говорить о живописи. Несколько лет тому назад в одной из больших газет было высказано мнение по поводу рецензий г. Стасова, что-де Стасов карандаша в руки взять не умеет, а с великим задором берется судить и рядить о произведениях пластических искусств. Положим, все правда; почтенный художественный критик сам не рисует и судит не без некоторого задора, что известно всем, посещающим выставки картин и желающим уяснить себе их достоинства или недостатки при помощи чтения трудов г. Стасова. Но тем не менее г. Стасов сорок лет, как о том свидетельствует превосходно исполненный нашими художниками адрес, выставленный теперь на акварельной выставке, пристально следит за искусством. Из самого тона его статей читатель может судить о степени его привязанности к нему. В качестве заведующего художественным отделом Публичной библиотеки В. В. Стасов десятки лет состоит в буквальном смысле слова заваленным всевозможными художественными произведениями. Понятно, ему и книги в руки во всем, что касается рисунка, лепки, колорита, линейной и воздушной перспективы и прочих таких вещей; понятно, что, следя за развитием нашей живописи еще с той поры, когда не было русской школы, когда начал работать первый русский живописец Федотов, и продолжая состоять в роли оберегателя и пестуна нашей живописи, в роли, исполняемой им с самоотверженностью цепного пса, готового растерзать всякого врага родной школы, Владимир Васильевич приобрел полное право судить и рядить, раздавать отметки, возводить картины в ранг перлов творения или объявлять их «гнилью» и жалкою мазнею. Прочтите адрес, о котором я говорил, и вы убедитесь, что и наши художники думают то же.

Мы, люди толпы, часто должны быть очень благодарны критикам, нас просвещающим. Но, кроме В. В. Стасова и двух-трех художественных критиков, большею частью безмолвствующих, у нас по этой части, что называется, хоть шаром покати. Газетные рецензенты, с карандашиком и каталогом бегающие от картины к картине и прислушивающиеся к мнениям знакомых и незнакомых художников, чтобы потом внести их отрывочные замеча-

ния на столбцы газет, в которых они кормятся, являются критиками более по какому-то странному недоразумению. Писать о картинах так легко: недурной колорит, но отсутствие жизненной правды; лепка портрета (и черт ее знает, что это за лепка такая! — думает критик) представляет собою явление невиданное; портрет г. Х. писан в репинских тонах; прибавил еще ракурсов там каких-нибудь да рассказал с грехом пополам содержание картины, и дело в шляпе. В редакциях газет художественная критика в полном загоне; сплошь и рядом мы видим в верхнем этаже газеты и в нижнем два совершенно противоположные отзыва об одном и том же произведении; это прямо указывает на то, что статьи художественных критиков никогда никем в редакциях не просматриваются. Важное дело — картины! Пускай их пишут об этих пустяках что кому угодно! И действительно, пишут! Один рецензент повторяет ошибки каталога, другой ухитряется приписать одному и тому же г. Невреву две картины: одну — его «Княгиню Юсупову», а другую — «Христос и грешница» Поленова. Перепутать фамилии, конечно, извинительно, но приписать картины двух мастеров, необыкновенно резко отличающихся своею художественною индивидуальностью, одному лицу — это указывает на выходящее из ряда вон отсутствие понимания дела.

И мы, толпа, читаем все это, и мы иногда даже основываем на подобных писаниях свои так называемые мнения. «Это хорошо, то плохо»,— говорим мы в полном убеждении, что наше отношение к художникам заключает в себе главным образом оценку их достоинств, и, заметьте, преимущественно технических. Мы не можем понять, что нашего мнения в технических вопросах никто не спрашивает, что художник сам всегда знает, что у него в технике слабо, что хорошо. Он не просит у нас отметки за рисунок, письмо, колорит и перспективу. Ему хотелось бы заглянуть в нашу душу поглубже и увидеть то настоящее, что мы так упорно скрываем, то впечатление, на которое он рассчитывал всею своею работою, не думая об контурах и колоритах, наше отношение к нему как *нехудожника к художнику*, ибо художник менее всего пишет для художников и присяжных критиков, а только для себя (в смысле потребности и удовлетворения ее) и для толпы.

Что такое толпа по отношению к художнику? Чем он отличается от нее? То, что я скажу, конечно, азбучная истина, но я считаю нужным сказать ее, ну хоть бы «для

перехода», и заранее прошу извинения у тех, кто скажет мне: да это мы очень хорошо и без вас знаем. Художник по сравнению с толпой есть человек, который лучше видит и может передать другим то, что он видит. Сколько тысяч людей проходит ежедневно перед драгоценнейшим материалом для художественного творчества, не замечая его или созерцая бессознательно. Первое, что думает каждый прочитавший или увидевший высокое создание искусства,— как это похоже, как это верно, как это знакомо, и тем не менее я в первый раз увидел это, сознал это. Художник увидел, понял, поставил перед глазами, и видят все, до сих пор слепые. Маленький слепой щенок, тыкающий мордочкой направо и налево и, растопырив слабые лапки, не находящий молока, когда чья-нибудь рука возьмет за шиворот и сунет его в блюдечко и он, успокоенный, начнет лакать молоко, должен чувствовать такую же благодарность, какую чувствует наше сердце, сердце человека толпы, открывающего новый мир чужими глазами и трудом. О, жалок был бы круг наших представлений, если бы мы были предоставлены только своим личным пяти чувствам и мозг наш перерабатывал бы только пищу, ими добытую. Часто один мощный художественный образ влагает в нашу душу более, чем добыто многими годами жизни; мы сознаем, что лучшая и драгоценнейшая часть нашего *я* принадлежит не нам, а тому духовному молоку, к которому приближает нас мощная рука творчества. Отсюда и благодарность, отсюда и

...сей фимиам пахучий,
Цветы и лавры...

которые мы подносим и которыми мы осыпаем людей, одаренных от бога властью раскрывать наше сердце и влагать в него новые миры.

Постараемся же, не мудрствуя лукаво о колоритах и прочем, оценивать не художника, не его картину, а наше впечатление от его произведения, то самое молоко, которым мы питаемся. Я решаюсь писать свои заметки именно потому, что надеюсь, насколько хватит сил, удержаться на этой точке зрения. Может быть, художники найдут интересным искреннее и возможно более полное выражение впечатления, производимого выражением их задушевных мыслей на одного из тысяч, толпящихся на выставках; мо-

жет быть, и мои собратья, люди толпы, проверяя свои личные впечатления другими, переданными здесь, уяснят себе что-нибудь, очистят свое впечатление и более полно воспользуются тем духовным материалом, который дают художественные произведения.

Выставка «Товарищества передвижных выставок» в этом году как-то особенно удачна. Трудно представить себе даже, чтобы искусство, едва вышедшее из пеленок, существующее как самостоятельная школа едва каких-нибудь тридцать лет, могло давать подобные выставки из года в год. Два капитальнейшие произведения этой выставки — плоды не одного года работы гг. Поленова и Сурикова; я не знаю, поспеют ли к будущему году крупные вещи, задуманные другими нашими мастерами. Говорю это к тому, что очень может быть, что будущая, XVI, выставка представит нам менее интересное и менее богатое мыслью собрание и что тогда непременно начнутся вопли, повторяющиеся из года в год, о падении русской живописи, похожие на неизменный припев, двадцать раз в год выпеваемый всею нашею печатью о падении русской беллетристики, припев, не умолкавший со времен Белинского, припев, под который окрепла, расцвела и выступила в первый ряд европейских художественных литератур и наша.

Как в одном, так и в другом случае забывают, что искусство живет не отдельными выставками и отдельными книжками журналов, а целыми эпохами и что двух-трех крупных вещей довольно, чтобы ярко осветить пять — десять лет его жизни.

> И вси людие идяху к нему; и сед учаше их. Приведоша же книжницы и фарисеи к нему жену... поставивше ю по среде... Учителю, сия жена ята есть ныне в прелюбодеянии. В законе же нам Моисей повеле таковые камением побивати: ты же что глаголеши? Сия же реша искушающе его.
>
> *(Ев. от Иоанна, гл. 8)*

I

Знойный южный день; солнце перешло за полдень и, бросая недолгие тени, ярко освещает преддверие иерусалимского храма с широкою каменною лестницею, ведущую

в сени, поддерживаемые колоннами красного порфира, с несколькими старыми, корявыми черно-зелеными кипарисами, возвышающими свои вытянутые, сжатые вершины в ясную синеву южного неба; справа виден бедный, опаленный солнцем восточный город, уходящий в гору. На дворе храма волнение. Только спешащий на работу в поле после полуденного отдыха крестьянин, взгромоздившийся на смиренного ослика вместе со своими кирками и мешками, да небольшая кучка людей, сидящая слева внизу у лестницы, не разделяют этого волнения. Несколько женщин и какой-то поселянин, пришедшие с провизией и клетками с птицей, может быть, для продажи, а может быть, и для жертвы, еще не поняли, зачем ворвалась в ограду эта шумная толпа, зачем она ведет какую-то женщину. Группа учителя с учениками полна спокойного ожидания. В бедных запыленных дорожных одеждах, в грубой обуви сидят они: юноша Иоанн, вперивший в толпу задумчивый взгляд, два брата Заведеевы с некрасивыми, но умными и сильными лицами; тут же и человек, носящий суму через плечо, с острыми, сухими чертами лица, с общим характером доктринерства, какое и владело его душой и погубило его,— казначей Иуда. Вблизи них и учитель. Он обернулся к разъяренной толпе, ведущей преступницу, и спокойно ждет вопроса предводителей.

Толпа передана художником живою. Он проник в самую сущность массового движения и выразил стадное чувство, большею частью преобладающее в нем. Большинство толпы — равнодушные, повинующиеся только этому чувству, которое велит бить — будут бить, велит плакать — будут плакать, велит кричать «осанна!» и подстилать одежды — будут сами ложиться под ноги грядущего. Они горят не своим огнем; все дало им общее возбуждение; как стадо овец, они готовы шарахнуться за первым, на кого более других подействует внешняя причина. Многие, быть может, и не знают, кого ведут и за что будут бить. Таков высокий флегматик, держащий преступницу за плечи и ведущий ее перед собою. Ведет, очевидно, не он, а нечто ему совершенно неизвестное, с чем он и не считается, о чем и не думает; он только старательно исполняет чужое веление и с добросовестностью современного полицейского тащит туда, куда, как он полагает, почему-то тащить следует. Тут и улыбающийся рыжий еврей; в его улыбке есть что-то двусмысленное; быть может, он накануне покупал ласки этой самой женщины-ребенка или по-

добной ей. Тут же и юноша, заглядывающий на нее с любопытством еще не проснувшейся страсти,— ему тоже суждено участвовать в грехе, подобном совершенному ей; сгорбленный старик с потухшим взором, покопавшись в своей памяти, найдет и свое участие в таких же делах. И все они ведут побивать ее камнями. Такова толпа.

Но видны в ней и иные лица: фарисей, разъяренный до последних пределов, готовый растерзать в куски сам, своей волей; другой, с восторгом слушающий, как два священника, выступившие вперед толпы, бешено кричат Иисусу: «Моисей повелел нам, а ты?» Он впился в них глазами и разделяет их радость и торжество: ненавистному бунтовщику, возмутившему стоячее болото мертвого закона, задан вопрос, который его погубит. Священники, составляющие центр картины, составляют и основу ее содержания. Привычная важность еще несколько сдерживает одного из них, высокого чернобородого с сильною проседью старца, но другой, рыжий, с одутловатым лицом, весь обратился в ненависть, дикую, безумную. Что для них бедная девочка! Не все ли равно, растерзают ее или останется она жива? Она почти не существует для них; вся сила их ненависти направлена на этого простого, спокойного человека, хладнокровно слушающего их вопли.

Что скажет он? Инстинктивно упираясь назад, конвульсивно сжав руки в кулак, стоит эта преступница-полуребенок, ожидающая казни или милости. Не знаю, намеренно или нет, но Поленов не сделал из нее главной фигуры. Быть может, для него не была важна сама жертва; быть может, главная задача его, превосходно выполненная, состояла именно в изображении толпы, о которой сейчас было говорено. Как бы то ни было, главные лица евангельского рассказа в картине не поставлены на первый план. Я не могу согласиться с толками о том, что грешница не похожа на грешницу, что Христа будто бы «искать надобно», что в его изображении художник потерпел полную неудачу. Не видим ли мы каждый день на наших улицах таких же грешниц, только что выступивших на путь греха, за который в библейские времена побивали камнями? Взгляните на грешницу Поленова; не то же ли это, беспрестанно проходящее перед нами, наивное лицо ребенка, не сознающего своего падения? Она не может связать его с горькою участью, ее ожидающею, быть растерзанной толпой, побитой камнями; она, как по-

павшийся дикий зверек, только жмется и пятится; и ее застывшее лицо не выражает даже ужаса. Мне кажется, оно так и быть должно.

Христос Поленова очень красив, очень умен и очень спокоен. Его роль еще не началась. Он ожидает; он знает, что ничего доброго у него не спросят, что предводители столько же и еще более хотят его крови, как и крови преступившей закон Моисеев. Что бы ни спросили у него, он знает, что он сумеет ответить, ибо у него есть в душе живое начало, могущее остановить всякое зло.

Поленов взял всю сцену, как она, по его представлению, должна была быть. Это не группа с театральных подмосток, где есть главные персонажи, тщательно одетые и загримированные, с художественно выраженными чувствами на лицах, и есть толпа статистов, одетых с чужого плеча, нелепо расставивших руки и ноги и еще более нелепо и нецелесообразно корчащих шаблонно-актерскую гримасу.

Скажу еще два слова о всей картине. Она ласкает глаз зрителя прелестью освящения, живым расположением сцены и интересными подробностями. Она красива и интересна даже и для того, кто не захочет найти в ней внутреннего содержания или не сможет найти его. Взгляните на фигуры заднего плана, на нищего калеку, усевшегося на лестнице, на важного священника, которому какой-то левит менее важного ранга докладывает о случившемся, на выступившего впереди всей картины терпеливо-добродушного ослика, прищурившего глаза и развесившего мохнатые уши. Одна его морда, вырезанная из полотна, могла бы под названием «Портрет осла» служить украшением иной выставки. Необыкновенно приятное впечатление производит также отсутствие сухой академической условности в одежде действующих лиц. В картине нет ни одной, что называется, драпировки; все это настоящее *платье*, одежда; и художник, пристально изучивший Восток, сумел так одеть своих героев, что они действительно носят свою одежду, живут в ней, а не надели для подмосток или для позирования перед живописцем.

Картину купил государь. Если решено, как говорят, поместить ее в Эрмитаже, то его посетителям будет оказана большая услуга.

II

Другая крупная по размеру и по содержанию картина выставки — «Боярыня Морозова» Сурикова. Опять толпа и опять преступница. Но преступница — не робкая, запуганная девочка, а женщина в полном сознании своей правоты и силы, и толпа не разъяренная, готовая растерзать, а толпа созерцающая, свидетельница подвига.

Одна из знатнейших боярынь своего времени[1], уже во время немилости к ней царя Алексея Михайловича назначенная говорить «царскую титлу» на свадьбе его с Н. К. Нарышкиной, то есть занимать первое среди боярынь место в царском свадебном чине, вдова брата знаменитого друга царя Михаила, воспитателя царя Алексея, в течение всей его молодости бывшего правителем государства,— скованная по рукам, брошена в убогие дровни, не прикрытые даже рогожей, и под караулом стрельцов отправлена в тюрьму (Печерский монастырь). Что могла сделать эта женщина? За что ее вытащили на всенародный позор?

Она сама говорит нам это. Высоко подняв гордую голову с полубезумным выражением экстаза, она широко размахнула руками, скованными железами, и, подняв правую, сложила ее двуперстным знамением. «Тако крещусь, тако же молюсь!» — восклицает она. Что для нее эти «юзы»! Когда за несколько лет перед тем близкий человек говорил ей о том, что, навлекая гнев царя, она может погубить своего маленького сына, «красоте которого сколько раз государь, и с царицею, удивлялись» («а ты его ни во что полагаешь!»), она ответила : «Христа люблю более сына. Вот что прямо вам скажу. Если хотите, выведите моего сына Ивана на пожар и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы я отступилась от веры... не помыслю отступить благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную!»

Она была ревнительницей древлего благочестия. Два перста, «Исус» были святыней души ее вместе со старым складом жизни по идеалам домостроя, душным, темным, в который в ту эпоху едва лишь начал проникать свет настоящей человеческой жизни. Как пчелы замазывают воском и узо́ю всякую лишнюю щель в своем улье, так и она

---

[1] «Домашний быт русских цариц» Забелина, с. 105—148. (*Примеч. В. М. Гаршина.*)

стремилась схорониться от света; завела в своем доме обитель из пяти стариц, приют для всевозможных нищих и юродивых, радовалась, «зря в нощи на правиле себя с ними стоящую»; сама постриглась и отдала себя под начало некоей матери Мелании, женщине, как видно, тупой, бесконечно ниже ее стоящей, отдала, ибо «зело желаше несытною любовию иноческого образа и жития».

Протопоп Аввакум был верным ее другом и наставником. Другие ревнители старой веры поддерживали и подкрепляли ее. Интересны советы их, служившие ко спасению души. «В нощи восстав, соверши *триста* поклонов и *семьсот* молитв... В вечеру меру помни сидеть; поклоны, егда метание по колену твориши, тогда главу впрямь держи; егда же великий прилучится, тогда главою до земли; и нощно *триста* метаний на колену твори. Егда совершиши *сто* молитв, стоя, тогда слава и ныне, аллилуя и тут три поклоны великие бывают» и т. д. и т. д. И она прилепилась сильною, но темною душою к этому миру поклонов, где истинными героями являлись люди, подобные юродивому Федору, который «час, другой полежит (ночью) и встанет, тысячу поклонов отбросает... а иное стоя часа с три плачет». «Много добрых людей знаю, а не видел (такого) подвижника»,— говорит про него Аввакум[1]. «На Устюге пять лет беспрестанно на морозе бос, в одной рубашке, я сам сему самовидец». Сам Федор говорил: «Как от мороза в тепле том станешь, батюшка, отходить, зело в те поры тяжко бывает: по кирпичью тому ногами теми стукаешь, что каганьем; а наутро опять не болят».

Что же это за удивительная жертва, чему она приносится? Велика была ее потребность, и не было ей исхода. Не было живой жизни, широко раскрывшей бы перед Федосьей Прокопьевной свои объятия, куда бы она могла отдать свою деятельную любовь, страстность, энергию и самоотречение. Как в темном ящике жили люди, создавая себе искусственный, призрачный мир привязанностей. Все они говорили о Христе, но под «Христом» подразумевалось только бессмысленное сложение перстов да надобность «отбрасывать» тысячи поклонов и отмораживать свои ноги до того, чтобы они «по кирпичью стукали». Слабые лучи света новой жизни беспокоили этих мучеников для мученичества; они видели, что их призраки бледнеют, а когда

---

[1] Житие Аввакума. Изд. Тихонравова, с. 81, 82. (*Примеч. В. М. Гаршина.*)

засияет этот свет, считавшийся ими дьявольским наваждением, то и совсем исчезнут, а в жертву этим призракам было уже принесено много, так много, что они не могли не сделаться драгоценными. И они ненавидели этот свет, похищавший их сокровище. И на картине Сурикова, и в действительности бедная женщина столько же ненавидела вражий мир, сколько любила свои призраки.

Она кончила жизнь, не уступив ни на йоту. На «увещаниях» она держала себя так, что ей сказали: «после того ты не Прокопьева дочь, а бесова дочь». Она радовалась, когда ее подняли на дыбу, и говорила: «Вот что для меня велико и поистине дивно: если сподоблюсь огнем сожжения в срубе на Болоте. Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала».

Ее сослали вместе с сестрою, разделившею ее подвиг, в Боровск. Тут, в гнилой земляной тюрьме, она скончалась почти от голода. В полном изнеможении она просила караулившего ее стрельца: «Очень изнемогла я от холода и хочу есть. Помилуй меня, дай мне калачика». — «Боюсь, госпожа»,— ответил стрелец. «Ну, хлебца».— «Не смею». «Ну, мало сухариков».— «Не смею».— «Ну, принеси мне яблоко или огурчиков». Стрелец не смел ничего дать ей. «Добро, чадо! Благословен бог наш, изволивый тако! Если невозможно тебе это, то сотвори последнюю любовь: убогое это тело мое покройте рогожкой и положите меня подле сестры неразлучно». Умирая, она просила вымыть ей сорочку. Воин взял ее и снес на реку и там, «моя водою малое это платно, лицо свое слезами омывал, жалеючи боярыню».

Так кончила жизнь вельможная жена, владетельница 8000 душ крестьян и имения, оцениваемого на наши деньги в несколько миллионов.

Картина Сурикова удивительно ярко представляет эту замечательную женщину. Всякий, кто знает ее печальную историю, я уверен в том, навсегда будет покорен художником и не будет в состоянии представить себе Федосью Прокопьевну иначе, как она изображена на его картине. Так Грозного трудно вообразить в иной телесной оболочке, чем та, какую придали ему Антокольский и Репин. Изможденное долгим постом, «метаниями» и душевными волнениями последних дней лицо, глубоко страстное, отдавшееся одной бесценной мечте, носится перед глазами

зрителя, когда он уже давно отошел от картины. Толкуют о какой-то неправильности в положении рук, о каких-то неверностях рисунка; я не знаю, правда ли это, да и можно ли думать об этом, когда впечатление вполне охватывает и думаешь только о том, о чем думал художник, создавая картину об этой несчастной, загубленной мраком женщине.

Толпа Сурикова, само собою разумеется, не так живописна, как толпа Поленова. Она одета не в грациозные библейские костюмы, она не залита южным солнцем и расположена не перед входом в знаменитый, прекрасный храм, а теснится на сугробах снега, на узкой московской улице, среди странных маленьких построек, расписанных с причудливостью неразвитого вкуса. Но грубые московские люди, в шубах, телогреях, торлопах, неуклюжих сапогах и шапках, стоят перед вами как живые. Такого изображения нашей старой, допетровской толпы в русской школе еще не было. Кажется, вы стоите среди этих людей и чувствуете их дыхание.

Художник ясно показал отношение тогдашнего люда к непокорной боярыне. Тут есть и свои, и чужие, и равнодушные. Из своих первая — сестра Морозовой, кн. Авдотья Прокопьевна Урусова, с плачем идущая рядом с санями, в которых влекут сестру. Тут и другие явные сторонники старой веры: странник с котомкой и нищая старуха с сумой, стоящая на коленях, не скрывающие своего сочувствия к пленнице; и превосходно задуманная и выполненная фигура юродивого, сидящего босиком и в рубище на снегу. Это не Федор, который в то время уже был повешен, но один из подобных ему. Его багровые от мороза, скрюченные ноги, полунагое тело, едва прикрытое грязным рваным рубищем, тяжкие вериги, воспаленные, гнойные глаза, облыселая голова без шапки, повязанная платком, возбуждают сострадание и ужас. Он, так же как и Морозова, выставил общее им знамя: сложил руку двуперстным знамением и показывает его ей, как бы говоря: «так, так, государыня! обличай блудню еретическую». Глубокую жалость возбуждают эти несчастные, гибнущие из-за призраков!

Кроме этих людей, никто не смеет выразить своего сочувствия так открыто и смело. Женщины большею частью молчат; горько пригорюнившись, стоит богатая старуха; испуганно выглядывают монахини, быть может, те изгнанные инокини, которых приютила в дому своем мученица;

только не видно между ними старицы Мелании. Она умеет только учить смирению и посту, грозит потерею спасения и не попадает ни на виску, ни в гнилую боровскую тюрьму. Есть в толпе и равнодушные, совсем посторонние: татарин, глазеющий на зрелище, иностранец в чудной шапке, вдумчиво смотрящий на странную, мало понятную ему сцену. Несколько мальчиков, тоже прибежавших посмотреть на увоз боярыни, представляют собою замечательное разнообразие и типов и отношения к зрелищу. С жадным любопытством бежит один из них, размахивая как-то всем телом, одетым в нагольный тулуп, и ногами, обутыми в бархатные шитые сапоги; его лица не видно, но зрителю ясно, что это зевака, который ни за что не пропустит интересного зрелища. В другом зашевелилась мысль; он уперся глазами в лицо этой странной женщины, выкрикивающей свое исповедание; трудно понять ему, в чем именно дело, но он чувствует, что оно идет о правде и неправде, и родившаяся мысль растет; превосходно выразил это художник. Невольно, смотря на этого мальчика, думаешь о том, что он будущий сподвижник только что родившегося тогда Петра. Тут и третий, невинно скалящий зубы, потому что видит, что другие смеются. А смеются многие. Смеется мужик, везущий боярыню и замахнувшийся вожжами на лошадь, медленно выбирающуюся из сугробов; смеется боярин, смеется и поп. Ему, может быть, и нет дела до того, как слагать персты: он крестился так, как повелели великий государь и святейший патриарх. Он оскалил беззубый рот и ехидно усмехается, глядя на бунтовщицу.

Я должен признаться, что, по моему мнению, в изображении этого попа художник не совсем прав. Очевидно, он не любит этого попа, он немного даже подчеркивает: смотрите, подлый человек рад насилию. Так задуманный, поп выполнен необыкновенно живо и хорошо. Но если разобрать хорошенько, кто был настоящим, *внутренним* насильником, то окажется, пожалуй, что не угнетающие. О, дайте этой Морозовой, дайте вдохновляющему ее, отсутствующему здесь Аввакуму власть — повсюду зажглись бы костры, воздвиглись бы виселицы и плахи, рекой полилась бы кровь, и бездушные призраки приняли бы многую жертву. Аввакум, и не имея власти, находил возможность учить «лаею» и жезлом и стегал ремнем несогласных с ним в самой церкви. Что же бы сделал он на месте патриарха и тихого царя, доведенного до измора, выведенного из терпения упорством женщины, которую и

он, в челе всего московского общества, ценил и уважал и которую он только после больших нравственных терзаний послал на освященную веками, неизбежную виску?

Да, велика сила слабости! Какая бы дикая, чуждая истинной человечности идея ни владела душой человека, какие бы мрачные призраки ни руководили им, но если он угнетен, если он в цепях, если его влекут на пытку, в заточение, в земляную тюрьму, на казнь,— толпа всегда будет останавливаться перед ним и прислушиваться к его речам; дети получат, может быть, первый толчок к самостоятельной мысли, и через много лет художники создадут дивные изображения его позора и несчастия.

Выставка открылась так недавно, а срок выхода книжки журнала так близок, что мне приходится отложить беседу о других картинах передвижной выставки, а также и об академической выставке до апреля.

1887

«Талант — человеческий»

Эти слова Чехова точно определяют самую сущность Гаршина — человека и писателя.

Всеволод Михайлович Гаршин принадлежит к тем представителям русской литературы, чье творчество и личность связаны с одной из самых мрачных эпох в истории России — концом 70-х—80-ми годами XIX века. Терпела крах утопическая теория народников, «хождение в народ» оказалось, в сущности, бесплодным и, потребовав многих жертв, привело его участников к пессимизму и безверию. Террористические акты народников вызвали в ответ жесточайшую правительственную реакцию. Времена были такие, что даже люди, придерживающиеся весьма умеренных политических взглядов, писали со страхом и возмущением: «Если бы мы не были им свидетелями, мы едва ли бы могли верить, что все это происходило именно так, как это было на деле» [1]. Гибель лучших, частые случаи ренегатства, отсутствие видимых путей к улучшению общественного положения России — такой была эпоха, породившая творчество Гаршина, эпиграфом к которому могли бы служить его собственные слова, вырвавшиеся в минуту отчаяния: «Что у нас делается!..» [2]

Все его произведения были, можно сказать, воплем отчаяния честного, правдивого писателя, который не мог равнодушно взирать на то, что происходило в России. Не ведая истинных путей социального освобождения народа, Гаршин выразил в своем творчестве острое чувство ненависти к его поработителям и неизбывную веру в возможность и необходимость иной, более совершенной действительности. Страстное, проникнутое глубокой болью художественное слово Гаршина было восторженно встречено современными ему читателями и по достоинству оценено такими писателями, как Лев Толстой и Щедрин, Тургенев и Глеб Успенский, Чехов и Короленко.

---

[1] Чичерин Б. Н. Воспоминания. Земство и московская дума. М., 1934, с. 324.

[2] Гаршин В. М. Полн. собр. соч. Письма. М.; Л.: Academia, 1934. Т. III, с. 174. Далее ссылки на это издание даются сокращенно: Письма.

Опираясь на реалистические традиции русской литературы, Гаршин сумел вписать в ее историю и свою собственную, достаточно приметную страницу.

I

Он родился 2 (14) февраля 1855 года в имении своей бабушки по матери Приятная Долина Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Его ранние годы прошли в маленьком городке Старобельске. Отец Гаршина, Михаил Егорович, был офицером. Человек гуманный, мягкий, он, служа в армии, имел репутацию доброго и справедливого командира. В быту, впрочем, он не лишен был некоторых странностей и не сумел наладить своей семейной жизни. Мать Гаршина, Екатерина Степановна, оставила мужа, увлекшись воспитателем своих сыновей П. В. Завадским, участником харьковского революционного кружка. По доносу отца Гаршина Завадский был арестован и сослан, несколько раз производились обыски и у Екатерины Степановны. В доме было тяжело. «Некоторые сцены,— вспоминал Гаршин,— оставили во мне неизгладимое воспоминание и, быть может, следы на характере. Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило свое начало в эту эпоху». Гаршину шел тогда пятый год. Мать со старшими сыновьями уехала в Петербург, Всеволод остался в деревне с отцом. Много позже, в рассказе «Ночь», он написал об этом времени несколько автобиографических строк, которых никогда не могла простить ему его мать,— строк, с любовью обращенных к памяти отца.

Летом 1863 года мать увезла Всеволода в Петербург. Из уединенной, тихой обстановки мальчик попал в совсем небогатую, но шумную, никогда не пустовавшую петербургскую квартиру: Екатерина Степановна любила людей и умела собрать их вокруг себя. Гаршин поступил в гимназию. Мать вскоре уехала в Харьков, оставив его сначала на старших братьев, а потом, после гимназического пансиона, в знакомой семье Афанасьевых.

Десять лет провел Гаршин в гимназии, два года проболев (у него впервые начинают проявляться симптомы душевного заболевания) и один раз оставшись в том же классе еще на один год. В гимназии Гаршин начал писать фельетоны, стихотворения, участвовал в гимназических изданиях. В последний год пребывания Гаршина в гимназии она была преобразована в реальное училище, а окончившие училище по законам того времени не могли быть приняты в университет. Гаршин, увлекавшийся естественными науками, хотел поступить в медико-хирургическую академию, но новым постановлением был лишен и этой возможности. В 1874 году он стал студентом горного института.

Это было время невиданной до тех пор в России общественной активности студенческой молодежи: почти все высшие учебные заведения были охвачены революционным брожением, жестоко подавлявшимся, все важнейшие вопросы времени проходили через сердца и головы молодежи.

Гаршин не находился в гуще событий, для него это был период мучительных поисков своего пути в жизни. 26 ноября 1874 года, вскоре после волнений в горном институте, в связи с которыми двести человек исключили и полтораста сослали по этапу, Гаршин писал матери: «С одной стороны власть, хватающая и ссылающая, смотрящая на тебя, как на скотину, а не на человека, с другой —

общество, занятое своими делами, относящееся с презрением, почти с ненавистью... Куда идти, что делать? Подлые ходят на задних лапах, глупые лезут гурьбой в нечаевцы и т. д. до Сибири, умные молчат и мучаются. Им хуже всех. Страдания извне и изнутри. Скверно, дорогая моя мама, на душе» [1].

В студенческие годы становится более интенсивной творческая работа Гаршина. Он пишет стихи, а в 1876 году впервые в печати появляется его очерк «Подлинная история Энского земского собрания». Здесь нарисована едкая сатирическая картина нравов земских либералов. Пустое краснобайство, показная забота о крестьянстве, которому из-за неурожая угрожает лютый голод, скрывают полное равнодушие земских деятелей, в большинстве своем состоявших из помещиков и купцов, к нуждам народа. Ничтожные заботы, одолевающие почтенных членов земского собрания, еще более оттеняют трагическое положение крестьян Энского уезда. Этот схваченный словно с натуры очерк обладал весьма значительной силой художественного обобщения, и сатирический темперамент, каким был пронизан этот очерк, предвещал молодому Гаршину возможность серьезных творческих свершений.

В те же годы Гаршин сближается с группой молодых художников. Горячее и заинтересованное отношение Гаршина к вопросам искусства побудит его написать ряд статей о живописи, объединенных размышлениями о сути деятельности художника, о назначении искусства.

Одним из сильнейших художественных впечатлений тех лет была выставка картин известного русского живописца-баталиста В. В. Верещагина. Гаршин был потрясен изображением военных сцен. В стихотворении, посвященном картинам Верещагина, он писал:

Я не увидел в них эффектного эскизца,
Увидел смерть, услышал вопль людей,
Измученных убийством, тьмой лишений...

Вскоре Гаршину самому пришлось принять участие в том, что вызвало у него такой ужас и отвращение.

II

На протяжении многих веков Оттоманская империя была очагом агрессии и насилия, жертвой которых стали в разное время Армения, ряд арабских стран, а также Балканы. Веками продолжавшаяся освободительная борьба народов стала в XIX веке приносить свои плоды. В 70-х годах наступил час освобождения Болгарии, Сербии, Черногории. Огромную роль сыграла в этой борьбе Россия, добровольческие отряды которой двинулись на помощь братским народам южных славян.

В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции, и Гаршин идет добровольцем в действующую армию. «...Я не могу,— пишет он матери,— прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники

---

[1] Письма, с. 23.

лбы и груди подставляют под пули» [1]. Гаршина зачислили рядовым 138-го Болховского пехотного полка. Здесь, на войне, он глубоко постиг характер простого русского человека, его героизм и самоотверженное служение идеалам братства. Сам изнывающий под гнетом у помещика, а в армии притесняемый и оскорбляемый господами офицерами, русский крестьянин в солдатской шинели являл собой пример душевной стойкости и красоты духа. Здесь, на войне, Гаршину еще нагляднее открылись социальные противоречия русской действительности, трагическая рознь между рядовыми солдатами, воплощающими страдающую и угнетенную народную Россию, и противостоящим им офицерством, в котором представал весь правящий монархический, помещичий строй. Говоря о горестных, тяжких впечатлениях от войны, Гаршин сообщал матери: «Что хотелось бы передать, то можно передать только лично» [2].

В сражении под Аясларом он был ранен в ногу, долго лечился и по выздоровлении вышел в отставку. Так выглядела с внешней стороны короткая военная карьера Гаршина. Но ее внутренний результат был весьма значителен. Война и вызванные ею впечатления стали одною из главных тем творчества Гаршина. Еще находясь в армии, Гаршин начинает писать рассказ «Четыре дня». Закончив в Харькове во время выздоровления, посылает его в журнал «Отечественные записки».

Смысл рассказа сложен: он не только в прямом осуждении войны, но еще в горестном сознании трагической неустроенности жизни, повсеместного торжества зла. Эти две темы постоянно пересекаются. Война предстает как ужас, как выражение всеобщего бедствия, царящего на земле, как нечто противостоящее разуму, здравому смыслу. Вначале герой рассказа захвачен общим делом, войной. Его как личности нет, нет и врага как человека, о нем еще можно сказать, убив его: «*что-то* (курсив мой.— *С. М.*) не то зарычало, не то застонало».

Но вот герой ранен, он не может двигаться, ему принадлежит теперь «только маленький кусочек земли» и небо над ним, а на этом кусочке их двое: он и убитый им враг. Вода, оставшаяся во фляге убитого, может спасти того, кто его убил. За что же и почему они хотели смерти друг другу? Теперь, когда они лежат рядом, раненый понимает то, чего не понимал раньше: он убил человека, который был чьим-то сыном, работником, кормильцем. «Он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками». Неужели весь смысл того, что сделал он, Иванов, на войне, только в том, что им совершено это убийство? Война предстает как цепь бессмысленных действий, большинство ее участников «остались бы дома, если бы им позволили». Но ведь сам-то Иванов пошел на войну в числе «сознательных»! Значит, видел смысл, который ускользает от него сейчас, в предсмертных размышлениях? Сравнима ли его возможная смерть со смертью собачки, попавшей под вагон конки и добитой дворником? Война — это «скелет в мундире» или это еще и «добрые голубые глаза» ефрейтора, радующегося, что спас товарища? Гаршин не отвечает на эти вопросы в «Четырех днях», но он снова и снова ставит их в своих произведениях, посвященных войне. Так

---

[1] Письма, с. 116.
[2] Письма, с. 137.

или иначе, весь рассказ «Четыре дня» пронизан ненавистью к войне — бессмысленной и жестокой, губящей ни в чем не повинных людей и не могущей решить ни одной важной социальной проблемы. Рассказ имел потрясающий успех и сразу же сделал имя его автора широко известным.

В «Четырех днях» уже проявилось присущее творчеству Гаршина обостренное чувство человечности, раскрылась та особенность таланта Гаршина, которая была отмечена Чеховым. В его новелле «Припадок» о студенте Васильеве, прообразом которого послужил Гаршин, мы читаем: «Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особенный талант — человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще». Это свойство таланта Гаршина и заставило его обратиться к одной из самых острых социальных тем — проституции.

Рассказ «Происшествие», появившийся в печати в 1878 году, не был первым в русской литературе обращением к данной проблеме, демократическая литература уже создала определенную традицию в подходе к этой «общественной язве». Гаршин в целом остается в русле традиции. Однако его героиня — не типичное порождение своей среды, она много выше ее. Судьба этой женщины — трагедия человека незаурядного, оказавшегося в более чем заурядных обстоятельствах. В сущности, как показывает Гаршин и как думает сама героиня, Надежда Николаевна, нет большой разницы между проституцией и многими-многими браками, заключенными из соображений, весьма далеких от любви. Потому и невозможен для Надежды Николаевны брак с Никитиным: она не любит его и не верит, что подобный союз был бы спасителен для нее. Мало того. Поначалу ее отношение к Никитину скептическое, полупрезрительное: ведь из тех, кого она встречает, «почти всякий», «кроме совершенно привыкших или очень умных», непременно говорит о том, «нельзя ли как-нибудь уйти от подобной жизни». Случай с Никитиным потому и «происшествие», что он за те же слова заплатил жизнью. Вот почему она, которая безнадежно думала: «Как это скучно и глупо! Ведь все равно не выберусь никуда, не выберусь просто потому, что сама не захочу»,— кричит, осознав, что Никитин погиб: «Господи, удержи его! Господи, оставь его мне!»

Героям Гаршина не дано возможности исправлять ошибки и быть счастливыми. Максималистский подход к жизни, накал больших страстей, беспощадность в решении судеб героев — характернейшая черта творческого метода этого писателя. К Гаршину могут быть отнесены слова Г. И. Успенского о писательском труде: «Хочу терзать и мучить читателя потому, что эта решимость даст мне со временем право говорить о насущнейших и величайших муках, переживаемых этим самым читателем...» [1] Но не менее мучился и сам Гаршин. Характерно его собственное признание: «Писатель страдает за всех, о ком пишет» [2].

Вопросы, которые решают герои произведений Гаршина, всегда важные, всегда те, которые определяют их судьбу. В рассказе «Трус» таким вопросом становится отношение к войне.

Человек и война. Рассказ ведется от первого лица, лишь в финале в повествование вступает автор. Такая структура придает

---

[1] Успенский Г. И. Собр. соч. В 9-ти т. М.: Гослитиздат, 1956. Т. 6, с. 58.

[2] Памяти Гаршина. Сборник. Спб., 1889, с. 141.

рассказу особенный драматизм. Повествование начинается смятенной фразой: «Война решительно не дает мне покоя».

Рассказчик не может воспринимать происходящее на войне отвлеченно, за цифрами сводок об убитых и раненых перед ним встают реальные люди. Война представляется ему кошмаром, которому никогда не будет конца: «...нынешняя война — только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры». Ничто не может освободить от участия в войне — ни ум, ни доброта, ни духовная свобода.

Рассказчик осознает, что простым отрицанием войны проблема еще не будет решена, и он уточняет свою позицию: «Я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущаемым массою пролитой крови». Герой рассказа не трус, как назвали его в пустом разговоре, он не боится смерти, он только хочет понять, зачем эти страдания. И для того чтобы можно было понять, Гаршин вводит в рассказ еще одну сюжетную линию: смерть от гангрены влюбленного, полного жизни человека — студента Кузьмы. «Смерть всегда будет смертью,— размышляет рассказчик,— но умереть среди близких и любящих или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют или наедут пушки и раздавят, как червяка...» Ужасна смерть даже одного человека, даже умершего в спокойной домашней обстановке, как же должна быть ужасна смерть тысяч вдали от дома и близких!

«Непосредственному чувству» рассказчика противостоит, однако, другое восприятие той же проблемы. Марья Петровна, героиня рассказа, также не может ничего сформулировать логически, она понимает, что «война — зло», но она сознает и другое: «Война есть *общее* горе, *общее* страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится». Не нравится, потому что прекратить войны совсем она не видит способа, а не участвовать в том, что представляется ей и неизбежным и всенародным страданием,— это предательство по отношению к другим людям: ведь «если не пойдете драться вы, возьмут другого».

Конкретное представление рассказчика о войне сталкивается с позицией Марьи Петровны, и на первый план выдвигается в результате мысль о личной ответственности: если не пойдет один, то пойдет другой, точно такой же человек, так же заключающий в себе целый мир, как он, как только что умерший Кузьма. Тогда по какому же праву другой, а не ты? Решение проблемы войны должно быть глобальным,— логикой рассказа убеждает Гаршин. Если же она решается на уровне отдельной личности, неизбежно возникает проблема индивидуальной ответственности человека. И рассказчик идет на войну. «Огромному, неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить»,— так воспринимает он свое решение.

Закончена лирическая, напряженная часть «Труса», мы больше не слышим рассказчика. Он слился с солдатской массой, и лишь позднее мы узнаем о его гибели.

III

Многие свои произведения Гаршин публиковал в «Отечественных записках», во главе которых в те годы стоял М. Е. Салтыков-Щедрин. Вплоть до апреля 1884 года, когда журнал был запрещен за то, что он «...не только открывает свои страницы распространению

вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ»[1]. «Отечественные записки» оставались для Гаршина самым почитаемым периодическим изданием. Во многом не разделяя направления его идей, Гаршин тем не менее ощущал свою духовную близость к этому журналу, на страницах которого правдиво и честно освещались важные и больные проблемы современной общественной жизни. В «Отечественных записках» появились его рассказы: «Встреча», затрагивающий один из самых острых вопросов времени — о зарождающемся капитализме в России, и «Художники», наиболее обнаженно отразивший взгляды писателя на искусство.

В первом из них мы становимся свидетелями поразительной метаморфозы, которая случилась с человеком, потерявшим всякий человеческий облик, в результате того, что он поддался соблазнам буржуазной морали и превратился в хищника-накопителя.

Случайная встреча в большом южном городе двух бывших школьных товарищей не предвещает в развитии сюжета никаких острых коллизий. Встретились бедный гимназический учитель и разбогатевший на казнокрадстве инженер. По-разному сложились их судьбы. Горный инженер Кудряшов не только разбогател, но и пытается возвести свое поведение и свой взгляд на мир в некий обязательный принцип жизни. Он то и дело высказывает сентенции, в коих сразу же угадывается социальный и духовный облик этого человека: «Сила в деньгах, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю... Захочу тебя купить — и куплю», «Все вокруг, самый воздух и тот, кажется, тащит». Глядя на рыбок в своем аквариуме, Кудряшов вразумляет своего бывшего приятеля: «Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не так, как наш брат — человек. Жрет друг друга и не конфузится». Сильно и выразительно раскрывает Гаршин ужасающий лик буржуазно-собственнического мира и его морали.

Но художественный замысел рассказа отнюдь не сводится лишь к обличению Кудряшова. В поле зрения писателя и другой герой — Василий Петрович. И странное дело, этот тихий, смиренный учитель не вызывает никакой симпатии. Он честен и благороден, никогда не творил гадостей. Но недостает ему активного противодействия злу. Кудряшовы тем и сильны, что окружены такими слабыми духом людьми, как Василий Петрович.

Рассказ Гаршина появился в 1879 году, в самый разгар духовного кризиса Льва Толстого, в процессе которого окончательно сложилась его теория непротивления злу насилием, получившая тогда философское обоснование и затем довольно широкое распространение. Гаршин сам по себе вовсе не был активным политическим бойцом, но вместе с тем как гражданин и художник он хорошо понимал несостоятельность толстовской теории непротивления, и образ учителя Василия Петровича в рассказе «Встреча» — убедительное тому свидетельство.

В том же 1879 году появляется рассказ «Художники».

По своей структуре это произведение несколько напоминает предшествующее. Сюжет строится на противопоставлении двух характеров, выражающих совершенно различные жизненные позиции.

Дедов и Рябинин. Два различных подхода к искусству, две разных творческих судьбы. Для талантливого Дедова цель искус-

---

[1] «Правительственный вестник» от 20 апреля 1884 г., № 87.

ства — воссоздание красоты. Он рисует яличника, удалого и красивого парня. Тот устал, и Дедов досадует: «Складки рубахи совсем пропали». Все, в том числе и человек, для Дедова только «натура», более или менее прекрасная. Рябинин же даже профессионального натурщика воспринимает прежде всего как человека. Он поглощен мыслью об общественной, социальной роли искусства.

Противопоставлением Дедова и Рябинина Гаршин сразу же определяет различие не только человеческих индивидуальностей, но и творческих, потому что если художник умеет видеть человека, то его искусство не может быть равнодушным и бесстрастным. Для Рябинина смысл искусства в «хорошем влиянии хорошей картины на человека». Искусство должно быть действенным. «Глухарь», которого он написал, не просто картина, «это — созревшая болезнь». Рябинин вложил в свое полотно всего себя, и он чувствует, что «ничем уже не подействует так, как этим глухарем, если только подействует...».

Трагедия Рябинина, однако, в том, что он не верит до конца в силу общественного воздействия искусства и, сочтя свой труд художника бесполезным, не полагает себя вправе больше заниматься им и уходит в учительскую семинарию. Из сохранившегося отрывка ранней редакции «Художников», да и из замечания в финале рассказа самого автора, мы узнаем, что и на новом пути Рябинин «не преуспел». Впрочем, мудрено было бы преуспеть...

Обращает на себя внимание, что общий тон большинства рассказов Гаршина пессимистичен. Противоборство света и тьмы, правды и лжи, добра и зла почти всегда кончается в его рассказах трагически. Сказалась здесь определенная ограниченность, узость мировосприятия писателя, его неспособность осмыслить современную жизнь в исторической проекции и перспективе.

Почти одновременно с «Художниками» Гаршин написал сказку о пальме — «Attalea princeps». Сказка символически выражает безоглядное стремление к свободе и разочарование в ней. Пессимизм финала этого произведения не мог быть принят многими передовыми людьми России, готовыми отдать свою жизнь за свободу народа и страстно верившими в его великое будущее. Критически отнесся к рассказу Салтыков-Щедрин. Но среди вольномыслящей русской молодежи 80-х годов было немало и таких, которые с восторгом встретили эту сказку, ибо для них гордая и свободолюбивая пальма стала как бы символом их собственной жизненной судьбы. Пальма радуется своей избранности, но она и других звала бороться за свободу. «Нужно только работать дружнее, и победа за нами», — убеждала она обитателей оранжереи. Никто, кроме слабой травки, не отозвался, тогда и решила пальма: «Я и одна найду себе дорогу».

Аллегорический строй этой сказки отражал характерную примету того времени: гибель народнических иллюзий и упования на подвиг отдельных героев. «Attalea princeps», по словам Короленко, «звучит пророчеством Кассандры»[1]. Но она воспринималась и как призыв к борьбе. «На днях,— писала своей матери из заключения Э. Л. Улановская, современница Гаршина, участница народовольческого движения,— у меня была новая книжка журнала с «Attalea princeps» Гаршина. Я с нетерпением ждала свидания, скорей хотелось поделиться впечатлением от этой изящной вещицы. Мамочка,

[1] Короленко В. Г. Собр. соч. В 10-ти т. М.: ГИХЛ, 1955. Т. 8, с. 237.

прочтите непременно и вы; не жалейте прекрасную пальму... пожалейте эту маленькую бедную травку, у нее не было силы выбиться из тюрьмы хотя бы перед смертью» [1].

Между тем душевное состояние Гаршина к 1879 году ухудшилось, все чаще и чаще находили на него приступы тоски. Зимой 1880 года он пишет рассказ «Ночь». Рассказ этот не принадлежит к лучшим созданиям Гаршина, но настроения и чувства многих своих современников писателю выразить удалось.

Герой утратил понимание смысла жизни, она представляется ему однообразной, призрачной и ненужной. Лишь время неумолимо идет вперед, бесстрастное и равнодушное к человеку. Перед нами движется поток сознания героя: навязчивый мотив, бессвязные воспоминания, неоконченные размышления... Он совсем один в мире, и только часы повторяют «назойливо и упрямо»: «Помни, помни, помни...» Прошлое представляется бесплодным, в нем «нет опоры, потому что все ложь, все обман». Самое страшное, что не другие обманывали его, а он обманывал сам себя. «Я всю жизнь,— размышляет герой,— должал самому себе. Теперь настал срок расчета — и я банкрот, злостный, заведомый ..» Исход, как ему кажется, может быть только один — самоубийство.

Оно было частым явлением в ту пору. Гаршин вставляет в рассказ не совсем ясный по своему идейному содержанию эпизод: воспоминание подвыпившего извозчика о повесившемся товарище. Трагикомически звучит вопрос: «И что этому за причина, чтобы извозчик повесился? Как можно это, чтобы извозчику вешаться!» Это, полагал извозчик, дело барское. Прозаическое объяснение извозчика, будто «мысли эти» появляются у человека «с хлебов с легких», еще усиливает одиночество героя и его решимость покончить с собой. Он пишет письмо, полное презрения к людям. Вдруг раздается звон колокола, собирающего людей. Колокол «напомнил запутавшемуся человеку, что есть еще что-то, кроме своего собственного узкого мирка», что «нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ради своего «я», все пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды».

Герой, как это часто бывает у Гаршина, не успевает претворить в жизнь прозрение и умирает. Умирает, в сущности, не выдержав духовного напряжения. Но при всем трагизме финалов герои Гаршина нередко уходят из жизни счастливыми. Радостно умирает безымянный герой «Ночи», счастлива роза в «Сказке о жабе и розе», «спокойно и светло» лицо безумца в «Красном цветке». Гаршин как будто не хочет возвращать своих героев к обыденной жизни, после пережитой кульминации они уходят навсегда. Смерть воспринимается ими как избавительница от безысходных трагических перипетий действительности.

К началу 80-х годов Гаршин — уже один из популярнейших русских писателей. Вместе с Г. Успенским и поэтом Надсоном Гаршин принадлежит к властителям дум молодого поколения.

«Учащаяся молодежь,— свидетельствует писатель В. И. Бибиков,— перенесла на него симпатии, которые возбуждали прежде Тургенев и Достоевский <...>. После каждого студенческого ве-

[1] Каторга и ссылка, 1926. Кн. 24, с. 241—242.

чера, если присутствовал В. М., его неизбежно качали на руках; когда он появлялся в театре, на публичной лекции в качестве зрителя, одобрительный шепот встречал его появление; в альбоме любого студента, курсистки, гимназистов старших классов всегда можно найти его портреты»[1].

Автор далеко не плодовитый, Гаршин писал трудно и медленно. Но каждым рассказом своим он оставлял неизгладимый след в сознании читателей. Между тем его личная и творческая жизнь приближалась к жесточайшему кризису, порожденному как внешними, так и внутренними причинами.

В 1880 году под влиянием усилившегося революционного движения главным начальником Верховной распорядительной комиссии был назначен граф М. Т. Лорис-Меликов. Через несколько дней после назначения Лорис-Меликова в него стрелял народоволец И. О. Млодецкий. Граф остался жив, Млодецкий был схвачен и приговорен к смертной казни.

Гаршин был потрясен и покушением, и предстоящей казнью. Он пишет письмо Лорис-Меликову с мольбой «простить» Млодецкого и решается отнести его сам. Глубокой ночью Гаршин пришел в дом к Лорис-Меликову, его не хотели впустить, он был подвергнут унизительному обыску, но в конце концов диктатор все же принял его. Точных данных о содержании их беседы нет, известно только, что Лорис-Меликов обещал Гаршину пересмотреть дело Млодецкого и не сдержал слова. Млодецкий был повешен. Гаршин потерял душевное равновесие и покой. Он уехал в Москву, потом помчался в Рыбинск, затем опять вернулся в Москву, побывал в Туле, в Ясной Поляне у Л. Толстого, с которым говорил о переустройстве жизни, о спасении людей от несправедливости и зла, направился в Харьков, но не доехал... Близкие, встревоженные исчезновением Гаршина, нашли его в Орловской губернии... Гаршин погружается в мрак безумия.

IV

Незадолго до всех этих трагических событий Гаршин создает одно из самых зрелых своих произведений — рассказ «Денщик и офицер», который должен был послужить началом обширной хроники под общим названием «Люди и война».

«Денщик и офицер» отличается от прежних произведений Гаршина о войне; это не рассказ-размышление, а скорее социологический очерк, зарисовка двух типов: денщика Никиты и его офицера Стебелькова.

Облик Никиты жалок: он похож на обезьяну. Никита неумен, ничему его, кажется, не могут научить. Но про себя он «очень хорошо знает, что такое солдат и что такое знамя; он готов со всевозможным усердием исполнять свои солдатские обязанности и, вероятно, отдал бы жизнь, защищая знамя; но изложить по-книжному, обстоятельно, как требует того словесность, что такое знамя,— выше его сил». Хозяин Никиты Стебельков — человек добрый, недалекий, вполне довольный своей жизнью. Так и существуют вместе — «смирный», как все его справедливо называют, Никита и Стебельков, который «был совершенно счастлив». Ничего особенного

---

[1] Воспоминания В. И. Бибикова.— В кн.: В. М. Гаршин. Полн. собр. соч. Спб., 1910, с. 69.

с ними не происходит, жизнь течет пустая и вялая у обоих. Вот только сны у них разные. Стебельков видит себя генералом, героем бала, видит свою гибель на войне, а Никите снится родная изба и кто-то из деревенских знакомых, говорящий ему: «Твоих, брат, никого нету, всех бог прибрал! Все померли».

Не случайно Гаршин снами кончает первый рассказ из задуманной серии: психологическое своеобразие и человеческая судьба героев отразились в них вполне обнаженно. Социальный контраст между барином и мужиком выражен с пронзительной и трагической силой. Высоко оценили рассказ Толстой и Тургенев.

Журнальная публикация «Денщика и офицера» завершилась пометой: «Продолжение следует». Но никакого продолжения не последовало. К творческой деятельности Гаршин смог вернуться не скоро. Почти через два года.

Тяжелое психическое заболевание Гаршина заставило родных поместить его сначала в харьковскую больницу для душевнобольных, так называемую «Сабурову дачу», а затем в петербургскую частную лечебницу доктора А. Я. Фрея. Состояние больного несколько улучшилось к осени 1880 года, хотя его настроение продолжало оставаться очень плохим: приступы тоски, беспричинные слезы изводили Гаршина. Надо было сменить обстановку, и по предложению своего дяди В. С. Акимова писатель поселяется в его имении, в Херсонской губернии. Здесь он начал поправляться, и дядя был первым слушателем его нового произведения — сказки «То, чего не было». Встреченный нападками современной автору критики, «этот маленький рассказик», по словам Короленко, «стал одним из очень популярных очерков Гаршина», а «по своей сжатости и горькому юмору» — «жемчужиной художественного пессимизма» [1].

Навозный жук, улитка, гусеница, ящерица, кузнечик, муравей и две мухи философствуют о жизни. Рядом пасется старый гнедой. Герои сказки высказывают возвышенные мысли о жизни. Но приходит кучер Антон и наступает сапожищем на всю философствующую компанию. Бессилие и ничтожество разума и страстей перед лицом равнодушного рока показаны Гаршиным с большой художественной силой, хотя сам автор и отрицал, что его сказка заключает в себе какой бы то ни было аллегорический смысл.

1883 год был переломным для Гаршина. По верному наблюдению современного исследователя, сущность перелома в мировоззрении и творчестве писателя заключена в том, что «радикально-народнические идеи и настроения достигают у него в этом году высшего напряжения («Красный цветок») и тогда же начинают идти на убыль» [2].

В произведениях Гаршина появляются с этого времени новые мотивы. Тургенев в своем отзыве о рассказе Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова» отмечает новую «дорогу» [3], на которую вступил писатель.

«Из воспоминаний рядового Иванова» — последнее произведение Гаршина на военную тему. В нем нет ни отрицания войны, ни мучительных раздумий о ней, как в «Четырех днях» или «Трусе».

---

[1] Короленко В. Г. Собр. соч., т. 8, с. 240.

[2] Бялый Г. А. В. М. Гаршин и литературная борьба восьмидесятых годов, с. 58.

[3] См.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Л.: Наука, 1968. Т. XIII. Кн. 2, с. 162.

Война предстает здесь тем самым «общим горем», о котором говорила Марья Петровна в рассказе «Трус», и в приобщении к этому «общему» Иванов находит внутреннее спокойствие и удовлетворение. Он чувствует то, что не могли бы почувствовать герои «Труса» и «Четырех дней»: «...вид щетины штыков, загорелых и суровых лиц настраивали душу твердо и спокойно». Это спокойствие дается чувством слияния с народной массой.

Рисуя портреты солдат и армейских офицеров, Гаршин выделяет из них одного — штабс-капитана Венцеля. От других офицеров Венцель отличается образованностью, сильной волей и жестокостью по отношению к солдатам. Причем жестокостью сознательной: когда-то Венцель, как он признается, «старался действовать словом», но «все, что осталось от так называемых хороших книжек, столкнувшись с действительностью, оказалось сентиментальным вздором». Теперь Венцель беспощаден. «Зверь!» — называют его солдаты. Венцель отрицает, что он бьет солдат из жестокости, просто он убежден, что слово солдатам непонятно, «они чувствуют только физическую боль». В разговоре с Ивановым он говорит презрительно: «Разве можно иначе с этими...» Венцель не договаривает, не произносит слово «люди». Для этого человека солдаты становятся людьми лишь перед лицом смерти. Когда перед телами погибших Иванов гневно кричит Венцелю: «Они не солдаты, не подчиненные! Они — люди!» — Венцель отвечает ему: «Да, Иванов, вы правы. Они люди... Мертвые люди». В бою Венцель преображается, и солдаты забывают о его жестокости, потому что там они равны, там они одинаково могут погибнуть. Венцель, рыдающий о погибших солдатах своей роты,— это уже не только реалистический образ, это и символ надежд Гаршина на лучшее в человеческих душах, хотя и просыпается это лучшее тогда, когда ничего уже не исправишь.

Внешне спокойное течение повествования, таким образом, несет в себе, как всегда у Гаршина, огромный эмоциональный заряд. Самой большей силы достиг он в его шедевре — «Красном цветке».

Пожалуй, ни одно из произведений писателя не связано так с его именем, как это. С появлением рассказа Гаршин сразу стал для своих современников «автором «Красного цветка», настолько проникновенно и точно было передано здесь мироощущение его поколения. В. В. Вересаев, юность которого совпала с расцветом творчества Гаршина, писал в своих воспоминаниях о том времени и том впечатлении, какое производили на молодежь рассказы Гаршина вообще и особенно «Красный цветок»: «Тяжкое было время и глухое. После 1 марта 1881 года (убийство Александра II.— *С. М.*) народовольчество быстро пошло на убыль. Вера в плодотворность индивидуального террора все больше падала. А других путей не виделось. <...> Да, жизнь была страшна, грозна, она надвигалась, как непобедимое чудовище, заражая смертельным дыханием все вокруг. <...> Нужен был великий подвиг, полное самопожертвование, и притом самопожертвование без малейшей надежды на успех». Говоря о популярности среди молодежи 80-х годов произведений Успенского, Надсона и Гаршина, Вересаев продолжает: «Общее у них у всех — и общее со всеми нами — было: властная требовательность совести, полное отсутствие сколько-нибудь осознанных путей — и глубочайшее отчаяние» [1].

---

[1] Вересаев В. В. Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1946, с. 272, 275.

Отчаяние, выход из которого один — самопожертвование.

Несчастный безумец, чтобы уничтожить зло, готов отдать свою жизнь. И он в отличие от героини «Attalea princeps» не чувствует себя одиноким. Красный цветок для него — воплощение зла. Но в нем — сила. «Он побеждает,— думает безумец,— но мы посмотрим». Он умирает как «первый боец человечества», убежденный, что «все зло мира» отныне уничтожено им. Люди еще не знают об этом, только «звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца».

Бесконечная печаль «Красного цветка» не в том, что подвиг иллюзорен. Подвиг человеческого самоотвержения всегда прекрасен, иллюзией может быть лишь то, что им достигается. «Трудно представить себе,— писал Короленко,— то отдаленное время, когда этот (по обыкновению, маленький) гаршинский рассказ перестанет волновать и трогать сердца своим глубоко трагическим содержанием и восхищать необыкновенной красотой и простой строгостью изображения» [1].

Полная тихой прелести «Сказка о жабе и розе» продолжает утверждать в творчестве Гаршина идею жертвенности, самоотречения для счастья других.

Гаршина привлекали некоторые элементы учения Л. Толстого. Любовь, кротость, добро, живущие в каждом человеке, казались Толстому силами, достаточными для преобразования общества. К середине 80-х годов учение Толстого получило очень широкое распространение. Объясняя популярность толстовства в то время, Вересаев писал: «Когда не было путей к действенной борьбе с насилием, а душа разрывалась на части при виде безнаказанно творившихся вокруг невероятнейших насилий, радостно было найти путь, где освещалось и оправдывалось невмешательство в эти насилия, где можно было принять муку за то, что не вмешиваешься в них» [2].

Верь в великую силу любви!..
Свято верь в ее крест побеждающий,
В ее свет, лучезарно спасающий
Мир, погрязший в грязи и крови...
Верь в великую силу любви!..

Это призыв одного из самых любимых поэтов Гаршина — Надсона. «Великая сила любви» казалась временами и самому Гаршину эффективным средством воздействия на человека и на общество в целом. Колебания писателя в разрешении важнейших мировоззренческих вопросов сказались в его повести «Надежда Николаевна» [3].

Героиня повести та же, что и в рассказе «Происшествие», проститутка Надежда Николаевна, но в отличие от рассказа проблема-

---

[1] Короленко В. Г. Собр. соч., т. 8, с. 243.

[2] Вересаев В. В. Воспоминания, с. 273.

[3] Сам Гаршин называл это произведение рассказом. Н. К. Михайловский заметил по этому поводу, что он «может быть, слишком большой и сложный для того, чтобы называться рассказом» (Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М.: ГИХЛ, 1957, с. 292).

тика повести носит не столько социальный, сколько морально-этический характер.

Отношения в любовном треугольнике — Надежда Николаевна, Лопатин, Бессонов — определяются в конце концов степенью самоотверженности каждого. Бессонов мог бы спасти Надежду Николаевну, но, думая прежде всего о себе, не умея поверить в душу другого человека, он теряет любимую женщину и, не будучи в силах примириться со своей потерей, убивает ее. Для Лопатина Надежда Николаевна — прежде всего образ страдающей женщины. Видя ее Шарлоттой Корде, которую он воспринимает как «фанатика добра», Лопатин готов соединить с нею свою жизнь. Но на пути к счастью становится Бессонов.

Сложным сплетением интриги личной с замыслом картины друга Лопатина, Гельфрейха, об Илье Муромце Гаршин ставит вопрос об идее непротивления и правомерности ее реального применения. Логика жизни показывает, что за добро надо бороться. Илья Муромец потому и богатырь, потому и святой, что оружием защищал слабых. Лопатину приходится убить Бессонова, защищая Надежду Николаевну. Но, убив, он не чувствует себя правым: человек не должен быть судьей другого. Лишь всеобщая гармония — счастье, однако на земле она недостижима, и повесть кончается фразой, выражающей надежду на существование некоего иного мира, «где наши страсти и страдания покажутся нам ничтожными и потонут в свете вечной любви».

В последних произведениях Гаршина — «Сказании о гордом Аггее» и «Сигнале» — влияние Толстого очевидно. Мало того, Толстой и сам собирался разработать сюжет сказания об Аггее, но, узнав, что он уже взят Гаршиным, отказался от своего замысла. Тем не менее правоверным толстовцем Гаршин так никогда и не стал: Толстой для него был прежде всего великим художником. За год до смерти Гаршин писал брату: «Защищать драму Толстого и признавать его благоглупости и особенно «непротивление» — две вещи совершенно разные. Тут ты опять наворачиваешь на меня мне совершенно не принадлежащее. Очень любя Черткова, я в теоретических рассуждениях ни в чем с ним и с Т<олстым> не схожусь. Многое в их речах мне прямо ненавистно (отношение к науке, напр.); если ты этого не знал, можешь спросить у Ч<ерткова> при случае: он скажет тебе, что меня «ихним» считать невозможно» [1].

V

Жизнь Гаршина последних лет небогата внешними событиями. Литература не давала достаточных средств к существованию, и Гаршин вынужден был служить.

Обаяние его личности было так велико, что он легко находил себе друзей, одним из которых был замечательный русский художник И. Е. Репин, написавший с Гаршина сына Ивана Грозного для своей знаменитой картины «Иван Грозный и сын его Иван». В своих воспоминаниях он рассказал о притягательной силе гаршинских глаз — отличавшихся «особенной красотой», полных «серьезной стыдливости» и часто заволакивавшихся «таинственной слезою» [2].

---

[1] Письма, с. 391.

[2] Репин И. Е. Далекое близкое. Изд. 4-е. М.: Искусство, 1953, с. 369.

Репина как художника и человека всегда поражала печать обреченности на лице Гаршина. И он не ошибся. Душевная болезнь снова надвигалась на писателя. 19 марта 1888 года, преследуемый непреодолимой тоской, Гаршин бросился в пролет лестницы. Через несколько дней, 24 марта (5 апреля), он скончался.

Писатель и революционер С. М. Степняк-Кравчинский писал о причинах гибели Гаршина: «Его погубила не грубая сила русского деспотизма, а моральные страдания, порожденные условиями, которые создал этот деспотизм»[1].

Смерть Гаршина стала общественным событием. Тысячная толпа провожала его до могилы.

Жизнь и творчество Гаршина в восприятии его читателей и почитателей оказались неразделимы: он выразил их размышления, страдания, отчаяния и надежды; его судьба, казалось, олицетворяла судьбу целого поколения.

Даже внешность Гаршина соответствовала тому представлению о нем, которое складывалось после чтения его произведений. Поэт Н. Минский писал, обращаясь к образу погибшего писателя:

Я ничего не знал прекрасней и печальней
Лучистых глаз твоих и бледного чела,
Как будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родине, недостижимо дальней;
И творчество твое и красота лица
В одну гармонию слились с твоей судьбою,
И жребий твой похож, до страшного конца,
На грустный вымысел, рассказанный тобою.

Литературная деятельность Гаршина протекала в то время, когда уже завершили свой жизненный и творческий путь Достоевский и Некрасов, доживали последние годы Тургенев, Щедрин, Островский, Гончаров. Правда, в расцвете творческих сил еще был Л. Толстой, но в основном русскую литературу того периода определяли новые имена: Короленко, Мамин-Сибиряк, Эртель и, наконец, Чехов, чья повесть «Степь» вызвала восторг Гаршина. В творчестве Гаршина были развиты и обогащены реалистические традиции русской литературы. Разрабатывая преимущественно «малые жанры», Гаршин сумел придать им необыкновенную глубину и емкость. За каждой деталью гаршинского повествования встают большие пласты жизни. Иные его обобщения поднимаются до символики, поэтому так часты в его творчестве аллегории и сказки. Элементы романтического стиля в творчестве Гаршина служат целям создания героических образов, таких, как пальма в «Attalea princeps» или безумец в «Красном цветке».

Гаршин нередко использует форму повествования от первого лица, что способствовало разработке им тончайших приемов психологического анализа. Рассказы Гаршина обладают той мерой лиризма, которая придает им отчетливо выраженный поэтический характер. Верно сказал тот же Степняк-Кравчинский: «Гаршин писал только прозой. Но он был больше поэтом, чем прозаиком»[2].

---

[1] Степняк-Кравчинский С. М. Сочинения. М.: Гослитиздат, 1958. Т. II, с. 524.

[2] Степняк-Кравчинский С. М. Сочинения, т. II, с. 525.

Произведения Гаршина часто автобиографичны. Сам он относился к этому как к недостатку. Сообщая в одном из писем о замысле нового своего произведения, он заметил: «Это будет настоящая проба пера, а то до сих пор все описывал, собственно говоря, собственную персону, суя ее в разные звания, от художника до публичной женщины» [1].

В последние годы стиль Гаршина приобрел некоторую эпичность и большую меру объективности. И все-таки Гаршин до конца остался верен главным свойствам своего дарования. Простота языка, стройная ясность сюжета и композиции, лаконизм и вместе с тем удивительная способность передавать драматизм происходящего, насыщать атмосферу своих произведений «каким-то электричеством» [2] — эти приметы стиля Гаршина присущи решительно всем его произведениям.

Гуманизм Гаршина, его страдальческая любовь к человеку, тонкое мастерство в изображении внутреннего, душевного мира своих героев — все это делает его произведения нестареющими и нужными вот уже для нескольких поколений читателей.

С. МАШИНСКИЙ

---

[1] Письма, с. 204.

[2] Ясинский И. И. Всеволод Гаршин. Опыт характеристики.— В кн.: В. М. Гаршин. Полн. собр. соч. Спб., 1910, с. 512.

Содержание

Рассказы

Очерки

Статьи о живописи

Гаршин В. М.

Г20 Избранное: Рассказы, очерки, статьи/ Послесл. С. Машинского.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985.— 352 с., портр.

В пер.: 1 р. 90 к. 150000 экз.

В однотомник произведений В. М. Гаршина вошли его рассказы, а также очерки «Аясларское дело» и «Петербургские письма» и две статьи о живописи.

Книга издается к 130-летию со дня рождения писателя.

Г $\frac{4702010100-021}{М158(03)-85}$ 49-85 **ББК 84Р1**

ИБ № 1295

Всеволод Михайлович Гаршин

Избранное

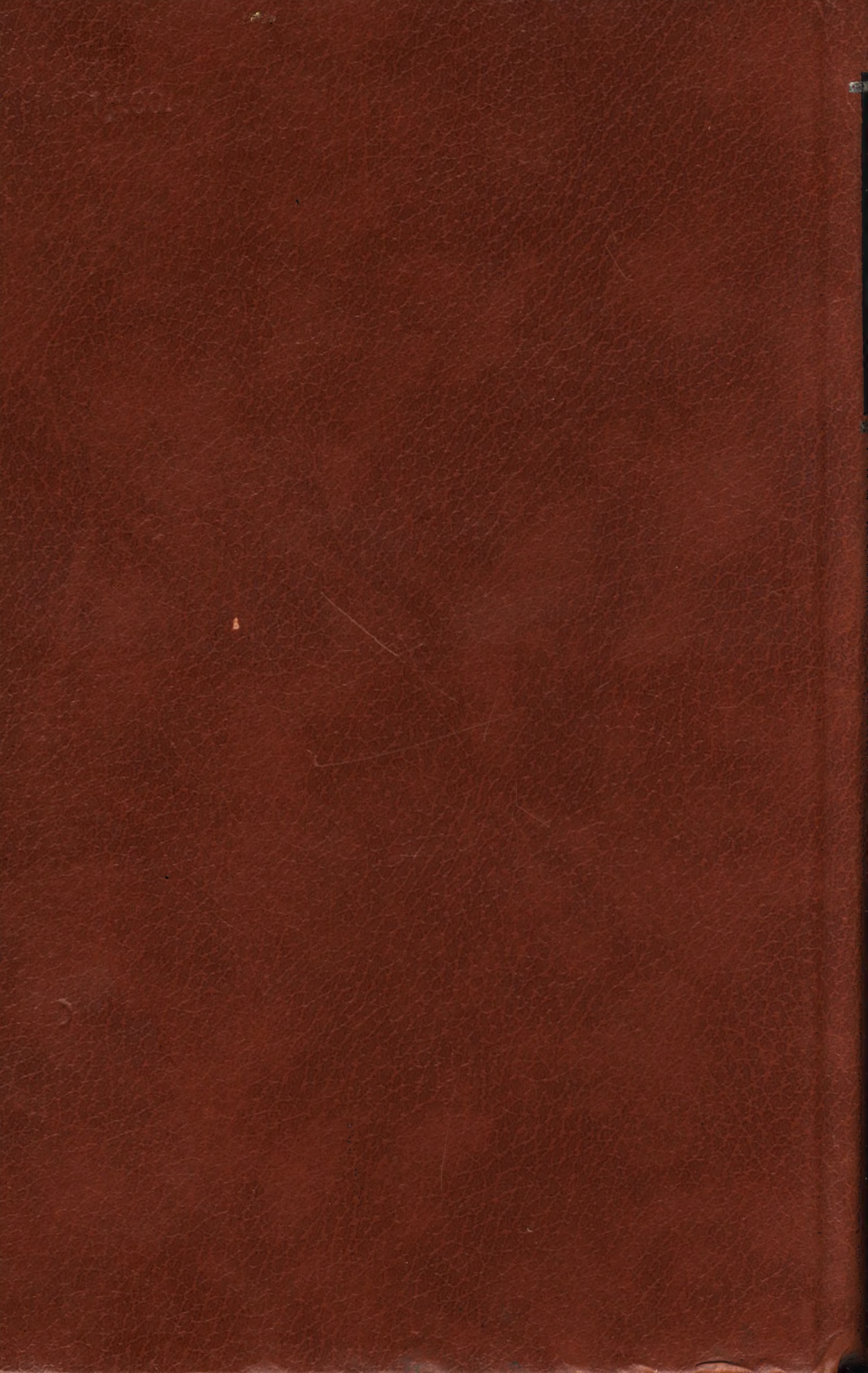
Редактор М. П. Немченко
Художник С. И. Мухин
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Т. В. Меньщикова
Корректоры М. А. Казанцева,
М. Ф. Худякова.

Сдано в набор 24.04.84. Подписано в печать 14.12.84. НС 12360. Формат 84×108/32. Бумага типограф. № 2. Гарнитура академическая. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,6. Усл. кр.-отт. 19,0. Уч.-изд. л. 20. Тираж 150 000. Заказ 283.
Цена 1 р. 90 к.
Средне-Уральское
книжное издательство,
620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

●








В·М·ГАРШИН
Избранное